

К11265950

ВАЛЕРИЙ
ДЕМЕНТЬЕВ



ВЕЛИКОЕ
УСТЬЕ

НОВЫЕ КНИГИ

Валерия Дементьева

Известный литературный критик и публицист Валерий Васильевич Дементьев—наш земляк, родившийся в деревне Каргачево вблизи Кубенского озера.

Недавно он выпустил в столичном издательстве «Советский писатель» большой литературоведческий очерк «Леонид Мартынов. Поэт и время».

Это первая книга о поэте. В ней четко обозначены все литературной биографии Мартынова, линия его творческого развития, особенности его поэтики и стиля, литературная и общественная атмосфера, в условиях которой проходило становление поэта. Некоторые страницы его творчества связаны с Вологодой.

В течение нескольких последних лет В. Дементьев успешно выступает и как писатель. Живой отклик читателей получили его книги «Спас-Камень», «Северные фрески», «Дионисий» и другие, изданные в Москве и Вологде.

Сейчас писатель закончил новую книгу «Великое устье». Это сборник новелл и небольших исторических документальных повестей о Вологодчине.

Издавна жители нашего края селились в устьях больших и малых рек, поэтому и поселения имеют характерные названия: Устье Вологодское, Устье Кубенское и т. д.

От устья к устью по Сухоне и Северной Двине шли первые землепроходцы к водному простору Ледовитого океана.

В книге показаны истоки нашей национальной культуры, красота старинного зодчества, шегогодской резьбы по бересте, знаменитых вологодских кружев.

Преобразованию Севера за годы Советской власти, расцвету северной индустрии и, в частности, созданию Череповецкого металлургического завода, Волго-Балтийского водного пути имени В. И. Ленина посвящены заключительные главы сборника Валерия Дементьева.

Эта книга выйдет в свет в издательстве «Советская Россия» тиражом 50 тысяч экземпляров в начале будущего года.

КС 19.ХІ.Н.

Б. НЕПЕИН.

Присланы Б. С. Непеину.





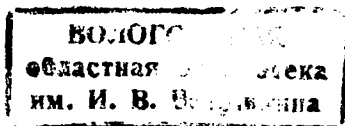
ВАЛЕРИЙ ДЕМЕНТЬЕВ

ВЕЛИКОЕ УСТЬЕ



● ИЗДАТЕЛЬСТВО «СОВЕТСКАЯ РОССИЯ» ●
МОСКВА — 1972

КД 1265950





Гравюры на дереве Г. и Н. Бурмагиных

Дементьев В. В.

Д30 Великое устье. М., «Сов. Россия», 1972.
352 с. (По земле Российской)

Валерий Дементьев родился в 1925 году за Волоками — так в старину называли Вологодчину. В начале Великой Отечественной войны экстерном закончил десятый класс и был направлен в Московское военно-инженерное училище. После училища девятнадцатилетний офицер, командир взвода инженерной разведки, участвовал в штурме Выборга. Затем с действующими частями 1-го Украинского фронта прошел боевой путь от Сандомира до чешского города Градец-Кралове.

Перу В. Дементьева принадлежат сборники литературных очерков «Поэзия и жизнь» (1960), «Поэты от земли» (1963), «Огненный мост» (1970), монографии о творчестве С. Щипачева, А. Прокофьева, Я. Смелякова, Л. Мартынова, книги новелл «Северные фрески» (1967) и «Спас-Камень» (1968), повести «Мыза Лавола», «Дионисий» (1970).

Книга «Великое устье» посвящена родному краю писателя — Вологодчине, ее поэтическим легендам и былям, ее сегодняшнему дню.

2—8—4
55—72

Р2 + 33С5(С12)

«Великое устье» Валерия Дементьева — книга своеобразная, содержащая немало значительных сведений и любопытных фактов. Мне кажется, что В. Дементьев решил — и успешно — довольно сложную задачу, соединив здесь ряд направлений и жанров — очерковый, научно-популярный и чисто художественный. Теперь, когда мне довелось побывать на Вологодчине, я могу свидетельствовать еще об одном немаловажном качестве дементьевского письма — о его достоверности, а вернее, о его соответствии с теми впечатлениями, которые выносит человек, побывавший на этой типично русской земле. Это — немаловажное качество. В книгу включены некоторые исторические вещи; сам материал, который положен в их основу, интересен, значителен, и было бы бестактно его искусственно приподымать, слишком ярко и лубочно окрашивать. Но этот материал надо было найти, серьезно обдумать и тонко, точно и художественно-тактично представить читателям. Со всем этим В. Дементьев, на мой взгляд, справляется вполне, и настолько надежно, что к истории земли Заволоцкой у него довольно безболезненно и, что крайне важно, естественно присоединяются и другие жанры — не исторические. В результате книга имеет свою творческую линию, даже концепцию, она не повторяет тех избитых приемов, приемов чисто описательных и малозначащих, которые иногда кочуют из одной книги, посвященной тому или иному краю России, в другую. Здесь в основе нечто большее — история края, если можно так сказать, его происхождение. И в этом я вижу смысл и значение книги «Великое устье» Валерия Дементьева.

Сергей Залыгин



ЯРЫЙ СЕВЕР



Заволочье... Земля Заволоцкая!.. Есть в этом названии и сказочность, и былинность, и летописная старина. Есть в нем и современность и историческая даль. Впро-

чем, так чувствую, понимаю это название, может быть, один я, может, для меня оно — сказочно и былинно, а для других — вполне обыденно, особо ничем не примечательно. А не привычнее было бы сказать, что это не легендарное Заволочье, а Северо-Запад европейской части РСФСР, называемый — в отличие от Крайнего Севера — русским Севером, или просто Севером, что в центре этой обширнейшей территории находится Вологодская область, что она граничит с такими-то областями, занимает столько-то квадратных километров?... Эти сведения можно почерпнуть в географических пособиях, но они вряд ли помогут полюбить этот край, обновить внутреннее зрение, само восприятие современной жизни, наконец, искренне полюбить этот край. Здесь, я полагаю, на помощь может прийти история, как пришла она на помощь ко мне.

На карте нашей Родины Вологодская область — центральная область Северной Руси. Это — моя родина. Она развернулась с запада на восток как пергаменный свиток, испещренный прожилками рек, голубой вязью озер, линиями дорог, каналов и множеством точек с названиями районных центров и рабочих поселков. Этим русским Севером и, в частности, Вологодчиной нынче заболели многие. Я имею в виду не поветрие или моду, а тот «род сердечного не-

дуга», который заставляет моих современников с какой-то смутной отрадой смотреть на край величественных лесов, озер и рек, на сказочную «берендееву рощу», как когда-то называл Север Михаил Пришвин. И каждое лето немало горожан, как и я, грешный, одуревших от грохота, бензинной гари и многолюдья больших городов, взвалив на плечи рюкзаки, захватив походные палатки, отправляется в Вологду, Череповец, Кириллов, Ферапонтово, Тотьму, Великий Устюг, короче, в места, по их представлению, заповедные, славные не только рыбой, лесной ягодой, грибами, но и народными ремеслами, памятниками северного зодчества и старины. Правда, не одними промыслами и преданиями богат этот край, он богат изумительными людьми, их трудом, их заботой о всеобщем благе и мире. Но, по совести говоря, с некоторых пор и мною безотчетно владеют и промыслы, и были, и предания северной стороны, и коль скоро речь заходит о Севере, то прежде всего о них-то мне и хочется рассказать другим. А ведь я не мог заболеть Севером хотя бы потому, что нельзя заболеть тем, что дано тебе с рождения. Значит, здесь что-то другое... Но как бы то ни было, душой я на стороне этих любознательных туристов, этих первооткрывателей северного края, охваченных жадной познания и добра. Вернувшись из поездки, я надеюсь, что они также будут повторять как заповедь, как строку ненаписанного стихотворения — **З а в о л о ц к а я з е м л я** и удивляться, как размашисто, величаво эти слова выражают их ощущение Севера.

Подобные соображения приходят попутно, как бы помимо воли, но они важны в попытках найти объяснение, почему мне, человеку, родившемуся на Севере, часто бывающему там, привыкшему, присмотревшемуся ко многому в жизни, характере, нравах, языке

земляков, слово «Заволочье» кажется счастливой находкой. Эта находка по-особому осветила природу родной стороны, ее историю, архитектуру, народные прикладные искусства и многое другое, что определяет в конце концов творческую жизнь человека. Не буду приводить высказываний известных художников, прозаиков и поэтов, которым знакомо подобное чувство обновления,— все они испытали радость открытия давным-давно знакомых предметов и явлений через Слово. Скажу одно, название Заволочье, или земля Заволоцкая мне дорого еще и потому, что оно столь же древне, как само название Руси.

В «Повести временных лет», составленной легендарным летописцем Нестором, среди племен, которые произошли от «Афетова колена» и которые платили дань русичам, упоминается «чудь заволочьская». Причем Нестор различал племена древних эстов, населявших Прибалтийское побережье, именовавшихся также чудью, и чудь, жившую на Севере, в нынешнем междуречье Онеги, Северной Двины и Печоры.

Чтобы добраться до «чуди заволочьской», русичам необходимо было преодолеть не только бурное озеро Нево и озеро Онего, не только проплыть Белым и Кубенским озером, не только преодолеть многие волока на Вытегре, Ковже, Порозовице, но и пройти всю Сухону-реку, перекаты которой в среднем течении были особенно опасны и трудны для плавания. И только после слияния Сухоны с Югом корабельщикам, торговым гостям, дружинникам открывался свободный путь по Северной Двине — на Вагу, где обитала заволочья чудь, на Вычегду, где у отрогов Северного Урала обитали печорские и югорские племена. Следует полагать, что уже в XII веке, когда писалась «Повесть временных лет», все эти сведения были хо-

рошо известны русским людям, в том числе и летописцу Нестору, который под 1079 годом записал: «Того же лета убиен бысть Глеб, сын Святославль, в Заволочии». Речь идет о новгородском князе Глебе Святославовиче, изгнанном из Новгорода, бежавшем за Волок и там убитом заволоцкой чудью.

В дальнейшем Заволочье и Двинская земля все чаще упоминаются в новгородских летописных сводах. Новгородцы то и дело ходили «за Волока на Двину» собирать дань, торговать, промышлять разбоем. Местных жителей летописцы так и называли — заволочане. Под этим именем подразумевались как древние финно-угорские племена — чудь, весь, емь, пермь, югра, так и славянские поселенцы. Новейшие археологические исследования подтвердили факт существования древних славянских городищ в Заволочье. Об этом же говорят и летописи. Когда преподобный Герасим в 1147 году явился на «великий лес», на реку Вологду, то он застал там возле Ленивой площадки средний посад и деревянную церковь. При археологических раскопках и в Вологде и в других северных городах обнаружены эти чисто русские поселения, которые не имеют никаких финно-угорских элементов, что, само собой разумеется, не исключает взаимного культурного влияния соседних народов и, в конечном счете, ассимиляции финно-угорских племен. Но мне важно подчеркнуть изначальное, «точечное» расселение славян, и веси, и чуди, и перми в Заволочье. Об «исключительной чересполосице славянского и неславянского населения на всем пространстве Севера» говорит такой авторитетный историк и археолог, как лауреат Государственной премии профессор В. Л. Янин. Те и другие, славяне и чудь, страдали от поборов и разора, который им

чинили охочие рати новгородцев. Со временем славянское население стало заметно преобладать и за счет новых переселенцев из Ростовских, Суздальских, Рязанских земель, и за счет самих новгородцев, строивших по берегам Кубенского озера, Сухоны и Северной Двины крепостицы и городки. Приходили новгородцы все тем же старинным водным путем, каким шли их деды и прадеды: на левобережье Северной Двины — по Сухоне или через озеро Воже и озеро Лаче, на правобережье Двины — «встречь солнца» — по Югу, Вычегде, Пинеге и многим большим и малым рекам вплоть до Великого Пермского Камня — Урала да еще дальше за Урал в достославное Лукоморье. Но миновать тяжелейшие волока на Вытегре, Ковже и Порозовице они никак не могли. От этих трех волоков, гласит предание, и произошло название Вологды: мол, будет волок, да волок, да еще волок и будет река Вологда. Впрочем, в топонимике существует немало других предположений — считается, например, что Вологда происходит от гидронима финно-угорского происхождения «белая», «светлая». Так ли, нет ли — подскажут будущие исследователи, а пока название Вологды, как и других северных городов, продолжает быть таинственным и малопонятным.

...Слухи о закамском серебре, о мягкой рухляди — драгоценной пушнине, о богатых охотничьих заимках и селищах чудских людей волновали предприимчивых, дерзких, вольнолюбивых новгородцев. В 1342 году некий новгородец Лука Варфоломеев, не послушав «золотых поясов», бояр и посадников, вершивших на вече делами новгородской республики, не испросив благословения архиепископа, собрал беглых крестьян, холопов, всю новгородскую голытьбу и поехал за Во-

лок на Двину, где взял на щит землю Заволоцкую и все погосты, а в нижнем течении Двины поставил городок Орлец. После чего Лука со всей ратью возвратился восвояси. Такими сообщениями полны хроники господина Великого Новгорода, который к XIV веку вступил в ожесточенную борьбу с подымавшейся великокняжеской Москвой за этот богатейший край. Велика и разорительна была эта борьба для всех жителей Заволочья, но вольные земли, сенокосные угодья, пастбища, реки, богатые рыбой, леса, богатые пушным зверьем, все равно тянули к себе крестьян из понизовых земель, из других русских княжеств, разграбленных и опустошенных ордами татар. Селились пришельцы большей частью в устьях рек и ручьев.

Если теперь окинуть единым взглядом русский Север, то поразит обилие поселений именно в устьях рек. Сама Вологда возникла при впадении в реку мелких речушек Шограша, Содимки и Золотухи. Слово «устье» закрепилось в названии Устюжны, возникшей в устье Ижины, и в названии Устюга, возникшего в устье Юга. Есть на Севере река Устья, есть целый Устьянский район, есть даже деревенька, называемая Усть-река. Если пройти только по верхнему течению Сухоны и далее по Кубенскому озеру, то подряд можно встретить Устье-Вологодское, Устье-Кубинское, просто Устье... Так от устья одной реки к устью другой идут и идут деревни и районные поселки, причем во многих из них сохранились невысокие валы, поросшие травой и соснами. Это — древние городища, и называются они по-прежнему Городищами. На окраине Устюжны есть такое Городище. Есть Городище и в Устюге Великом. Есть оно и в Каргополе. Да и вообще прибрежные села на Сухоне и Северной Двине

зовут по старинке поселениями. Язык северян необычайно богат словами и словообразованиями, которые ученые-лингвисты и составители современных словарей давным-давно отнесли в разряд старокнижных, древнеславянских. А они — ничего себе — живут, они бытуют в повседневной речи жителя Белозерска или Тотьмы и не производят впечатления устарелости, книжности, ветхой славянщины. Велик и могуч исторический корень русского языка! И питать ему зеленую современную крону столетья.

II

Для меня путешествие во времени не менее увлекательно, чем перемещение по земле, воздуху и воде. «Листать обратно календарь», как сказал Твардовский, бывает столь же отрадно, как видеть с палубы теплохода медленное течение присиненных далью лесов и пашен. И те и другие путешествия — во времени и в пространстве — позволяют почувствовать, ощутить, как от устья к устью, от века к веку ширится река народной жизни, как на иных северных раздольях устье одной реки, впадающей в озеро, становится истоком другой, более могучей, полноводной... Не только на северных раздольях, но и в исторической родословной народа исток — это всегда устье и устье — это новый исток.

Вот почему я начинаю с истока — и в прямом и в переносном смысле слова, начинаю с реки Вологды и города Вологды. Собственно говоря, исток реки теряется где-то в лесах и болотах возле деревни Удворино, в местности, называемой Сизьмой. Но только в самой черте города река становится судоходной; к осени же она настолько мелеет, что даже лодка-пло-

скодонка не всегда проплывет вверх по течению до Прилуцкого монастыря и выстроенного возле него областного аэродрома. Может, поэтому я люблю приезжать в Вологду в весеннее половодье. И нет, по моему, лучше места в эти весенние дни, чем самый высокий крутойяр на всем стотридцатикилометровом течении Вологды-реки, чем обрывистый берег возле Софийского собора: зовут его Соборная или Красная горка.

Знали наши предки с сыромятными ремешками на лбу (чтобы волосы не падали на потное лицо), в домотканых портах и рубахах, знали, где рубить посреди «великого леса» первый «детинец», обносить его бревенчатым частоколом. Налево — за речным поворотом, за деревянными домиками, дальше к горизонту чуть угадываются башни Прилуцкого монастыря. Прямо — Заречье, лодочная станция, старые березы, тусклые купола церквушек, дома с крытыми галереями и пышной деревянной резьбой. Направо — гранитные устои моста, улица Чернышевского... Память подсказывает, что вниз по течению, за пристанью, пойдут заводские корпуса «Северного коммунара», пирамиды песка, склады, мастерские, ржавые остовы отплававших свой век пароходов и буксиров, штабеля леса — и так почти до самых кирпичных заводов.

Что и говорить, вольготно раскинулась Вологда по берегам немногочисленной северной реки. Тихие провинциальные переулки, старинные особнячки с облупившимися деревянными колоннами уступают место асфальтированным проспектам, новостройкам, новым скверам с молоденькими тополями и березками. Вольготно и здесь, на речном обрыве, где ветер обсушил прошлогоднюю траву, где березы поблескивают глян-

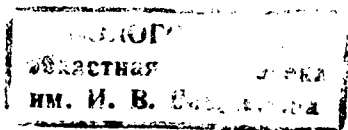
цевой корой и где еще лежат под обрывом крупчатые заносы снега. Но пройдет неделя-другая, и однажды в ночи выстрелят в предрассветный сумрак крохотные резные листики — словно прозрачная, зеленоватая дымка поплывет над берегом, над домами, над высокой горкой парка. А сейчас ноздреватые глыбы льда то становятся стоймя, то, громоздясь, наползают друг на друга, и кажется, что это берег плывет вверх, туда, к прозрачным, подрагивающим в солнечном мареве далям. Не тяжелые, низко сидящие в воде льдины, не разбитая плоскодонка и не ледяная плита с прорубью, обсаженная полуосыпавшимися елками, стремительно проносятся у твоих ног, а ты вместе с берегом, с белыми, голубоватыми от тени стенами Софийского собора плывешь и плывешь вверх, за поворот, к красноватым прилуцким башням. От воздуха, от солнца, от запаха талого снега чуть кружится голова. Подмывает тебя крикнуть что-то в это высокое, окропленное теплыми лучами солнца небо, в эту весеннюю даль.

...А на заречной стороне видно, как отдельные льдины вытолкало к деревянным заборам, где они так и будут лежать до середины мая. Мальчишки станут оббивать их крошащиеся на тонкие лезвия бока, шоферы — нещадно ругать раскисшую дорогу, пока солнце не растопит льдины и не сотрет их с берега. Но еще несколько дней будет темнеть грязное пятно среди молодой, буйно пошедшей в рост травы.

...Хорошо здесь, на Красной горке. Но почему, собственно говоря, на Красной, а не на Соборной?

Когда-то здесь, у архиерейского подворья, в соборах проходили пышные богослужения. Толпы богомольцев и нищих из голодных вологодских волостей

1265950



стекались сюда в праздничные дни. Поодаль Соборной горки стояли мелочные лавчонки, балаганы, царевы кабаки. Голосили слепцы, вскрикивали юродивые, качалась пьяная, забитая, темная мужицкая деревня. Городские обыватели ковыряли склоны, надеясь найти клады, якобы захороненные жителями в Смутное время («панцину», как говорили в народе), ползли темные слухи «об адовой горе», где в каменных подземельях по ночам слышатся вой и стенание, о некоем потаенном подземном ходе, который соединяет Прилуки с Вологодским кремлем. Замшелые, подслеповатые избы лепились по краям горки. Проулки были так тесны, что бабы могли передавать друг другу горшки на ухвате. И все это вековое, отсталое, невежественное называлось Соборной горкой, неоднократно упоминаемой в церковных описаниях «святых мест». А название Красная горка хорошо не только своим созвучием с нашим временем. В сочетании этих слов — «Красная горка» — слышится глубокая народная языческая старина: поют веснянки босоногие деревенские ребятишки; плетут венки девушки в синих домотканых сарафанах с медными пуговичками до подола; старики в островерхих шапках, вглядываясь из-под руки в речную даль, забитую наплывающим крошевом льда, вздыхают: «Пришла весна-красна»... Красная — это еще и красивая, необыкновенно яркая, весенняя.

И вот на какой-то миг повеяло седой многовековой историей земли Заволоцкой... Так же ворочала ледяные глыбы река, шипела битой хрустальной мелочью, заливала мелколесье, буйно разросшееся в заречье. Согнанные с Вожи, Сямы, Комелы, Тотьмы, Устюга

мужики длинными многоверстными обозами везли на дровнях известь, камень, кирпич, бстрили многоаршинные сваи, рыли рвы. Потому что, пишет летописец, «великий государь царь и великий князь Иван Васильевич в бытность свою в Вологде повелел рвы копать и сваи уготовлять и место очистить, где быть градским стенам каменного здания...» Берега мелких речек Золотухи и Шограша, которые царь Иван Грозный «повеле копати», дабы превратить их в глубоченные крепостные рвы, были густо облеплены работными людьми. Среди рубах и армяков мелькали рваные цветные халаты. Тысячи пленных казанских татар и «турок» (ногайцев и крымских татар) были пригнаны в Вологду по царскому повелению. Мерли они от голода, от холода, от непосильной земляной работы. Погребали их с тотьмичами и устюжанами в тех же земляных насыпях, которые они вместе, по цареву указу, отрывали. С тех пор народ и прозвал эти насыпи **Т а т а р с к и м и** горами.

Но особенно хлопотал и радел государь Иван Васильевич о строительстве нового храма Софии — премудрости божьей. Строился этот собор с великим старанием: «а сколько сделают, то каждого дни покрывати лубьем и другими орудии, и того ради церковь крепка на разселины», — многозначительно замечает вологодский летописец. Иван Грозный нередко появлялся вблизи собора, наблюдая, как «наемники», то есть нанятые по царскому повелению каменщики, клали лепную церковь по образцу Успенского собора в Москве. Не раз уже задумывал царь Иван перенести в Вологду столицу первопрестольную, подальше от боярской смуты, поближе к торговым заморским гостям. Но помешало этому одно предзнаменование. Вот как о нем говорится в старинной песне:

...Когда царь о том кручинился,
В храме новым похаживал,
Как из свода туповатова
Упадала плинфа красная,
Попадала ему в голову,
Во головушку во буйную,
В мудру голову во царскую...

Вологодским земским посадским и остальным лю-
дишкам хорошо была известна ярость державного
властителя, посему и «тряхнулася» мать-сыра земля
«от того проклятья царского».

...Уже скрылись из виду стены недостроенного
Софийского собора, вдоль колеистой дороги потяну-
лось скучное мелколесье, а царь Иван Васильевич был
мрачен и неразговорчив. И только на седьмой версте
он «проговорил»—заговорил с сопровождавшими его
опричниками: «здесь-то и возникло сельцо Говорово».

Вологодский летописец, пересказав легенду с
«плинфой», по наивности своей, что ли, приводит более
веские и правдивые обоснования поспешного отъезда
Ивана Грозного из Вологды: «Того же году был на
Вологде мор велик, и того ради великий государь из-
волил идти в царствующий град Москву, и тогда Во-
логды построение преста». Было заброшено возведе-
ние каменных стен и башен, осыпались и заросли
травой крепостные рвы на Золотухе и Шограше, до-
гнивали у подножья Красной горки лодьи, на которых
помышлял царь-государь отправиться из Вологды в
заморские страны через Архангельск и Белое море,
откуда не так давно приезжал к нему посол англий-
ского короля капитан Ченслер.

...Здесь, на Красной горке, у Софийского собора,
для возведения и росписи которого потребовалась

жизнь двух поколений, особенно остро и глубоко думаешь о бессмертии человеческого деяния. В летописи подробно говорится о знамениях, сопровождавших строительство Софийского собора, о царском повелении «церковь поставить внутри града, у архиерейского дома». Но нет, да и не могло быть в летописи имени тех, кто строил этот собор, имени рабочих людей и «наемников», предложивших «ради того, чтобы церковь была крепка на разселины», укрывать кирпичную кладку на ночь, от мороза и непогоды, «лубьем и другими орудии». Простые каменщики, они знали толк в своем ремесле и знали дедовские секреты этого ремесла. Они проявили рабочую смекалку, сметку. Их трудами богатели и крепла русская земля. Тогда, более пяти веков назад, ими, надо полагать, руководил не один только денежный расчет или угроза голода. Ими руководила и вера в «святость» их труда, вера в то, что, создавая эту прочнейшую кладку, они обретали право на бессмертие в потустороннем мире. Обрели же бессмертие эти вологодские каменщики и землекопы здесь, на земле: их труд, их незаурядное мастерство, их чувство прекрасного дали им право сохраниться в памяти потомков.

...По царской прихоти было «Вологды построение преста». Она захирела, обезлюдела, и лишь недостроенный Софийский собор, да Татарские горы, да известная гора — гора извести, свезенной на берег для строительства стен и башен, — напоминали вологжанам о начавшемся было расцвете города. Воеводами в Вологду назначались люди опальные и неумелые. «...Воеводским нерадением, — сказано в старинном документе, — сторожей на башнях, у снарядов пушкарей и затинщиков не было; а были у ворот на карауле немногие люди... а большие ворота были незамкнуты».

22 сентября 1612 года «в остатошном часу ночи» к городским заставам подтянулась конница. Не звякала конская сбруя, не поскрипывали седла, не громыкали о камень колеса единорогов: «польские и литовские люди, и черкесы, и козаки, и русские воры пришли на Вологду безвестно изгоном и город Вологду взяли и церкви божия опоругали, и город и посады выжгли до основания...»

С гиком, с посвистом пролетали всадники по темным, узким переулкам, бросали, раскрутив над головой, смоляные факелы в замшелые крыши: паны и воровские люди гуляли вовсю! На наплавном мосту, возле Красной горки, они зарубили окольного и воеводу Григория Долгорукова и дьяка Ивана Карташева. Перепуганные жители и остатки городской стражи заперлись в Софийском соборе. Разорители города по штурмовым лестницам забрались на кровлю и собор подожгли. Сотни людей погибли в пламени пожара. Через три дня, 25 сентября 1612 года, колонны шляхтичей ушли дальше на Север.

Сильвестр, архиепископ вологодский и великопермский, писал московским боярам и воеводам: «И ныне, господа, город Вологда — жженное место, укрепить для насады и снаряд прибрать некому; а которые вологжане жилецкие люди утеклецы, в город сходиться не смеют, а воевода Григорий Образцов с Белаозера со своим полком пришел и сел на Вологде, но никто не слушает, друг друга грабят...»

Горько причитали по убиенным и рвали на себе волосы женщины, смрадно чадило пожарище. «А все, господа, делалось хмелем: пропили Вологду воеводы», — таковы последние слова Сильвестра в его невестелой «отписке» в Москву.

Казалось, нужны были годы и годы, чтобы от-

строился этот город на северной реке, чтобы крестьяне, ремесленники и другие жилацкие люди взялись за свои повседневные труды, срубили новые избы, замостили торцами улицы. И все-таки город возник на пепелище! Снова труд одержал победу над смертью и разорением.

Какой жизнелюбивой силой и страстью к созиданию, труду, ремеслу должны были обладать вологжане, чтобы вынести все это — нашествия, моровые язвы, разрушения — и с превеликим упорством, настойчивостью преодолевать «волока» на своем историческом пути, вновь и вновь возвращаться на старые пепелища, к опустевшим выморочным очагам! Слова о бессмертии народного деяния перестают быть словами «высокого штиля», они наполняются реальным земным смыслом. И как ни кровава, темна, несправедлива была история тех отдаленных от нас столетий — народное творчество (любимое ленинское выражение) преодолевало все.

...По Красной горке поползли длинные тени: за вечерело. Стало свежо. Софийский собор отступил куда-то вглубь, подернулся сумеречной тенью. Сквозь шум и шорох ледохода, сквозь тонкое посвистывание ветра не слышно басовитого гудка вагоноремонтного завода. Обычно, особенно на окраинах, в конце и в начале рабочей смены слышится переключка заводских гудков, а по ночам — резкие голоса паровозов и пароходов у пристаней и железнодорожных переездов. Сейчас из проходных льнокомбината, механического завода, «Северного коммунара», со строительных площадок споро зашагают вологжане — потомки камнетесов, углежогов, землекопов, чьими трудами этот собор так высоко вознес свои купола над речным

обрывом. И если Красная горка — это крутояр, с которого можно обозреть даль веков, то новые жилые кварталы, новые поселки — Текстильщиков, Речников, Завокзальный, Октябрьский — это сегодняшний и завтрашний день Вологды.

Вот почему этой напористой ранней весной, оглядывая тронутый вечерней дымкой город, хочется представить себе его будущее. Через несколько лет так же будет шуметь весенний ледоход. Земные соки ударят в стволы деревьев, и почки набухнут и чуть раскроются, словно клювики маленьких птиц. Усилиями и трудами тысяч рабочих, инженеров, архитекторов, проектировщиков в городе будут строиться все новые и новые кварталы жилых домов, кинотеатры, школы, детсады. Вологда будет разрастаться к западу — к старому Пошехонскому тракту. Там, вблизи красивой местности, называемой Кирики-Улиты, уже поднялись корпуса Государственного подшипникового завода. В Директивах XXIV съезда партии по новому пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР предложено ускорить строительство Вологодского подшипникового завода. Таким образом, стройка, развернувшаяся под Вологдой, отмечена в общегосударственных планах как важнейшая. Рядом с льнокомбинатом — к югу от города — быстро растет поселок Текстильщиков, и недалеко уже то время, когда население этого поселка превысит население всей дореволюционной Вологды. Как тут не вспомнить добрые, с легкой лукавинкой строчки Александра Яшина, посвященные землякам: «Вологда теперь помолодела, вологжане, брат, взялись за дело. Только окать не перестают...»

Заволожье... Земля Заволоцкая!.. В ослепительном сиянии солнца все прозрачнее, все зеленее весенняя даль. Она настойчиво манит к себе, зовет за черту горизонта... До навигации остались недели и недели, но нетерпение так велико, что ты все-таки идешь в конец Советского проспекта на пристань, вновь изучаешь и без того знакомое расписание, долго-долго сидишь на скамье, разомлев от теплыни и запаха масляной краски. Деревянная площадка перед зданием билетных касс пустынна. В киосках стекла завешаны пожелтевшими газетами. В заветрии от реки тянет холодком. Но запах свежей краски, нагретого дерева, речной воды, самый вид летнего расписания — все отрадно тебе, все служит приметой дальней дороги. Про себя ты давно обдумал и выбрал маршрут. Однако здесь, на пристани, на весеннем солнцегреве, тебя вдруг одолевают сомнения, вернее — не сомнения, а чувства неизъяснимые, сводящиеся к тому, что тебе одновременно хочется побывать и там, и там, повидать и какой-нибудь Никольский торжок и родное Кубеноозерье, Вытегру и Северную Двину.

Прямо перед глазами — фанерный щит: на нем плакатная схема речных путей Сухонского и Северо-Двинского пароходства. Вологда — самая нижняя точка треугольника, основанием обращенного к Северному полюсу. Одну сторону этого треугольника образует река Сухона, волнистой линией пересекающая всю область с юго-запада на северо-восток. Другая сторона треугольника — реки и озера, соединенные каналами Северо-Двинской шлюзовой системы, а от пристани Топорня, дальше к северо-западу, — великим

Волго-Балтийским водным путем имени В. И. Ленина. Ты скользишь глазами по голубым артериям рек, по неровным пятнам озер и водохранилищ, по прямым линиям каналов и пытаешься мысленно представить весь этот путь, знакомый тебе по прежним поездкам. Из одного водохранилища ты попадаешь в другое, из одной безбрежной шири в другую... И одно воспоминание сменяется другим.

Дольше всего ты, конечно, задерживаешься на Кубенском озере, которое здесь, на схеме, похоже на голубую, слегка согнутую рыбину.

...Издалека в синем просторе начинает маячить полуразрушенная колокольня. Это — Спас-Камень. Потом обозначается берег; за курчавой зеленью прибрежных раkit появляются пашни, деревни, села, расположенные вдоль Большой дороги — старинного почтового тракта Вологда—Кириллов; в устье реки Ельмы подымается тонкая труба Новленского льнозавода, белеют крыши заводского поселка, густеют сады деревни Каргачево... Родные с детства, овеванные стариной и поэзией места.

...Сколько раз ты уезжал сюда, в устье Ельмы, рыбачить! Рыбачить — это видеть небо и воду, уставать неимоверно, бросаться на сено и мгновенно засыпать. Как для Федора Протасова цыганская песня — это степь, это десятый век, это не свобода, а воля, так для тебя мельканье паруса в волнах Кубенского озера — это древние новгородцы, это деды и прадеды — рыбаки, это воля в том изначальном смысле слова, в котором о ней сказано в «Живом трупе» Толстого и «Листригонах» Куприна.

Только здесь ты видишь, как огромно небо, как

многослойны облака на закате, как черна вокруг вода, когда вечерним часом ты возвращаешься в устье Ельмы, и лишь возле темных кустов медно-желто светятся тихие заводы — в них догорают отблески позднего заката. Только здесь ты можешь встретить и первый солнечный луч, когда останешься ночевать прямо в озере, в лодке.

...Ты берешься за весла, едва начинает сереть небо, гребешь, обратив лицо к багряному сиянию, обозначившемуся вдали. Одно-единственное облачко — все в трепетных и нежных отражениях ранней зари — оттеняет светлую беспредельность неба. Минута-другая — на краю земли вспыхивает ярко-алый уголь: время 3.40... Заря будет разгораться до тех пор, пока из багрового полымя не выступит солнце, странное, вытянутое в длину, непрерывно источающее волны алого света. И тут же на воде задрожит огненная дорожка. Она будет дрожать и рваться на короткие полосы, пока между темным берегом и солнцем не образуется разрыв, заполненный все тем же алым свечением. И чем больше будет этот разрыв, тем длиннее и длиннее будет эта пламенеющая полоса. В светлом небе пролетит бесшумно какая-то черная птица... Когда ты опустишь глаза, отблески раскаленной дорожки уже добегут до кормы лодки — солнце взошло...

Подобную волшебную игру света можно наблюдать на озере ежесекундно. В ясный полдень, если смотреть на озеро издалека, оно приобретает фиолетовый оттенок, а вблизи оно — густо-голубое, нет, густо-густо-голубое, такое, что кажется, будто голубизна неба многократно усилена, доведена до предельной крепости и силы и разлита вокруг тебя. Недалом говорят, по шкале голубизны — а есть и такая

шкала — Кубенское озеро занимает одно из первых мест в стране. Эта голубизна пропитывает тебя насквозь, проникает во все поры тела и рождает то чувство простора и воли, без которых не может жить человек.

Перегруженный всевозможной информацией, нужными и ненужными знаниями, ты забываешь здесь о всех познаниях и сведениях, почерпнутых из книг. Того, что видишь, тебе вполне достаточно, чтобы обрести душевную целостность, гармонию, испытать ее наяву, а не размышлять о слиянии внутреннего мира человека с миром природы и не прикидывать про себя, на какой высоте замерли перистые облака — восемь или десять тысяч метров, как пишут в учебниках, — просто дивиться белоснежным перьям, словно оброненным лебединой стаей...

Рыбачить — это быть солнцепоклонником, великим жизнелюбом, нетерпеливо ожидать завтрашний день, верить в хорошую погоду, в счастье, в удачу, во все добрые предзнаменования и приметы, какие существуют в мире. Ведь к озеру привыкаешь, как к чему-то одухотворенному, живому... Мой дед, Александр Александрович, в старости уже не мог рыбачить. Но он не находил себе места в избе, если с утра не взглянул: каково сегодня озеро, как оно выглядит, как ведет себя... Рыбачить — это обновляться духовно, забывать свой возраст, свои недуги; это принимать выдумки за правду, предания — за быль... А преданий и чудесных сказов в Кубеноозерье хоть отбавляй!..

Взять хотя бы Спас-Камень. Давным-давно дело было, в незапамятные времена. Потерял здесь новгородский князь дружину. Прижали его враги к воде, грозят пленом. А он и бросился вплавь в озеро... Да разыгралась буря страшная, и стал князь тонуть.

Пришла к нему сама неминуемая. Тогда взмолился о спасении князь — и произошло чудо. Озеро стихло, словно прислушалось к человеческим воплям, и ощутил воевода под ногами каменистое дно. Это дно все подымалось, подымалось, пока не стало островком в безбрежной пучине. «Камень спас!» — воскликнул пораженный новгородец. Так и зовут этот остров Спас-Камнем.

Трудно сказать почему — видимо, атмосфера Кубеноозерья такова, — но тебе хочется верить и в чудесное спасение князя, хочется верить и в то, что если тебя застигнет на озере вспененная волна, то спасет от неминуемой гибели чудесный Спас-Камень.

Но есть в Кубеноозерье побывальщины и предания о временах куда как подревнее, чем времена новгородского князя. Рассказывают, что в ту изначальную пору вся округа была покрыта дремучими лесами. Жили люди в тех лесах и ведать не ведали, что творится в миру. Только стали они примечать, будто приносят откуда-то кошки свежую рыбу... Пошли вслед за кошками через глухую топь и вышли к камням-валунам. Тут-то они и поразились несказанному сиянию, голубой озерной красоте: вот, мол, сколько лет не знали, какая у них под боком благодать!..

Едва ты попадаешь в устье Ельмы, как невольно поддаешься обаянию этих дедовских сказов и преданий. А может, действительно в них слышатся отзвуки языческих верований наших предков? Их исход из тьмы северных дебрей к устьям больших и малых рек?.. Может, в них отразилось вечное стремление человека к простору и воле?.. Если бы все это было иначе, откуда бы взяться устюжанину Ерофею Хабарову, его земляку Семену Дежневу? Откуда бы взяться царскому послу Непее Вологжанину, побывавшему

в Лондоне, и тотемскому мореходу Ивану Кускову, который переплыл Тихий океан и построил вблизи Сан-Франциско знаменитый форт Росс?.. Наследники новгородских охотчих людей, они торили первые пути из Заволочья и Двинской земли в сказочную Мангазею, в Сибирь, на Аляску, на острова Тихого океана. И память о них пребудет в веках!..

...Ты сделал бы немалое прогрешение против совести, если бы уверил себя и других, что одной природой, одними побывальщинами тебе дорого родное Кубеноозерье. Как бы ни были поэтичны эти старины, как бы ни оживала в них история древней земли, не ими одними жив современный человек. Он жив сегодняшним днем, а историческая память народа делает контуры этого дня еще резче, еще отчетливей. Потому-то она и необходима тебе, потому-то ты и обращаешься к ней.

...Догнивают в прибрежных заводях старые рыбацьи лодки — «кареводницы» и «стружки», послужившие службу многим поколениям кубенских рыбаков. Моторка, летящая по воде с невиданной скоростью, — вот символ современного Севера. Телевизионные антенны на высоких шестах — вот повседневный быт кубеноозеров. Да и Большая дорога зарастает травой, потому что вдоль всего побережья прохлестнута новая автострада с бетонными автобусными остановками, мчащимися грузовиками, самосвалами, рейсовыми автобусами и легковыми автомашинами. Если раньше из уст в уста передавали слух о какой-то старухе, которая обыденкой — то есть «об один день» — могла сходить в Вологду, то теперь никого не удивишь, что ты побывал в городе и засветло вер-

нулся домой: шестьдесят километров автобус проходит за полтора часа. Расстояния сократились. Время уплотнилось. Облик Кубеноозерья меняется на глазах. Оно становится одним огромным пригородом: автобусные остановки, новые дома, стеклянные чайные, линии высоковольтных передач — это приметы последних лет. Эти приметы делают похожим Кубеноозерье на все другие районы Севера. И все-таки есть в здешних местах какая-то милая сердцу обжитость, домовитость, исконность. Вот уж воистину: «...Не скажу, что самый лучший, но милей всех сердцу край». И то, что Кубеноозерье тебе милее всех других мест на свете, — с этим ты ничего не можешь поделать. И с Кубенским озером расстаешься с трудом, хоть это расставание и неизбежно.

За Антонием озеро сужается, неприметно переходит в речку Порозовицу, в верховьях которой был один из самых знаменитых в старину волоков — Славянский волок, просуществовавший вплоть до XVIII века. По этому волоку суда перетаскивали в Никольское озеро — тут-то и возник Никольский торжок, — затем по речке Славянке спускались в Шексну, плыли в Белое озеро или на Волгу. Ныне по старым каналам и шлюзам можно добраться до Топорни — этого перекрестка водных дорог всего Русского Севера. Здесь заканчивается Северо-Двинская система, здесь проходит Волго-Балт. Позади остались башни и стены Кирилло-Белозерского монастыря, впереди — дорога на северо-запад — к Вытегре, на юг — к Череповцу. Собственно говоря, именно с Череповецкого речного порта и начинается Волго-Балтийский водный путь. Когда-то при впадении речки Ягорбы в Шексну жило северное племя весь. Оно жило по все-

му Белозерью и сохранилось в названиях многих городов и сел. От этого племени произошло: Весьегонск, Луковесь, Череповец или Череповесь. Чери — рыба, еп — гора: череповесь — племя рыбьей горы. Но не рыбой, а железом прославилась эта местность в Древней Руси. Крестьяне-земледельцы умели плавить болотную руду-ржавицу. Вот от этих-то судских, устюженских, череповецких домниц и криц и шагнуло Заволочье в наши дни к домнам-гигантам Череповецкого металлургического завода. Вот от этих-то дощатых причалов в устье Ягорбы, с которых на расшивы и беляны грузились железные поковки, и повел начало Череповецкий речной порт. Теперь сталь и прокат Череповецкого металлургического завода грузят на морские суда-лихтеры типа «Волго-Балт» и «Балтийск» и доставляют не только в Ленинград, но и в Гдыню, Ростов, Стокгольм... Акваторий порта бороздят стремительные «ракеты», речные трамвайчики, катеры и моторки. Ярко-оранжевые металлические бакены отмечают фарватер. На якорях, по морскому обычаю, стоят самоходные баржи, плавучие краны, двухпалубные теплоходы. Это — Череповецкий речной порт. Это — Волго-Балтийский водный путь. Выше плотины Череповецкой ГЭС — подлинного гидротехнического чуда наших дней — и ниже плотины картина Волго-Балта такая же: только, может быть, сожмется сердце, когда теплоход будет проходить среди полузатопленных, высохших, уходящих за горизонт деревьев. При строительстве Волго-Балта были залиты водой поймы многих рек. Но строители не успели свести леса, растущие в этих поймах, — и вот теперь ветра и волны довершают то, что не довершили человеческие руки: вымывают гиблый лес, образуют новые заливы и новые берега...

...В топком устье Невы подымалась, росла новая столица Российского государства — город Санкт-Петербург. Для торговли с заморскими купцами, для собственных надобностей городу был нужен хлеб, корабельный лес, железо, пенька, пушнина. Но богатое лесом Заволочье и богатое хлебом Поволжье были отрезаны от Невы волоками и перекатами. В 1711 году в Прионежье пожаловал Петр Первый. Царь имел великое и полезное намерение использовать древний путь новгородцев, прорыть каналы, соединить Балтику с Каспием, Неву — с Белым морем. В петровой свите было немало знатоков инженерных сооружений, русских и иноземных «водяных дел мастеров». С ними-то и исходил Петр Первый мегорский водораздел, побывал на волоках у Матко-озера, самолично проверил течение лесных речек и рек. И повелел рубить просеки, ставить вешки будущего канала. Однако неотложные государственные дела отвлекли императора от его затеи. Просеки снова заросли мелколесьем. Проекты «водяных дел мастеров» затерялись в архивах.

Но преполозное намерение Петра не забылось. Через сто лет, 21 июля 1810 года, по Мариинской системе, названной так в честь императрицы Марии, прошли первые суда. По тому времени это было грандиозное гидротехническое сооружение, которое на протяжении всего XIX века перестраивалось, совершенствовалось, и в 1913 году на Всемирной выставке в Париже было удостоено Большой золотой медали как выдающееся достижение русской инженерно-технической мысли. Старая Мариинка снабжала хлебом сначала Санкт-Петербург, потом революционный Петроград, потом осажденный, истекающий кровью город Ленина. Но уже в предвоенные годы встал вопрос

о замене ее новейшей системой шлюзов и каналов. Весной 1941 года волжская вода заплескалась у причалов Череповца — это к Ягорбе подошло Рыбинское водохранилище. Однако интенсивное строительство Волго-Балта было прервано войной, и снова началось оно только в 1960 году, спустя сто пятьдесят лет после открытия Мариинки. 6 июня 1964 года была перевернута последняя страница Мариинской водной системы и открылась первая страница в летописи Волго-Балтийского водного пути. В этот день в канале между пятым и шестым шлюзом встретились два каравана судов: один шел со стороны Онежского озера, со стороны Невы, другой — со стороны Череповца, со стороны Волги. Древние волока на водоразделе Вытегры и Ковжи стали историческим прошлым нашего народа. Сохранились они только в летописях, старых книгах да еще, пожалуй, в названии самой земли Заволоцкой.

Вот где-то в этих местах и проходит сейчас теплоход, на котором ты совершаешь воображаемое путешествие. До Новинкинского гидроузла, предпоследнего перед Онежским озером, система шлюзов и водохранилищ постепенно подымала этот теплоход выше и выше. Зато Новинкинский гидроузел — гигантская лестница, которая пойдет вниз: три ее ступени — три шлюза, которые будут опускать многотонную громаду теплохода к устью реки Вытегры, вытекающей, по преданию, из горы: отсюда, мол, и произошло ее название — Ви-yte-гора, Вытегра. Когда-то на этой горе была девятинская лестница — система из шести деревянных камер — комор, расположенных возле села Девятины. Теперь от этих камер не осталось и следа. Три ступени, три шлюза, двенадцать шлюзовых башен — по две с каждой стороны шлюза — вот вели-

чественная панорама, которую тебе дано обозреть с палубы теплохода.

...Осторожно, как бы примеряясь и присматриваясь, белоснежный корабль входит в пятый шлюз. Многим ниже палубы — бетонный парапет, ограждающий канал, насыпи, карьеры, за ними — сельские дороги и леса. Да и вся земная окрестность видна тебе к северу от шлюза. Дух захватывает от этой лесной дали. Но через какое-то время бетонный парапет оказывается на одном уровне с поручнями палубы, подымается выше поручней, еще выше — теплоход, словно в грузовом лифте, медленно оседает вниз... Вскоре в гулком колодце закричат, замечутся чайки, засинеет клочок неба, мокрая бетонная стена с гидравлическими крюками-поплавками, к которым пришвартован теплоход, закроет все видимое пространство. На палубе станет сумеречно, сильнее запахнет водой и мазутом. Ты пройдешь на нос корабля, чтобы не пропустить момент открытия эксплуатационных ворот. Высоко-высоко над палубой — башни шлюза, словно надстройки какого-то высотного здания. За стеклами смотровой площадки ты силишься рассмотреть человека, который управляет этой сложнейшей гидротехникой. Но твое внимание отвлекают шлюзовые ворота: многотонная махина, запирающая выход из камеры, вдруг расходится — на палубе мгновенно светлеет; в широком проеме блестит вода; в отдалении виден караван судов, огни светофоров и просторная синева небес. В эту безграничную даль теплоход выходит торжественно и спокойно, как будто из устья глубокой реки, стиснутой отвесными берегами

...На Белоусовском водохранилище все будет казаться тебе таким, как раньше, и все-таки не таким — чувство высоты, знакомое по пятому шлюзу, уже не возникнет в тебе. Навстречу теплоходу будут попадаться нефтеналивные танкеры, знакомые «Волго-Балты», буксиры, рыбачьи сейнеры. Они будут точно такими же, как на Рыбинском море, на Череповецком водохранилище, на Белом озере и Пахомовском гидроузле, но и не такими, потому что всего несколько часов назад они пенили волны озера Онего...

В Вытегре не сразу и разберешься, где город, а где пригородные поселки. От пристани — бетон, стекло, цветники — автобус будет идти мимо новых кварталов, и ты подумаешь, что ты — в самой Вытегре. Но окажется, что это городок гидростроителей, что за стандартными домами есть и своя бревенчатая глухомань, и своя Красная горка со Сретенским собором, заложенным в 1873 году, есть и река Вытегра, и остатки старой Мариинской системы, изрезавшей город во многих местах. Вытегра не только изрезана старыми каналами, как деревянная Венеция, в ней все перемешано: купеческий особняк, напоминающий индийскую пагоду, стоит рядом с новой трехэтажной гостиницей «Вытегра», бараки тридцатых годов рядом с бывшими лабазами, лавками, лавчонками, с тем провинциальным захолустьем, которое не скоро вытравишь, не скоро перестроишь. Асфальтированное шоссе сменяется улочками, которые выходят в чистое поле, старый канал упирается в насыпь плотины, поддерживающей высокий уровень воды в Волго-Балте. И повсюду на берегах реки железные ящики, шкафы, бочки — в них местные жители хранят лодочные мо-

торы и весла. А в это время по большому каналу, возвышающемуся над старым городом, тихо урча, проплывают грузовые и нефтеналивные суда. Они движутся почти бесшумно — до насыпи доносится только журчание воды, да глухо отдаются удары дизеля, как удары турецкого барабана. И это поразительное соседство оживленнейшей водной магистрали, бетонных башен Волго-Балта, нарядных теплоходов, большегрузных судов с полусонной Вытегрой, заросшей осокой, загроможденной лодками, отгородившейся от канала заборами и сарайками, никого не удивляет. К подобной чересполосице старого и нового давно привыкли, хотя и не смирились с ней: над бревенчатыми домиками и бараками то там, то здесь возвышаются стрелы подъемных кранов, светлеют заборы, ограждающие стройплощадки и пустыри.

Побывать в городе Вытегре и не попасть на берег Онежского озера — все равно, что не повидать в Москве Красную площадь, а в Вологде — Софийский собор. Где-то здесь, совсем рядом, былинное озеро Онего, раскинувшееся на сотни квадратных километров... Итак, в дорогу!.. Моторная лодка петляет по руслу полноводной и глубокой Вытегры, сворачивает в протоку, пробирается в густых камышах и вылетает на простор озера Великого. Название-то чего стоит — Великое! Далеко впереди, за островками камыша, — холмистая гряда. Это — кенда, так вытегры зовут песчаные дюны, поросшие сосняком. Снова протока, снова шуршание тресты, снова кувшинки, цепляющиеся за винт, — и ты уже у цели. На песчаных буграх разбросаны изогнутые ветром сосны; за соснами что-то неумолчно и ровно шумит, хотя стоит безветренный, жаркий день. Нет, сосны так шуметь не могут,

это что-то иное. Нетерпение охватывает тебя — скорее за бугор, к этому неумолчному шуму... Шаг-другой-третий — и ты замираешь, с трудом переводя дыхание: перед тобой голубая чаша, до краев наполненная солнечным светом. Ослепительно-белый песок, гребни волн, силуэт теплохода на горизонте — и безлюдие, невероятное в наши дни безлюдие прибойной полосы... Идешь, идешь по приплеску, встретишь полузасыпанное песком днище лодки, завал бревен-топляков, уголь, который горит на белом песке как диковинный черный алмаз, но нигде не увидишь человеческих следов. Это — Север, край земли Заволоцкой. Это — устье реки Вытегры, которое отмечено башней маяка и едва различимо в голубом мареве побережья.

Шумят низкорослые сосны, зацепившиеся за песчаный обрыв, шумит прибойная волна... Этот шум встречал лоды, по-летописному «насады», ватажников-новгородцев, гребные галеры Петра Первого, беляны петербургских купцов, колесные пароходики акционерных компаний. Теперь этот шум встречает белоснежные теплоходы, курсирующие по Волго-Балту, нефтеналивные лихтеры, идущие из Баку в Гданьск, «метеоры», пересекающие Онежское озеро за два с половиной часа... И все-таки от первозданности земли и неба, воды и песчаных обрывов тебе становится удивительно легко и весело... Рубашка, брюки, ботинки, трусы — все летит на песок... Набежавшая ледяная волна окатывает с головой. Ты отталкиваешься от песчаного дна и плывешь, плывешь в голубую безбрежность, пока хватает дыхания и сил...

...Вот, оказывается, на какие воспоминания может навести фанерный щит с изображением водных путей Заволочья!..

Как бы очнувшись от сна, ты встаешь с пристанской скамьи, еще раз подходишь к расписанию пассажирских теплоходов, запасаясь терпением и выходишь на Советский проспект. Сирена речного буксира провожает тебя.

IV

...И вот наступает час отплытия!.. Он всегда наступает, этот час, как бы ни были томительны дни и месяцы его ожидания. Вещи заброшены в каюту, билет лежит в бумажнике—все в порядке. Ты плывешь до Устья-Вологодского, потом сворачиваешь не к Кубенскому озеру, не к Кириллову и Волго-Балту, а вниз по Сухоне—к Тотьме, Нюксенице, устью Юга... И будешь плыть все дальше на северо-восток, к Северной Двине и по Двине, от устья к устью, мимо пристаней Усть-Бага, Усть-Ваенга, Усть-Пинега до славного города Архангельска, до устья Северной Двины, до Беломорья, называемого в летописях Соловецкой пучиной.

...Еще вчера в Вологде стояла небывалая для Севера жара: свыше тридцати градусов. Над притихшим сквером, над зданием обкома партии, расположенным напротив сквера, носились стаи стрижей. И эти стаи стрижей, и яркий закат, полыхавший вдали, и светлый купол колокольни Софийского собора—все было непривычным, странно-умиротворенным, особенно странным после московской толчеи, очередей у билетных касс на Ярославском вокзале, приготовлений к отъезду и неизбежно связанных с отъездом волнений—отвыкает человек за время разлуки от многого и забывает черты родного города, которые, казалось бы, трудно забыть... А наутро—

холодный ветер, облачное небо и уходящий дебаркадер с крупной надписью: «ВОЛОГДА». У самого борта — старая женщина в сером пальто и вязаной шали. Нет ничего дороже этой удаляющейся фигурки с поднесенной к щеке рукой — как извечен материнский жест разлуки и безмолвной печали! Все шире и шире полоса чистой воды, все мельче фигурка возле борта — вот ее уже и совсем не видать...

Небольшой теплоход «Тарас Шевченко» медленно пробирается протокой, образовавшейся между штабелями бревен, бранд-вахтами, плавучими кранами, плашкоутами и буксирами. Многим из них идти по большим и малым рекам Заволочья, тащить плоты, снабжать самые отдаленные лесопункты и деревни продуктами, мануфактурой, машинами и стройматериалами, в которых повсюду большая нужда. Вдоль реки Вологды тянутся складские помещения, порталные краны, железнодорожные составы. Это — перевалочная база. И сразу же начинается деревня Турундаево с избами-пятистенками, резными карнизами, лодками, вытасченными на берег. И пошел теплоход кружить среди плоских, как гладильная доска, берегов, среди засиненных далью северных лесов. Иногда по берегу, обгоняя теплоход, пробежит трактор «Беларусь», сзади на прицепе, устроившись на груде сена, сидят девушки-колхозницы. Все в белых платочках, подвязанных под подбородком, все молодые, оживленные, довольные и собой, и трактористом, и даже погодой, которая к вечеру обещает быть еще сумрачней и ненастней. Это — Заволочье! Это — Северная Русь! После пристани Устье-Вологодское, мимо которой мы пройдем без остановки, река мало в чем изменится, хотя это будет уже не река Вологда, а Сухона, и местность будет называться Междуречьем, а не Вологод-

ским районом. Но именно здесь, на пойменных лугах Междуречья, берут начало молочные реки, которые на молокозаводах превратятся в знаменитое вологодское масло. Вот почему так радуют глаз новые скотные дворы под шиферной крышей, стада совхозных коров и копны сена, расставленные по берегам в шахматном порядке. Нигде и в помине нет прославленных песнями косарей и крестьянок-молодаек, ворошащих сено. По-иному выглядит сенокос в Междуречье — гусеничный трактор тянет за собой подборщик-копнитель: ленточный конвейер и короб на деревянных полозьях. По ленте бежит сено, уминается в коробе, засыпается до верху — минута, еще минута... Короб на полозьях переворачивается — и копна готова.

Вдоль теплохода стремительно пролетел чирок. Видно, где-то здесь, в зарослях осоки, его гнездо. И как извечно птица тянется к родному гнездовью, так человек — к родным местам... В июне 1965 года к себе на родину приехал летчик-космонавт Павел Иванович Беляев. Приехал он вместе с Алексеем Леоновым, с которым 18 марта 1965 года он совершил орбитальный полет на корабле-спутнике «Восход-2». Казалось, только что в иллюминаторы космического корабля они видели всю нашу планету, только что газеты пестрели заголовками: «Выход человека в открытое космическое пространство! Алексей Леонов в космосе! В историю отечественной и мировой космонавтики вписана новая яркая страница!» И вот — толпы восторженных земляков-вологжан, борт теплохода «Союз», лесистые берега Сухоны и Кубенского озера, шлюзы Северо-Двинской и Волго-Балтийской системы... Звездные братья совершают поездку по

Заволоцкой земле! Вологжане встречали Павла Беляева и его напарника по полету Алексея Леонова с истинно северным радушием, с нескрываемой гордостью. Едва ли не все население прибрежных сел собралось в те дни на пристанях и причалах — такого скопления народа, такого торжества еще не знала древняя земля. Люди слышали, что Павел Беляев — свой, деревенский, вологодский, что он родился в деревне Челищеве, затерявшейся в лесах восточнее города Тотьмы.

Теперь на пристанях только редкие пассажиры: в деревне рабочая пора — сенокос.

Заметно вечереет. К селу Шуйскому, расположенному при впадении реки Шуи в Сухону, теплоход подходит уже в темноте. Шуйское — центр Междуреченского района и первая остановка на пути к Тотьме. Отраженные рекой огни села делают воду дегтярно-черной, а берег темным и неприветливым. Эти огни длинными знобкими полосами пересекают реку... Скорей же спускайся с палубы вниз — там, возле машинного отделения, тепло и уютно. Ярko сияет красной медью кипятильник. От крана бьет горячий пар. Под ногами железный, истоптанный, весь в стершихся заклепках пол, иначе и не скажешь: бородавчатый пол. Лежат бухты толстых канатов, штабеля ящиков и еще какой-то поклажи.

Ах, как хорошо прижаться к теплomu кожуху кипятильника и знать, что за бортом теплохода — черная вода, нудный мелкий дождь и сырость ночных низин! А здесь женщина кормит грудью ребенка, пьяный старик спит на ящиках, свесив руку, и парень с девушкой сидят в обнимку. Старуха, примостившись к канатам, покуривает дешевую папироску и равнодушно смотрит то на пьяного старика, то на об-

нимающихся парня и девицу. Из машинного отделения тянет теплом, запахом солярки. Там огромные и влажные от масла шатуны вращают гребной вал; машинист, протирая руки ветошью, ходит возле шатунов; изредка в глубине трюма вспыхивает ослепительное пламя форсунки. И где-то совсем в другом мире, как будто бы даже в другом измерении, гудят ночные, непроходимые лесные дебри Заволочья.

«А лесов-то тьма, а в лесах Тотьма», — написал в одном из северных стихотворений поэт Сергей Орлов. Строчка запомнилась, запала в память. И хоть поэт переставил ударение, ибо название далекого городка произносится с ударением на первом слоге — Тóтьма, а не Тотьма́, — прощаешь ему эту вольность за хорошую рифму. Ведь в действительности Тотьма затерялась среди сухонских лесов — и в заречьи лес, и за городом лес, и повсюду — тьма тьмы лесов.

Впервые Тотьма упоминается под именем посада Тодмы в новгородских хрониках. Сохранилась грамота князя Святослава; в этой грамоте говорится, что, дескать, жители посада Тодмы должны платить новгородскому епископу Нифонту дань дорогими куньиими мехами. А что еще было взять с посада, окруженного «великим лесом»?! Святославо повеление относится к 1137 году. Таким образом, Тотьма на десять лет старше самой Вологды, первое упоминание о которой отмечено под 1147 годом. Через столетие не одной драгоценной «рухлядью» прославилась Тотьма — вблизи нее были открыты соляные источники: тогда «у соли» возник посад Усолье, где соляной раствор выпаривался на железных противнях, а выпаренная соль ссыпалась в рогожные кули и развозилась по всему Заволочью, принося не меньший, чем мягкая

рухлядь, доход господам новгородцам. Этот посад и крепостица, возникшая позднее в устье реки, впадавшей в Сухону, и образовали нынешний город Тотьму. Столетия сухонское поселение не меняло облика, хотя выгорало множество раз и множество раз подвергалось опустошительным набегам татар и других воинственных иноземцев, в летописях называемых агарянами. И сейчас город Тотьма разделен низинкой, в которой протекает речка Пес-Еденга. Местные жители постарались переосмыслить непонятное им название реки... Вообще в Заволочье наряду с Торжком, Наволоком, Городищем, Погостом, Устьем можно встретить Вотчу, Игмас, Полдарсу и другие названия деревень и сел, первоначальный смысл которых давно утрачен. Наряду с реками Двиницей, Царевой, Стрельней, впадающими в Сухону, в здешних краях можно найти Печенгу, Еденгу, Леденгу, Луженгу, Шарденгу...

Многие из этих рек были местами обитания «чуди заволочьской», которая по преданию «в землю ушла»!.. Ушла в землю чудь заволоцкая, а как ушла и почему — никто толком сказать не может. Остались от нее только чудские могильники да названия речек и глухих лесных чащоб, по-местному, суземов... А то или иное непонятное русскому крестьянину название, вроде Еденги или Леденги, переосмысливалось заново, связывалось с каким-то подлинным историческим событием, хотя, по правде говоря, этому событию или случаю нередко придавалось самое фантастическое толкование... До сих пор тотьмичи пересказывают приезжему человеку легенду, по которой царь Иван Васильевич Грозный повернул из Вологды не в Москву, а в Тотьму. Хотел он ехать дальше — то ли в Устюг, то ли в Архангельск, но застрял возок в ни-

зинке, по которой протекал безымянный ручей. Подоспевшие мужики помогли кучерам вытащить возок. Выбрался царь-государь из возка, вознамерился было отблагодарить мужиков за помощь, достал кошель, развязал его да нечаянно обронил денежку. Скуповат был московский государь—искал, искал серебро, не мог найти и тогда в сердцах воскликнул: «Пес с ней, с деньгой-то!» Вот откуда пошло название Песья Деньга. Может, и следовало бы принять это сказание за досужую выдумку тотмичей, если бы не одна удивительная деталь. На ветхом домике, который и поныне стоит в пойме этого ручья, прибита проржавевшая табличка: «Набережная реки Песья Деньга». А Иван Васильевич Грозный дальше Вологды на север не заезжал, и правильное название речки не Песья Деньга, а Пес-Еденга.

...Шорохом старых берез встречает Тотьма теплоход «Тарас Шевченко». Дуплистые, развесистые, они придают удивительное своеобразие этому старинному русскому городку. Шорох берез смешался с шорохом дождя, который начался на рассвете и не переставая льет все утро. Возле деревянных тротуаров бродят вымокшие куры, горланят петухи. Разгоняя их, идут автомашины, спешат прохожие. На деревянных тротуарах—деревянные же заплатки. Вдоль улиц—деревянные заборы и деревянные домики с резными наличниками. Куда бы ты ни пошел, всюду тебя сопровождает запах мокрого теса и спиртовой запах корья—этот запах да цвет серебристого старого дерева (замечали ли вы, деревянные срубы современем приобретают именно такой серебристо-светлый оттенок?) и служат приметой большинства сухонских поселений. Конечно, как и всюду в Заволочье, в горо-

де Тотьме заметны и новостройки, и новые предприятия местной промышленности. За речкой Еденгой расположен большой механизированный льнозавод. На месте бывших соляных варниц выстроены корпуса бальнеологического курорта, известного далеко за пределами области. К Тотьме прокладывается бетонная автострада.

Как в Белозерье, Кубеноозерье и других районах области, над домами и избами тотьмичей скоро подымутся телевизионные антенны — вблизи от Тотьмы строится ретранслятор.

...А дождь, зарядивший с утра, то вроде бы притихнет, то припустит сильнее прежнего. Может, пойти в местный краеведческий музей, о котором ты был слышан раньше? Музей славится уникальным собранием старинных предметов крестьянского быта — прялками, изделиями из бересты, вышитыми полотенцами и кружевами. Говорили тебе и о прекрасном собрании картин известного русского художника Феодосия Михайловича Вахрушева, родившегося и прожившего большую часть жизни в Тотьме.

В просторном краснокирпичном здании бывшего Духовного училища — полумрак и музейная тишина. Уже в первых залах музея история родного Заволочья обретает наглядность и какую-то особую достоверность, убедительность. Вот ты читал про «чудь заволочьскую», слышал о ней, а здесь, на стендах, представлена богатейшая коллекция шумящих подвесок и других женских украшений из чудских могильников. Их немало в Присухонье. Археологические раскопки, проведенные в разные годы, позволили приоткрыть завесу над судьбой этого таинственного северного народа. Ты вглядываешься в медные, позе-

леневшие от древности подвески, видишь характерную трехчастную композицию на многих из них — две стилизованные конские головки повернуты к центральному изображению языческого божества, — и перед мысленным взором встают обрывистые берега Сухоны, леса и леса, и даль реки, которая от устья к устью становится все более плавной и величавой... Сменяются берега, густеют сосновые боры, и река Сухона катит свои воды уже не сквозь лесную чащу, а сквозь чащу десятилетий, которые слагаются в века.

А как хороши тотемские прялки!.. Ни одна из них не повторяет другую ни в рисунке, ни в узоре, а все наособицу, все с выдумкой... Многие из них венчаются тремя «городками» или тремя пологими выступами, за что на Севере их называют «башенными»: не от слова «башня», а от слова «баская», что значит красивая. Примечательно, такие прялки с широкой лопастью и тонкой ножкой встречаются чаще всего по берегам великого водного пути, которым новгородские ватажники и торговые гости ходили к Камню и Соловецкой пучине. На западе области — в Устюжне или на юге — в Грязовце прялки имеют совершенно иную форму: ножка прялки массивна, она несколько сужается в верхней части и завершается небольшим гребнем. А тотемские прялки мало чем отличимы от новгородских «лопасек», найденных на раскопках древнего Новгорода в слоях XII века, да и поныне распространенных в деревне Сопки на Новгородчине. Вот она — живая связь времен. Вот она — живая история земли Заволоцкой... И здесь же, рядом с прялками, можно увидеть берестяные короба, жбаны, туески и даже берестяные сапоги — живое свидетельство

ство нищеты и обездоленности заволочан. На стендах — вышитые тотемские полотенца. Многие из них имеют полуметровые «концы»: тут и вышивка цветным гарусом, и старинные кружева, и редкостный по красоте и изяществу работы узор. Ты не можешь понять, что означает этот узор в целом, хотя и различаешь человеческие фигурки, фантастические изображения птиц, похожих на грифонов, коней, повернутых к дереву со множеством мелких цветочков на ветвях... Но ты чувствуешь, что сразу попал в какое-то сказочное царство-государство, в котором обыкновенная березка преобразается в дерево-цветок, крестьянский конь — в крылатую Сивку-Бурку вещую Каурку, а рыбацья лодка — в былинную расписную лодью. Несть числа подобным чудесным превращениям!.. На какое-то мгновение цветок-березка, окруженная крылатыми конями, напоминает тебе орнамент на чудских шумящих подвесках... Надо бы проверить себя, вернуться в залы древней истории... Ты возвращаешься, но с первого взгляда не находишь этой общности. А жаль.

Проходя второй раз по залу, ты останавливаешься у одного из стендов. Что это?.. Сабли, бердыши, мелкие медные пушки и ядра к ним. Подпись гласит: случайно обнаруженное захоронение, или братская могила времен «панцины»... Далековато зашли колонны шляхтичей после разорения Вологды, когда они зарубили на мосту воеводу Григория Долгорукова и город и посады выжгли до основания. А вот смерть нашли здесь, в тотемских лесах и болотах...

Но не довольно ли легенд и исторических справок?.. Ведь впереди залы с картинами Феодосия Михайловича Вахрушева. Именно ему установлен бюст в центральном сквере города Тотьмы. Именно о нем

была тебе рассказана быль, которая не может не заинтересовать любого.

Феодосий Михайлович Вахрушев — превосходный пейзажист. Почти все свое творчество он посвятил родной Сухоне. Пленительны его картины «На реке Сухоне», «Туман на Сухоне», «Вечер на Сухоне», «Сухона в жаркий день» и многие другие. Среди этих пейзажей, то овеянных грустью, то жизнерадостных, то сдержанно-задумчивых, то душевно-усталых, привлекает внимание едва ли не единственный портрет женщины. Ее лицо нельзя назвать красивым — это скорее выразительное лицо. Карие глаза как бы обращены в глубь себя, они ищут ответ на какой-то мучительный, почти неразрешимый вопрос. Но почему этот портрет оказался среди пейзажей? Кто эта молодая женщина?..

Звали ее Елена Михайловна Рябкова, и была она дочерью именитого тотемского купца. Молодой художник познакомился с ней во время одного приезда из Петербурга. И влюбился, как влюбляются первый раз в жизни. По всему — девушка отвечала ему взаимностью. Трепетно и нежно влюбленным уезжал живописец в Академию художеств. Годы не охладили чувства молодых людей. Но отец Елены Рябковой воспротивился браку, ведь по его представлениям Феофан Вахрушев был нищим, непутевым человеком: он дерзнул просить руки дочери сразу же после возвращения из Академии, не имея за душой ни капиталов, ни званий, ни чинов. Купец Рябков был тверд в своем решении — он увез дочь Елену из Тотмы. Вахрушев никогда больше не помышлял о женитьбе. Но и Елена Михайловна не вышла замуж. Так и прожили они долгие годы в разлуке.

В 1957 году одним из рейсовых теплоходов в Тотьму приехала пожилая женщина. Приехала она из Ленинграда и несколько дней прожила в городе, никому не известная и никем не узнанная. А это была Елена Михайловна Рябкова. Перед отъездом она подарила местному музею свой портрет и уехала из Тотьмы, видимо, навсегда... Вот какова история портрета женщины с прекрасными карими глазами. История печальная, как и всякая история истинной любви. Прослушав ее, хочется еще раз пройти по залам, в которых развернута экспозиция картин северного живописца... Постоять, подумать. И наконец понять, что сухонские пейзажи Ф. М. Вахрушева — это его перевоплотившаяся любовь, его нежность и тоска, его письма и дневники, его исповедь и проповедь, короче, вся его жизнь. А жизнь до последнего часа была озарена необыкновенно сильным чувством, таким необыкновенным и таким сильным, что кисти Ф. М. Вахрушева, кроме портрета, принадлежит изображение девы Марии, написанное им до революции и помещенное в актовом зале Духовного училища, изображение, в котором старые тотьмичи узнают черты Елены Рябковой. И ее портрет, и пейзажные полотна тотемского живописца — все вместе вызывает в душе высокие и светлые чувства. А не в этом ли заключена одна из тайн истинного искусства, разгадать которую дано далеко не всем?..

...По Сухоне идет молевой сплав леса. Издали, с борта теплохода «Лесков», шестиметровые бревна, рассыпанные по глади реки, кажутся неподвижными и застывшими в хаотическом беспорядке. Но такое ощущение обманчиво — течение Сухоны с каждым километром все быстрее и стремительней. Небольшой

теплоход «Лесков», который из-за мелководья курсирует только между Тотьмой и Нюксеницей, идет прямо по молевому сплаву. Железный корпус теплохода вздрагивает от глухих ударов, иногда замедляет ход: поперек судна встает бревно и тормозит движение. Но его вышибает из-под днища другое бревно — и так без конца. Рулевые в судовой рубке не обращают на сплав никакого внимания: привыкли. Они ведут теплоход по извилистому фарватеру, который в иных местах сужается до пятнадцати метров. На перекатах или, по-местному, переборах лежат все те же бревна-топляки.

Ниже Тотьмы река Сухона совсем не похожа на ту медленную, плавную реку, к которой привыкаешь в районе Междуречья, — здесь она порожи́ста и камениста. Берега ее обрывисты. Слои пермского песчаника, черного мергеля и сухонского известняка образуют прихотливые изломы и извивы, пересекаются прибрежными оврагами, прорастают одинокими березами и соснами, которые цепляются за обрыв и, кажется, вот-вот сорвутся вниз.

Возле пристани Игмас — крупная лесобиржа... Если сказать, что на берегу виднелись штабеля бревен и железные глаголи подъемных кранов — значит, ничего не сказать. Не штабеля — кварталы бревен, то уложенных в штабеля, то насыпанных горами, разбросанных по берегу на несколько километров. Рабочие лесобиржи по настилу сбрасывают лес, вывезенный с лесопунктов, в реку. Бревна, убыстряя и убыстряя вращение, с размаху падают в воду, вздымают каскады брызг, долго вращаются в воде и постепенно подхватываются течением. Отсюда начинается поток леса, который весь устремлен на северо-восток и северо-запад.

И Сухона и все ее притоки — неутомимые реки-труженицы. Они работают на крупнейшие бумкомбинаты страны — Сокольский, Корежмский, Архангельский, на многочисленные лесозаводы в Котласе, на Ленинградский и Архангельский морские порты. Далекий путь леса к пилорамам отсюда, из Тотемского, Брусенковского, Нюксеницкого леспромпхозов, из многочисленных лесопунктов, разбросанных по всему Северу. Велики и потери его — как говорят, до пятнадцати процентов. Молевой сплав экономически малоэффективен и отстал, он засоряет реку топляками, отравляет ее разлагающейся корой, создает неудобства для судоходства. Но другого выхода нет. Слишком камениста и извилиста в среднем течении Сухона.

Положение дел может измениться только после строительства Велико-Устюгского гидроузла. В проекте — здание гидроэлектростанции, судоходный шлюз, наклонный судоподъемник, бетонная и земляная плотины. Вот тогда-то и скроются под водой знаменитые сухонские перекаты, как скрылись знаменитые древние волока в районе Волго-Балта. Шлюзованная лестница — ступень за ступенью — будет опускать большегрузные суда, буксиры с плотами, самоходные баржи из самых отдаленных районов Заволочья к Северной Двине, к Белому морю, к самому Ледовитому океану. А пока плоскодонный теплоход «Лесков» вздрагивает от удара тяжелого бревна, вставшего поперек течения, приметно сбавляет ход — бревно с плеском выскакивает из-под днища, все измочаленное о камни перекатов, изрубленное форштевнями проходящих судов.

...Казалось бы, глуше, чем Нюксеница — поселок районного значения, — места и придумать трудно — связь с областным центром только по воздуху, а летом — с пересадками по воде. Но Нюксеница, вернее, ее новая часть, расположенная на высоченном левом берегу, — вполне современный рабочий поселок. Как и Тотма, этот отдаленнейший райцентр разделен речкой Нюксеницей на две половины, соединенные пешеходным мостиком. В старой половине умирают бревенчатые избы старинного присухонского села, в новой — все новое: и аккуратные ряды двухэтажных желтых домов, и здание столовой-ресторана с паровым отоплением, с неизменной «виолой» и облицовкой из опилочных плит, и поселковый клуб, и райком, и продуктовый магазин. Рядом с Нюксеницей — ее пригород, по-народному Крысиха. В здешних местах у многих поселений сохранились два названия: одно — настоящее имя, другое — прозвище. Так, например, официальное название — Ананьевское, а прозвище — Помелиха, официально пишется Наумовское, а говорится — Мадовицы. Конечно, Крысихи и Помелихи — наследие дореволюционных лет. Однако не только ими богат был наш Север и раньше. Народ по-своему восхищался красотой здешних мест, живописностью берегов Сухоны, величием лесных просторов. Наряду с Помелихой он говорил: Красавино. Теперь Красавино — текстильный городок, известный на всю страну производством красавинских тканей, скатертей, полотенец и других изделий из вологодского льна. К слову сказать, помимо этого Красавина на Сухоне затерялись еще два поселения с тем же названием. Возле самой Нюксеницы есть слободка с красивым и точным названием Березовая. Эта слободка исстари славилась мастерами-умельцами, резчика-

ми по дереву... Резную прялку, солоницу, расписную дугу, а то и старинную братину можно и теперь встретить в избах слобожан.

А Сухона в этих местах действительно красива. На берегах ее то сосновые боры, то березовые рощи, и похожа она чем-то на шишковскую Угрюм-реку. Чего стоит Опокский перекат! Вот река врзается в всхолмленную местность, поросшую густым сосняком... Отвесные берега на сотню метров поднимаются то с правого, то с левого борта. Течение реки стремительное — это уже горная река, и закаменевшие обнажения берегов делают пейзаж почти что горным, непривычным для северной низменности. Пассажиры высыпали на палубу, чтобы полюбоваться этим дивом земли Заволоцкой. Еще раньше матрос несколько раз всех предупреждал: «Сейчас будут Опоки! Выйдите, посмотрите. Берега там больно красивые...» Как он был прав, этот заволоцкий парень, сохранивший в душе любовь к красоте родной Сухоны!.. Быстрое течение проносит наш теплоходик мимо красноглинных срезов, отвесно падающих к воде. Шум переката заглушает голоса. Блестят на солнце речные струи, свиваясь в серебряные жгуты...

И все было хорошо, если бы не тягостное впечатление, которое оставляют остатки бараков-временок, вышек, деревянной шлюзовой камеры с проржавевшими воротами. Раньше проход через Опоки занимал много часов — колесные пароходы не могли одолеть быстрого течения, их тянули еще и буксирами. Во время войны было предпринято спешное строительство обходного канала. Но не оказалось ни сил, ни техники, ни времени: недостроенную плотину в половодье разворотило баржей, принесенной с верховьев, система шлюзования была нарушена и в конце концов

разобрана на дрова. Так и остались эти деревянные ряжи, потемневшие от времени, забитые щебенкой, эти шлюзовые ворота, раскрытые настежь, эти следы бараков-временок, памятником нечеловеческих усилий и многих жертв. А Сухона стремительно бежит к новому повороту, несет наш плоскодонный теплоход к городу Устюгу Великому — последнему крупному городу в пределах вологодского Заволочья.

V

...Вот ты думаешь, Красавино — это хорошо сказано. А ведь и наши современники умеют не хуже придумывать имена и названия. Ну, чем плохо, к примеру, «Северное сияние»? Просто превосходно назвали люди систему северного газопровода, эту рукотворную реку протяженностью в тысячу километров. Начинается она в Вуктыльском месторождении в Приполярье, проходит через Двинскую и Заволоцкую земли и заканчивается у домен Череповца, у предприятий Ярославской области. Свыше тысячи километров стальных труб! По болотам, по топям, по лесам, по большим и малым рекам идет газопровод «Северное сияние»! Его широкая трасса первой очереди уже сейчас изменила облик древнего Заволочья. Но еще бóльшие надежды возлагаются на вторую очередь. Куда бы ни пришел — в райком ли, в редакцию ли местной газеты, в дом ли старожила, — можешь услышать: «Вот когда проложат асфальт... Вот когда построят компрессорную станцию... Вот когда развернут всю систему...»

Такие разговоры ведутся и в Тотьме, и в Нюксенице, и в Устюге, и в самой Вологде, потому что там строится компрессорная станция; потому что прокла-

дывается автострада; в Вологде, потому что для двух новых нитей газопровода должен быть выстроен целый завод по производству труб! Тех самых газопроводных труб большого диаметра и высокого давления, об ускоренном производстве которых сказано в Директивах XXIV съезда партии. Вся же система к 1980 году начнет перекачивать из Вуктыла и месторождений тюменского Севера миллиарды кубометров голубого топлива в Центр и на Урал. Потому-то и идут повсюду в здешних краях разговоры о «Северном сиянии»... Горючий газ обогреет школы, дворцы культуры и водные стадионы, дома, в которых будут жить совсем новые люди; он превратит воду в пар, приведет в движение сотни автоматических линий, утеплит животноводческие фермы, парниковые хозяйства... И тогда, может быть, живописные леса по Сухоне станут заповедными, превратятся в национальный парк, будут оберегаться пуще зеницы ока...

В нескольких километрах от Нюксеницы прорублена широченная просека. Здесь прошла первая очередь газопровода. Начинается прокладка второй... Грязь заливают сиденья кабин так, что водители стоят в болотных сапогах, — за гусеничными тракторами, за автомобильными тягачами тянутся многометровые металлические плети... От грохота дизельных моторов, от едких болотных испарений кружится голова. Пот омывает шею и грудь. Но велика в нашем народе страсть к созиданию, к труду, к ремеслу. И это народное творчество преодолеет все!..

Многим, вероятно, известна великоустюгская чернь по серебру, мало кто знает о шемогодской резьбе по бересте. Еще меньше знают о сканных работах северных мастеров. И совсем мало кто помнит теперь о ларцах и сундуках, отделанных «морозом по жести», с потаенными замками и секретами. И все эти ремесла и промыслы с XVIII века были сосредоточены в городе Устюге Великом. Вклад северных ювелиров, резчиков, сканщиков, шкатулочников в русское прикладное искусство признается всеми искусствоведами и исследователями народного орнамента и росписи по металлу. Правда, в начале нашего века многие промыслы и, в частности, чернение по серебру испытывали пору упадка. В том же Великом Устюге остался один только мастер росписи по металлу — М. П. Чирков. Ему-то и обязана великоустюжская чернь своим возрождением в 30-х годах, когда была организована артель «Северная чернь» и когда М. П. Чирков воспитал целую плеяду замечательных мастеров. Он передал им дедовские секреты и художественные навыки изготовления черневых изделий. Теперь в Устюге выстроено новое здание фабрики «Северная чернь», продукция которой пользуется большим спросом как в нашей стране, так и за рубежом. В последние годы стала возрождаться и шемогодская резьба по бересте. «Вологодские дарёнки» — коробочки, шкатулки, матрешки, подстанки, украшенные берестяным орнаментом, нашли себе многих покупателей и любителей сувениров. Но не всем промыслам в одинаковой степени повезло. Не повезло, например, ларцам с «морозом по жести».

...Еще с детства помнятся эти ларцы и кованые сундуки. Обивались они тонкой жостью с разлапым, морозным узором, точь-в-точь похожим на узор, кото-

рым изукрашивает стужа заиндевелые стекла. Узор этот не тускнел с годами, не стирался, потому что жость, окрашенная зеленым, голубым и желтым лаком, прокаливалась особым образом в печах. Сколько радости доставлял взрослым и детям такой чудесный ларец!.. Нужно было сначала найти ключик, потом потаенную замочную скважину, повернуть ключик — и неожиданно услышать тихий мелодичный звон: только после этого ларец открывался.

И вот перед тобой в руках старого-старого мастера этот ларец, как будто принесенный из страны детства. Только это последний мастер на земле, и в руках у него — последний кованый сундучок с «морозом по жести», изготовленный им самим. И тебе вспоминаются слова Сергея Залыгина, обращенные ко всем людям пишущим и путешествующим. Вот они эти слова: «Видимо, наше поколение последнее, которое своими глазами видело тот тысячелетний уклад, из которого мы вышли без мало все и каждый. Если мы не скажем о нем и его решительной переделке в течение короткого срока, — кто же скажет?..» Действительно, кто скажет о девяностосемилетнем великоустюжском мастере-шкатулочнике Пантелеймоне Антоновиче Сосновском, если этого не сделаешь ты или кто-то из нас?..

Длинной и пыльной улицей Водников ты проходишь к дому номер 51, где проживает П. А. Сосновский, коренной устюжанин и старожил здешних мест. Тебя встречает сам хозяин, почтенный старик, живой, подвижный и, видимо, привыкший к посетителям и гостям. Так оно и оказалось на самом деле. Поздоровавшись и усадив гостя за стол, Пантелеймон Антонович первым делом достает бумажную папку,

в которой собрано множество грамот от музеев — Великоустюжского, Тотемского, Вологодского, Загорского, дипломов и почетных свидетельств, запросов от научно-исследовательских институтов, писем, частных просьб, вырезок из газет... Да мало ли что хранит эта папка, собранная за последние годы, когда интерес к изделиям народных ремесленников заметно вырос. А Пантелеймон Антонович охотно и вроде бы даже заученно начинает рассказывать о себе... Семья у них была большая, мать вскоре умерла — вот и пришлось ему робить с шести годов у мастера Булатова Петра Ивановича. Потом еще у двух мастеров робил. Потом женился. И тогда уже робил на винокуренном заводе по-кузнечному... Но в первую же получку предлагает ему мастер выпить. «Я на утечу от него. Утянулся», — дедушка Пантелеймон озорно улыбается. Опосля завел себе кое-какой слесарный инструмент, кузницу смастерил, мастерскую в теплом чулане. И проробил ни много ни мало — восемьдесят пять лет. Из них больше половины робил ларцы и шкатулки с «морозом по жести».

Тут Пантелеймон Антонович замолчал, пожевал губами и пояснил: «Мне всегда в жизни везло... На хороших людей везло», — добавляет он. И только после этого действительно замечательного признания почтенный мастер довольно живо встает из-за стола, опускается на колени, отмыкает замок кованого сундука собственной работы и достает оттуда небольшой ларчик. Это — его единственный ларец, потому что все другие или разошлись по музеям, или оказались в руках посетителей.

«Дедушка-прадедушка, сделай на память, — с мягким юмором поясняет Пантелеймон Антонович. — Сделаешь, подаришь... И опять без ларца».

...Когда ты возвращаешься от П. А. Сосновского по той же тихой и уже сумеречной улице Водников на дебаркадер, ты несешь в себе какую-то потаенную грусть. Почему возникло в тебе это чувство, ты и сам сказать не можешь. То ли тебя устыдили руки Пантелеймона Антоновича, проработавшие на этой земле едва не целое столетие. То ли виноват вид ларчика, который оказался скромнее и непритязательнее, чем ты ожидал. То ли удручает мысль, что это последний мастер, изготовивший последний ларец. Ответить на эти вопросы трудно. Да и нужно ли на них отвечать?.. Только неприметно сквозь грусть и душевную смуту пробились строчки поэта Николая Рубцова, родившегося здесь, на Севере, в Емецке и погибшего недавно безвременно и нелепо:

С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь...

И тебе от этих строчек становится как-то спокойнее, и ты шагаешь к дебаркадеру, на котором тебе нужно переночевать, а с рассветом плыть дальше уже не по Сухоне, а по малой Северной Двине.

Возле города Устюга, о котором летописец сказал бы «при граде Устюзе», Сухона сливается с Югом и течет малой Двиной. Но только за Котласом, опять-таки при слиянии малой Двины и Вычегды, начинается полноводная красавица Северная Двина. От Котласа к Архангельску идут двухпалубные теплоходы, на которых все по-иному, чем на плоскодонном ПТ-4 — на нем ты приплыл в Великий Устюг. Там ты не знал, куда голову преклонить, а здесь — простор, здесь

каюты отделаны красным деревом, шезлонги на верхней палубе, на мостике важные моряки с золотыми галунами... Да и Северная Двина становится все полноводнее и шире от поворота к повороту. Ручьи и реки вносят в нее свои светлые холодные воды, и при устье каждой реки стоят старинные поселения: то Усть-Бага, то Усть-Ваеньга, то Усть-Пинега — и так до самого Беломорья. Бесконечные песчаные отмели по берегам сменяются зарослями ивняка и ракитника, деревянные избушки — трубами лесозаводов, заливные луга — скотными дворами, леса — зданиями сельских школ и интернатов. А теплоход, подрагивая от работы турбин, бесшумно рассекает светлые двинские волны и после остановок у пристаней как бы еще больше раздвигает берега... Хорошо и уютно в шезлонге с подветренной стороны... У тебя на коленях тетрадь с записями, которые сделаны перед отъездом из Москвы. Ты перелистываешь тетрадь и замечаешь, что теперь, на виду у светлой дали, иные из них читаются совсем по-иному. Ну, хотя бы вот эта запись. Более ста лет тому назад «Вологодские губернские ведомости» напечатали о том, как было открыто великое устье — устье Северной Двины.

Все лето 1553 года в низовьях Двины бушевали бури. А вот утро 24 августа выдалось спокойным. Рыбаки, обрадовавшись тишине, были на промыслах. Как вдруг на горизонте показалось светлое пятнышко.

— Верно, опять буря хочет подкрасться к нам, — говорили промышленники, пристально вглядываясь в окаям. Белое пятнышко между тем делалось все яснее и яснее, и вскоре уже можно было узнать мачты и паруса большого судна. Напуганные, суеверные, рыбаки стали собирать снасти. А иностранный корабль

летел прямо на монастырь Св. Николая, и пришельцы знаками и телодвижениями давали рыбакам знать, что они не враги опасные, а мирные люди, отыскивающие от страшной бури здесь приют и спасение. Однако недоверчивые обитатели пристани монастыря Св. Николая, посчитавшие за чудо появление такого большого корабля со стороны северных льдов, держались от них на почтительном расстоянии. Корабль кинул якорь. Иноземцы спустили шлюпки, и тут-то убежденные в доброжелательстве двинские рыбаки встретили радушно неизвестных моряков. Начался странный разговор: одни не понимали других, но заметно было, что приезжим хотелось проникнуть «внутрь земли». Чтобы исполнить желание гостей, их повезли в ближайший городок Колмогоры и уже там узнали, что это англичане, посланные от короля по делам торговым к великому государю русскому, и что на корабле находится английский посол, капитан Ричард Ченслер. 15 марта 1554 года царь Иван Васильевич Грозный отпустил посла и гостей из Москвы. Они же, приехав, жили у корабля до лета, а потом отплыли в свою землю...

...Белый теплоход рассекает могучую гладь реки. По левому борту за кустами ивняка проплывает еще одна, вероятно, последняя перед городом деревянная церковь. Так оно и есть — это соборная церковь в селе Лявля, один из самых примечательных памятников деревянного зодчества в двинской земле. Срублена она восьмериком в 1587 году, то есть через тридцать четыре года после неожиданного и перепугавшего двинских рыбаков визита в устье Двины капитана Ченслера. Все ее старинное обличье как бы приближает к сегодняшнему времени то августовское утро,

когда для русских торговых и военных кораблей открылся выход в Ледовитый океан, в заморские страны... Село Лявля давно скрылось за кормой, а на горизонте в лучах восходящего солнца отчетливо обозначились корпуса Архангельского бумажного комбината, порталные краны, линии электропередач. Как отрадно угадывать одну деталь за другой в этом современном пейзаже! И хотя по-прежнему пусты песчаные отмели, но мимо теплохода все чаще проскакивают катера и моторные лодки, плывут вперед и все-таки отстают буксиры с длинными вереницами плотов. Приближение большого города теперь чувствуется буквально во всем. Правда, это всего лишь ощущение, а не знание, потому что ты впервые подплываешь к Архангельску и впервые видишь и эти отмели, и эту кромку леса, над которой, словно айсберги, поднимают свои белые надстройки океанские лесовозы.

Плавный, едва заметный поворот реки — и уже другой лес возникает на горизонте. Лес портовых кранов. Они возвышаются над россыпью домишек, складских помещений, будочек и заборов. А река охватывает все видимое пространство, ее светлая синева кажется беспредельной. И радостное и тревожное чувство рождается в тебе. Оно всегда бывает, когда впереди виднеется незнакомый город, который тебе предстоит открыть как новую землю. И к этой земле тебя, словно твоих отчичей и дедичей, новгородцов и заволочан-мореходов, выносит все та же бескрайняя водная даль, выносит великая северная река Двина. Потом город станет привычен, будет исхожен, изъезжен на трамваях и автобусах, но пока он — весь в сизовой дымке, пока он — неизвестность и твоя догадка. На якорях стоят, а потом медленно

разворачиваются — по ходу теплохода — океанские лесовозы: по флагам узнаешь французские, датские, шведские, западногерманские, бельгийские и, конечно же, английские суда. Все ближе и одновременно все выше поднимаются пролеты автодорожного моста через Двину. Теплоход проходит главным пролетом — металлические конструкции нависают над головой и теперь видны особенно хорошо. За мостом — причалы и дебаркадер. Ты уже в Архангельске, ты в устье Северной Двины. К этому устью ты плыл много дней сначала по Вологде-реке, едва не задевая бортами теплоходика за баржи и причальные стенки, потом по Сухоне, огибая пойменные луга и стремительно скользя по перекатам, потом по малой Двине и, наконец, по Северной Двине, которая несколько суток полноводно и широко набегала под тупой нос теплохода. Слышен трубный глас сирены. Теплоход медленно сбавляет скорость. Минута — и причальные концы полетят на пристань...



 «КРАСНЫЙ ПАХАРЬ»

На набережной VI-й армии, почти напротив устья Золотухи, можно увидеть невзрачное, отштукатуренное здание. Теперь там какой-то склад — окна забиты проржавевшими листами железа, дощатый забор кое-где покосился, само здание заброшено и молчаливо. А когда-то в его окна были видны багровые отблески пламени, из широко раскрытых ворот валяли клубы дыма, у забора стояли крестьянские дровни. Это были механические мастерские, названные в духе 20-х годов удивительно точно — «Красный пахарь».

Мимо этих мастерских я ходил в заречье к дальним родственникам. Мал я был в ту пору, поэтому воспоминания мои разрознены, неполны. Вот молодая русоволосая женщина, опершись на чистую скатерть, поет протяжно известную тогда песню «На муромской дороге стояли три сосны...» И мне нестерпимо жаль эту женщину, потому что слова песни я воспринимаю всерьез. Вот я тоскую вместе с ней о милом, с которым она рассталась до будущей весны, хотя с милым женщина не расставалась, а пела в этот сумеречный, зимний час от неизъяснимой печали.

Возвращаться из гостей мне приходилось по безлюдной ночной улице, и когда я подходил к закопченному зданию и видел красное сияние снегов, то знал наверняка: дом близко. Однажды я поборол страх и застенчивость и рискнул войти в раскрытые ворота. В метущихся бликах огня, в тучах дыма навстречу мне качнулись гиганты; в ноздри ударил острый запах

гари. Гиганты подняли раскаленный брус, подошли к наковальне: один бухал молотом, а другой постукивал звонким молоточком, словно что-то подсказывал ему. Потом все окуталось облаком пара, поглотившим и вязкие удары молота и звонкую скороговорку молоточка. Прокопченный сажей детина бросил молот. Заметив меня, он добродушно блеснул белками глаз, но я тут же выскочил за ворота. Жутковатое чувство, с которым я вступил в полумрак мастерских, в этот таинственный мир огненных бликов, вздохов мехов, раздувавших горны, долго не покидало меня. Это была первая встреча с огнем и металлом, с индустрией, если, конечно, можно назвать индустрией полукустарные мастерские на берегу Вологды. Но будем благодарны «Красному пахарю» и его неутомимым кузнецам-молотобойцам — тогда, в 20-х годах, немало железных борон и серпов вывезли из его ворот крестьянские дровни и городские ломовики. И пошли гулять эти бороны по суглинистым пашням Заволочья, и пошли эти серпы жать умолотистую северную рожь.

Сорок лет в жизни человека — зрелость. Сорок лет в жизни народа — не такой уж большой срок. Но прошли они, эти сорок лет, и когда в печати и по радио стали появляться сообщения, что на Череповецком металлургическом заводе будет задута четвертая доменная печь, одна из крупнейших не только в нашей стране, но и во всем мире, я поспешил в родные места.

МОСКВА — ЧЕРЕПОВЕЦ

Второй час из-под крыла пассажирского самолета, летевшего по маршруту Москва—Архангельск, выплывает необозримая снежная целина. Кое-где она

испытана каракулевыми шкурками заиндевелых лесов: шкурки с явственно проступающими хребтинками — густой хвойной чащей, сходящей на мелко-лесье и кустарник.

Вообще удивительное дело — угадывать, узнавать с высоты трех тысяч метров такие знакомые предметы, как дорога, речной обрыв, одинокий стог сена. Вот по суровой ниточке ползет мураш, да и только! Догадываешься: лошадь с санями. Рассыпаны по полю крохотные пирамидки, в лучах восходящего солнца видны даже язычки теней: что это, копенки сена? Угадать трудно, потому что из-под крыла самолета наплывает и заполняет все видимое пространство белизна Рыбинского водохранилища. Через несколько минут Череповец. Он появляется внезапно, когда самолет делает крутой разворот и резко идет на посадку. Глаз успевает выхватить четкие кварталы города, коробки новых домов, оранжевые дымы сталеплавильных печей, градирни, корпуса металлургического завода — все в ярком солнечном освещении.

Пока редакционный «газик» вез меня к городу, молоденький шофер, вероятно, знавший, что рядом с ним сидит журналист из Москвы, завел подобающий случаю разговор.

— Разрешите задать один вопрос?

— Пожалуйста.

— Вы, конечно, хорошо знаете роман Чернышевского «Что делать?».

Чем другим, только не романом Чернышевского я был занят в эти минуты. Но все-таки пришлось торопливо припоминать, когда же, в самом деле, я перечитывал роман.

— А в чем дело?

— Скажите, пожалуйста, кто такая «Дама в черном»?

Вот те раз!

— Ну, знаете ли... Так сразу мне, пожалуй, трудно ответить. Надо подумать, сообразить... — Я помедлил и довольно неуверенно выдавил из себя: — Мне кажется, Чернышевский изобразил в романе свою жену Ольгу Сократовну...

— Точно! — обрадовался собеседник. — Вот и ребята так отвечали. А литераторша настаивает на своем: это, мол, одна из руководительниц крестьянского подполья...

У меня отлегло от сердца. Как выяснилось позднее, шофер учился в школе рабочей молодежи. Но сам по себе этот обыденный в наше время факт заставил меня внимательнее всматриваться в лица прохожих, в облик города, в его прямые проспекты, уходящие к заводским трубам и корпусам.

И Череповец — город огня и стали — вдруг напомнил что-то встречаемое не раз, не раз пережитое — да ведь это студгородок где-нибудь в районе Лефортова. «Точно!» — как сказал бы шофер «газика». То же обилие общежитий, те же девушки в лыжных брюках, перебежавшие через сквер, те же шумные партии молодежи, заходившие в столовки и кафе и занимавшие подряд несколько столиков. И все же мое сравнение было приблизительным, потому что металлургический завод был истинным средоточием всех жизненных сил и устремлений этого города. Не студенчество — рабочий класс Череповца утверждал здесь себя в полный голос.

Лучшая площадь — площадь Металлургов, лучший проспект — проспект Металлургов, лучший Дом куль-

туры — металлургов, лучший стадион — «Металлург»!

Снег давно стаял на асфальтированных улицах, по которым споро шагали рабочие, засунув руки в карманы курток. Домохозяйки заходили в гастрономы. От кольца то и дело отваливали переполненные трамваи. Город жил своей деловой жизнью. И только в роскошных парикмахерских-салонах было пусто — и тихо — электрические часы показывали 9.30 утра.

ВЫСОТА

К вечеру, когда мартовское солнце опускалось за градири — сооружения, чем-то напоминающие перевернутые стопки, — клубы розового дыма тянулись на северо-восток. Дымы застилали солнце, которое то скрывалось, то появлялось вновь, мешали разглядеть окутанные паром махины доменных печей, подъемники, слитковозы на дальних путях. И только одни градири были видны с дороги. Я шел прямо на них. Справа и слева тянулись почти километровые заводские корпуса, пока еще безмолвные, безлюдные, с запыленными окнами. Металлургический завод в Череповце непрерывно расширяется — в ближайшие годы он должен в полтора — два раза увеличить производство чугуна, стали, проката, хотя и сейчас в промышленном балансе страны он дает более шести процентов. Я не могу сказать, были ли эти новые цеха цехами горячего проката стали или кислородно-конверторными, только я долго шел мимо них, удивляясь безлюдью заводского проспекта. Возле стен еще лежали снежные заносы — их заледеневшие острые гребни были обращены в сторону солнца. И эти ледяные гребни, и молчаливые стены цехов, и трубопроводы, нависшие прямо над головой, и пыльно-серые конст-

рукции — все вместе взятое делало заводской пейзаж таким, каким художники-фантасты любят изображать цивилизацию марсиан. Во всяком случае, в детстве именно такими представлялись мне марсианские города-каналы. Редкие рабочие, что попадались навстречу, еще очевиднее подчеркивали безлюдье этого индустриального мира.

Я шел прямо к градирям, догадываясь, что где-то там должна быть она, шел, ни у кого не спрашивая дорогу, но догадываясь, что иду правильно.

Еще раньше, в заводской столовой «Бригантина», в профкоме, на улицах города я слышал упоминание о ней. Одни говорили: «Сегодня в 2.30 задули». И считали разговор исчерпанным. Другие дружески именовали ее «теткой», «сватей», «печкой», а Энгельс Федосеев, корреспондент Всесоюзного радио и мой товарищ, на нетерпеливый вопрос: «Когда ожидать?» — неизменно вещал: «В субботу, старик, в субботу. Кастрюля-то непомерно велика».

Все чаще на вагончиках, на стенах цехов мне стали попадаться транспаранты: «Въезд на строительство 4-й домны воспрещен» или «Товарищи строители и монтажники! Закончим в срок сдачу 4-й домны».

Стало быть, я действительно шел правильной дорогой и вскоре должен был увидеть четвертую домну — эту гигантскую «печку», задутую сегодня в ночь. Из-за здания доменного цеха донесся шум падающей воды. Если бы я не догадался, что именно там и находится четвертая домна, то подумал бы, что слышу шум водопада: шум был неумолчен и могуч, он заглушал все, забивал уши, стеснял дыхание.

...Источая плотный свист, утробное гуденье, водопадный рокот, окутываясь клубами пара, которые отбрасывали на землю прихотливые тени, окруженная серебристыми воздухомнагревателями, передо мной предстала домна-гигант. Глаз терялся в красной кирпичной кладке, в железных лестницах и переходах, в блестящих цилиндрах. Я никак не мог охватить разом этот величественный комплекс сооружений, пышущий паром, свистящий, поющий на разных регистрах. Запоминались какие-то пустяки: перед входом девушки-подсобницы разравнивают желтый песок. Рабочий где-то на верхотуре докрашивает кубовой краской железный лист. И уже совсем неразличимой вначале показалась мне памятная доска. Много довелось мне читать памятных досок на исторических зданиях северного зодчества. И приводил я эти записи в очерках и статьях охотно. А вот теперь передо мной была доска, увековечившая сегодняшний труд моих земляков. И я не отказал себе в удовольствии перенести ее текст в свою записную книжку. Надпись гласила: *«Доменная печь № 4 заложена в год 50-летия Советской власти. Сооружена самоотверженным трудом строителей-монтажников и металлургов при активном участии трудящихся города. Сентябрь 1967. Март 1969».*

Верю: величие человеческого деяния должно осознаться современниками, а после них — потомками. Я погрешил бы против истины, если бы не сказал, что мне отрадно было чувствовать: я — современник этого грандиозного сооружения, возникшего в мое время, в мою бытность, почти при мне.

— Мда-а... Ничего себе — «кастрюля»!

Позднее из разговоров, из сообщений газет мне запомнились несколько цифр. Вот они. Если бы можно

было вытянуть в одну линию все швы, сваренные на домне, то эта огненная линия протянулась бы от Череповца до Вологды, а кабеля, использованного здесь, хватило бы до Пензы. Конечно, непосвященному человеку трудно разобраться в деталях доменных конструкций, различить кожуха воздухонагревателей, системы пылеулавливателей, наклонный мост бункерной эстакады, галерею шихтоподачи. Ведь одного кирпича, использованного на кладке, хватило бы почти на двадцать девятиэтажных домов новой серии!

Когда-то Н. А. Некрасов сказал как отрезал: «копатель канав—володжанин». Сколько бы пришлось призвать сюда вологодских землекопов, если только для одного четвертого доменного агрегата было разработано и перемещено два с половиной миллиона кубометров грунта?! Но техника творит чудеса. И через несколько часов эта домна-гигант, имеющая два литейных двора и три лётки, потребовавшая не только привлечения специалистов со смежных предприятий Ленинграда, Москвы, Новокузнецка, Сыктывкара и других городов страны, не только высокой культуры производства, но и огромных капиталовложений, даст первый чугун.

...Бесконечными металлическими маршами я подымался вдоль бункерной эстакады выше, выше, к красному флажку, заметному со всей территории завода. И на каждой площадке раздвигался горизонт, все больше открывалась панорама завода и города: уже видны улицы Ленина, Чкалова, Бардина. Уже забелели просторы Рыбинского водохранилища, уже приметными стали самоходные баржи, вмерзшие в лед, кромки дальних лесов. Как-никак высота домны—высота двадцатиэтажного дома: восемьдесят два метра! От ветра, от простора слезились глаза. Совсем

рядом полоскался вылинявший от дождей, буранов, зимних ветров и все-таки победный красный флаг.

Внезапно многотонная махина задрожала под мой мелкой дрожью: я внутренне подобрался. Такое ощущение мне пришлось испытать в предгорьях Эльбруса, когда на противоположном склоне понеслась лавина и рухнула вниз. Только здесь была не лавина. Нет, это автоматически включилась система, подававшая в домну угольный концентрат: по наклонному мосту вверх полз двадцатикубовый ковш — он подымал из бункеров агломерат и кокс и засыпал их в чрево печи. Ковш напoлз, перевалился — меня обдало мелкими водяными брызгами, а из тьмы бункерной эстакады напoлзал второй ковш, и снова вращались маховики, и не прекращалось дрожание этого монолита из кирпича, железобетона и стали.

Вот и я думаю: чувство высоты — особое чувство. И его во всей полноте я испытал лишь здесь, на верхнем мостике домны, открывавшей мне и нашу даль и нашу близь.

ПЕРВАЯ ПЛАВКА

Телефонного звонка я не слышал. Но Энгельс Федосеев, который взял трубку и после короткого разговора начал быстро одеваться, нечаянно разбудил меня. В темноте гостиничного номера он искал «бандуру» — портативный магнитофон. На мой отчаянный призыв: «Обожди!» — Федосеев обернул ко мне плоское, широкоскулое лицо и в общих чертах пересказал содержание разговора. Диспетчерский пункт, где у него, как у настоящего радиожурналиста, были «свой» люди, сообщил: раздувка домны идет быстрее обычного, печь интенсивно наполняется

чугуном, через час-полтора ожидается первый выпуск металла.

«Газик» довез нас почти до здания доменного цеха, в густой предрассветной темноте мы пошли к домне. Миллионы кубометров земли, тысячи тонн металла, стальных конструкций, кирпича, сотни километров кабелей и труб, соединившись воедино, обернулись этим величественным инженерным дивом, которое смутно угадывалось во мраке. Но этого дива вообще могло бы и не быть, если бы не человеческие руки, разум и страсть к созиданию. В кратчайшие сроки четвертая домна стала явью потому, что здесь, по образному выражению писателя Григория Коновалова, люди трудом живут, исцеляются, царствуют. Вопреки плодам войны, которые во все времена одни и те же — пепелища, развалины, груды щебня, плоды человеческого труда фантастически разнообразны. Они еще так разнообразны и потому, что в конкретной человеческой судьбе труд может проявляться в разных обликах и лишь в судьбе народной неразделимо и то, и другое, и третье.

Главный литейный двор на исходе памятной ночи был пустынен. Пламенили газовые горелки, прикрытые гофрированными листами железа: для приема первого чугуна они разогревали желоба, выложенные огнеупором. В руках электросварщиков потрескивали и ослепительно вспыхивали огненные дуги. От этих вспышек помещение литейного двора мгновенно озарялось белым сиянием. Где-то над головой бесшумно двигался мостовой кран. Слышались предупреждаю-

щие звонки. В чреве печи гудел раскаленный воздух.

Если по минутам пересказать, как был сделан первый выпуск металла, то все будет выглядеть довольно буднично. В 5.00 мастер Валерий Иванович Нетронин дал команду: «Горновые — к летке!» За контроллер взялся доменщик Петр Малышев. Электробур тронул первую летку, с небольшими интервалами его жало стало входить все глубже и глубже в тело домны. Наконец, электробур отвели. В 5.10 горновой Александр Микушин взялся за кислородную трубку. В 5 часов 25 минут со второй кислородной трубки летка была вскрыта, посыпались снопы искр, сильнее «зафуркала» огромная печь, по желобам потекла раскаленная масса чугуна, срываясь в ковш чугоно-воза. Так четвертая доменная печь выдала стране первые восемьдесят тонн чугуна. А гости, облепившие поручни, которыми ограждены литейные дворы, журналисты, фотокорреспонденты, поздравления, телеграммы, краткие митинги — все это было потом, когда доменщики вскрывали вторую и третью летку. Но пока радостное и тревожное чувство, которое, я думаю, сходно с чувством высоты, испытывали все — от начальника доменного цеха Вячеслава Ивановича Солодкова и старшего горнового Героя Социалистического Труда Александра Ивановича Гуторова до самого молодого рабочего на домне Владимира Копылова, который только несколько месяцев назад стал горновым.

...Горели газовые горелки, вспыхивали дуги электросварки, раздавались резкие предупредительные звонки мостового крана. Все так же утробно гудела домна. На втором литейном дворе горновые

заканчивали очистку желобов. Но вот включились «юпитеры» телевидения. И литейный двор, посыпанный желтым песком, стал похож на арену цирка. Все лучи прожекторов и осветительных ламп были направлены сюда, на эту арену. Горновые — на площадке перед третьей леткой их было несколько человек — не обращали внимания на суету осветителей, операторов, фото- и кинохроникеров. Иные из них работали, иные стояли в вольных и поэтому еще более живописных позах, опираясь на ломы, которыми они только что скалывали шлак. Им дорогá краткая передышка. И хотя крайний к домне горновой в первое мгновение напомнил мне гиганта, опершегося о палицу, сравнение мелькнуло и исчезло: горновой тяжело дышал, лицо его было потно и устало. И все-таки литейный двор, залитый голубоватым сиянием «юпитеров», горновые в войлочных шляпах, в грубошерстных куртках, в брезентовых штанах, похожие на матросов парусного флота, рождали самые романтические ассоциации, как бы эти ассоциации не были чужды деловой обстановке литейного двора.

Один из них взял металлический прут, наклонился к горелке, мгновенно раскалил прут и прикурил от него сигарету. Что в том особенного? Но его движение было просто, как движение охотника, который, чтобы разжечь табачок, непременно сунет в костер хворостинку. Огонь и металл для этого горнового были привычны, естественны, как для охотника — лес, для моряка — вода и ветер. И все они жили, целылись, царствовали своим трудом. Отсюда-то, из этой каждодневной близости к ревущей стихии огня и металла, была в них уверенность движений, свобода поз, спокойное сознание своей силы — силы рабочего человека, повелителя огня. Возможно, я преувеличиваю, воз-

можно, работали в ту смену просто хорошие черепо-
вецкие парни. Однако во всем этом свисте раскален-
ных газов, метущихся огней, ударов кувалд по метал-
лу, рассыпчатом треске электросварки, во всем этом
гуле и грохоте, наполнившем помещение плавильного
агрегата, был — утверждаю я — был один момент не-
передаваемой в слове красоты. Именно красоты — и
ничего другого! Красоты слаженного человеческого
деяния, перед которым бессильны все беды на свете.

Старший горновой отложил кислородную трубку
в сторону: из летки уже вырывались дымные языки
пламени, сыпались каскады искр. И тогда горновой
взялся за металлическую пику, сначала один взялся,
а затем за нее взялись его подручные, и разом, друж-
но, слаженно они стали бить в летку, пробивать зака-
меневшую массу, открывать путь огненной реке. Во-
круг них запрыгали фотокорреспонденты, снимая
редкостный кадр, операторы навели на них фиолето-
вые зрачки телеаппаратов, а они, как матросы на па-
руснике, в родной им стихии огня и металла, раскачи-
вали пику и били в горловину летки, били враз, по
одному дыханию и одному удару сердец. С каждым
размахом доменная печь все обильнее выбрасывала
из своего нутра, раскаленного до тысячи двухсот гра-
дусов, языки пламени и снопы искр, пока наконец
не пошел металл. Металл пошел, пошел металл, понес
на хребтине темные полосы шлака, свиваясь в водо-
вороты, закипая белым ключом в ковше, осыпая пле-
чи блестящей угольной пылью. Лица присутствую-
щих мгновенно озарились багровым светом. И это же
багровое пóльмя стояло над черной пропастью ковша.

Один за другим гасли «юпитеры». Сматывали кабель осветители. Кинооператоры покидали установки. Опустел и мостик газовой будки. Но на литейном дворе царил все тот же напряженный и четкий ритм, какой мы с Федосеевым застали в пять часов утра.

ПОДАРОК

С годами за стеклами книжных полок у меня накопилось множество предметов, может быть неинтересных постороннему человеку, но дорогих мне как память о бесчисленных командировках, о встречах с людьми, о городах и поселках.

Каждый такой предмет — целая повесть. Взять хотя бы вот этот крошечный кирпичик, покрытый глазурью. Если внимательно присмотреться к глазури, сверкающей библейской синевой, то можно различить на ней паутину мелких трещинок. Еще бы, ведь этому кирпичику более пятисот лет. Подарил мне его в Самарканде узбек-реставратор возле мечети Биби-ханым. По грандиозности и пышности не было равных Биби-ханым на всем Востоке. Пять лет древние мастера строили и облицовывали ее такими кирпичиками, чтобы восторженный современник мог написать, что небесно-голубой купол ее «был бы единственным, если бы небо не было его повторением, и единственной была бы арка, если бы Млечный путь не оказался ей парой».

А рядом на книжной полке лежит слюда, знаменитый мусковит, который я привез с Витима. Когда-то на Руси окна всех боярских теремов и купеческих посадов посвечивали пластинами слюды, мамским мусковитом. Теперь слюда нашла другое применение — она незаменима в электротехнике. Ее отвалы жирно

блестели в промозглой штольне, которую я с трудом отыскал в непроходимой витимской тайге. А вот обренок черно-угольной кожи — подошва сапожка с длинным, узким задником, каких в наше время нигде не носят.

...Жил в Неревском конце мальчишка, бегал по проулку, играл в «чижа» — вот и протер легкий сапожок из сыромятной кожи, называемый в старину поршнем. Выбросили сапожок на свалку, а спустя шестьсот лет нашли его археологи, вернее, нашли то, что осталось, и подарили мне как память о новгородском раскопе.

...Накануне пуска четвертой домны Вячеслава Ивановича Солодкова одолели корреспонденты, а он сидел в помещении центрального пульта управления домны, сидел в шапке, в шарфе, в демисезонном пальто, сидел, нахохлившись, углубившись в график работы доменного агрегата. На листе бумаги рядом с синей линией шла красная: синяя определяла заданный режим работы, а красная показывала действительное положение дел. В этот-то момент, обернувшись, Вячеслав Иванович и увидел меня:

— Не могу, понимаете, не могу без конца давать интервью. Ведь она, — кивок в сторону домны, — глаза да глаза требует, как малое дитя! А вы...

Мне пришлось ретироваться. Зато на следующее утро, когда пошел чугунок, Солодков был оживлен и откровенно радостен. Узнав меня, он примирительно улыбнулся:

— А что! Хорошую кашу сварили! И быстро!..

Глубоко и шумно дышала перед нами домна. Из огненных ручейков, непрерывно сбегавших по ложу, лаборанты черпали пробу и вливали ее в небольшие формочки. Когда металл остывал, формочки уносили в лабораторию или в помещение «киповцев». Походили эти пробы чугуна на тяжелые железнодорожные костыли. Вот такой-то еще теплый «костыль» и подарил мне повеселевший Вячеслав Иванович Солодков. И не только подарил, но и написал: «1 плавка ДП-4. Череповец». И расписался под датой.

— Куда же пойдет этот чугун? — простодушно спросил я, принимая подарок от Солодкова. Вячеслав Иванович перемотал шарф, поправил шапку и только после этого, устало прищурившись, ответил:

— В третье тысячелетие...

Странное ощущение испытал я от этих слов, как будто внезапно заглянул в такую даль, куда за толчеей повседневных забот мы не часто решаемся заглядывать.

ВОДОПОЛЬЕ

— Куда ты поедешь — в водополье-то, — увещевала меня матушка Екатерина Александровна, или, как мы зовем ее в кругу семьи, бабушка Катя.

— Да я вторую неделю...

— И мало! Погостил мало. Тебя ждала — недель не считала, — бабушка Катя не собиралась сдаваться. — Вроде везде побывал, всех ославил — и на домне, и в других местах.

— Мне же надо...

— Никто и не говорит: не надо. Конечно, надо. А водополицу пережди.

— Пока еду до Череповца — просохнет...

— Просохнет... Как же, дожидайся,— насмешливо повторила мама. И начала новый заход: — Ты слышал, старые люди что говорят? Не слышал, так послушай. Иду я через виадук, вижу — сидят грачи. Парами возле гнезд сидят, а на гнездо не садятся. Почему? А есть старая примета: если грачи сразу садятся на гнездо — весна будет дружной и скорой, если на дорогу — долгой и затяжной.

Бабушка Катя торжествующе замолчала. И вдруг перерешила про себя:

— И то сказать: теперь на дорогах-то навозу нет, одни камни.— Это природная наблюдательность взяла в ней верх.— Безработным грачам что делать — возле гнезд сидеть, тепла дожидаться.

Упоминание о грачах, которые почему-то всегда впервые появлялись в березовой роще возле виадука, еще больше раззадорило меня. Взглянешь на голые ветви берез — и тревожно и сладко делается от их черноты. Там, на пешехонском тракте, уже началась северная весна, там — водополье. «Водополье!» — слово-то какое бабушка Катя невзначай обронила. Водополье — полая вода, а можно и по-иному — вода в полях, и тоже хорошо. Ноздри мои раздуваются, чую влажный ветер с низин, прель прошлогодней листвы, желтоватую пыльцу ивушек.

Скорее — в водополье, к дуплистым березам, к грачам, скорее — в Череповец, за Череповец, в синюю роздымь, лишь бы вырваться из города, лишь бы вдохнуть ветер пешехонского тракта, который теперь стал асфальтированным шоссе Вологда — Череповец.

Приметив, что слова произвели на меня совсем обратное действие, бабушка Катя вздохнула:

— Одна слава — сын в гостях, а он — вон он — фью-ю-ть — и нету.

Ехать в Нелазское я надумал только тогда, когда в Череповце, на автостанции, увидел рейсовый автобус «Череповец — 7-я фабрика». Автобус шел через село, где была чудная деревянная церквушка XVI века. О ней я уже был наслышан от друзей-художников, превосходно знавших памятники деревянного зодчества. Хранился у меня и эстамп с видом этой церквушки: в фантастическом обрамлении корней, веток, деревьев художники изобразили сказочный терем-теремок.

За серым, бетонным забором встали в ряд трубы сталелитейных цехов — автобус бежал вдоль территории Череповецкого металлургического завода. Трубы — одинаковые по высоте, по размеру, а дымы разные: у одной — бордовый, у другой — сиреневый, у третьей — голубовато-серый, и снова бордовый, и снова серый... Красиво. Если, конечно, отвлечься от воздействия химических отходов производства на атмосферу города. Да по-настоящему, без всяких оговорок, красиво, пожалуй, не здесь, а там — в самих сталелитейных цехах, где варят сталь мастера-чудоеи.

Когда завалочные машины хоботом, похожим на вытянутую руку, ловко поддевают мульду с железным ломом и, засунув по локоть стальную «руку» в жерло печи, переворачивают там мульду, — языки огня рвутся под стальные перекрытия цеха. Миг — и водополье огня! У огнедышащих печей не говорят, а приказывают, не шествуют в развалочку, а подбегают, не покуривают в тени, а швыряют совковые лопаты с известняком так, что роботы дымятся на плечах. Для такой работы тоже нужно искусство! И Заволочье в

этом водополье огня и кипенье металла кажется особенно светлым, скажу сильнее — ярим, яростным, пламенным, как яростна и пламенна работа сталелитейщиков, доменщиков, горновых.

Водополье! Куда ни посмотришь — вода и вода. Ручьи, пересекая мостовую, свиваются в жгуты, kloчуют в промоинах. Автобус то и дело оседает в эти промоины, высоко подбрасывая пассажиров на заднем сиденье. Пашни раскисли, набрякли талой водой. В низинах вода проступила сквозь снег — снег по окраинам пожелтел, и от этого талые воды кажутся еще светлее, с золотистым блеском; затопленный ивняк — более зябким, сквозным, редким, а вся окрестность — устьем реки, берущей начало где-то на юге и разливающейся здесь, в северных краях, на сотни километров.

Сходство с необозримым устьем усиливает и лес, который стоит среди снегов на краю горизонта, — подлесок туманен, незаметен; зеленеют одни колкие макушки елей. О великом устье Весны-Водополицы напоминает и багряная полоса, которая, как сигнал к навигации, плывет и плывет над пойменным раздольем: и сюда доносит ветер дымы сталелитейных труб Череповца.

Хорошо, что я поехал в водополье, что увидел начало весеннего обновления этих северных пашен и северных деревень. Они, как и домны и трубы, цеха и жилые массивы Череповецкого металлургического завода, как наша даль и наша близь, наша история и наша современность, — в одном устье сегодняшней жизни, на одной-единой вспаханной, политой кровью и потом Заволоцкой земле.

Деревянная Нелазская церковь стояла на холме. Рубили ее народные мастера по приметам ветряных мельниц: на ряжах-подкосах — преогромное гульбище, выше — полубочки перекрытий, еще выше — крохотные купола. Березовая роща возле церкви была полна грачиного гомона и крика. Да и вообще все было так, как хотелось, — запах талой воды, хмельной дух ярко-оранжевых осиновых опилок, вытаявших из-под снега, лошадь с санями, в которые возчик бросил охапку сена. Долго я бродил по этому косоугору, смотрел, запрокинув голову, на возню грачей, на светлосинее весеннее небо, на маковицы Нелазской церквушки и был несказанно доволен, что повидал и эту березовую рощу, и грачей, и сухонькую «деревяшку», чем-то похожую на сухоньких деревенских старух...

Водополье! Ручьи, бурля, клопоча, пересекают асфальтированные проспекты Череповца. Водополье — зачин северной весны.



БЕРЕГ ОЛЕШКИ



ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Матери моей Екатерине Александровне

О память сердца! ты сильнее
Рассудка памяти печальной.

Это двестише исследователи литературы нередко приводят как образец «пушкинской» гармонии. И не без оснований. Известно, что поэт прошлого века Ап. Майков обманулся и напечатал двестише в качестве эпиграфа, приписав стихи Пушкину. А в действительности оно принадлежит Константину Батюшкову — вологжанину — и со временем стало поэтическим афоризмом. Чудесная сила этих строк — в глубоком вздохе, как бы невольно вырвавшемся из человеческой груди, подкупающим запоздалым сожалением или просветленной печалью, а может, просто воспоминанием, виденьем наяву, как говорили во времена Батюшкова. Для меня в этом вздохе скрыты чувства томительные, почти непереводимые на язык прозы. И всегда неодолимо, неизбежно вспыхивает желание воскресить страницы прожитой жизни, углубиться в себя, задуматься. Вот и теперь, поддавшись очарованию старинного полустаха, медленно, медленно разворачиваю свиток пережитого.

Вырос я в городе — так во всей округе называлась Вологда: город и город, без само собой понятного уточнения — ведь других крупных городов в нашей округе не было. Двор у нас большой — пыльный и скучный летом, непролазный от грязи осенью, зава-

ленный поленницами дров зимой. За двором, в глубоком рву, вырытом еще при Иване Грозном, мутная, в хлопьях грязной пены речка Золотуха. Зато сколько находилось по ее берегам укромных «галдарей», подвалов и подземелий для детских игр и счастливых находок!

Жили мы вдвоем с матерью Екатериной Александровной. Старенькой стала теперь моя мама, недомогает к перемене погоды, а все кажется мне рослой, молодой и красивой. Жили мы скромно, и, как бывает в небольших, скромных семьях, пользовался я полной свободой и безграничным ее доверием — располагал как хотел и собой и своим временем. Довелось мне даже приобщиться к сценическому искусству — быть статистом в областном театре. Это принесло кое-какой заработок. Радость первых самостоятельно заработанных рублей — ни с чем не сравнимая радость. Пришла она в канун войны и означала одно: детство кончилось.

В декабре сорок второго года сразу же после уроков мы с моим другом Толей Ульяновым, погибшим через несколько месяцев в атаке, пошли на призывной пункт — повестки из военкомата лежали в наших потрепанных школьных портфелях. Помнится, в красном уголке, битком набитом бритоголовыми подростками, какими в ту пору были и мы, шел концерт для допризывников. Артист местной филармонии под трофейный аккордеон пел песню. Поразила меня не мелодия — она была самодеятельной, если можно так сказать о мелодии, поразили слова песни. Никто из нас не знал автора, да, пожалуй, и не задумывался над тем, был ли у нее, у этой песни, какой-то конкрет-

ный автор. А он был, был автор, был поэт, написавший пронзительные до дрожи стихотворные строки: «Жди меня, и я вернусь, только очень жди...» Да, стихотворение Константина Симонова «Жди меня», положенное на музыку безвестным композитором, как заклинание повторялось тысячами людей, хотя не судьба была вернуться многим из них ни в ближайшие дни, ни в ближайшие годы. Выучил наизусть эти стихи и я...

А в разгар военных действий, летом сорок четвертого года, мне впервые довелось выползти на «нейтралку» на Карельском перешейке, где в декабре сорок второго пропал без вести мой отец. Нашему взводу необходимо было заминировать передний край обороны... Потом, несколько месяцев спустя — проклятая война! — на этих же минных полях подрывались мои товарищи-саперы: в короткие сроки перемирия мы получили приказ снять минные заграждения, снять на той же нейтральной полосе, которую перепахал, неузнаваемо обезобразил жестокий артиллерийский и минометный огонь.

Затем — прорыв на Сандомирском плацдарме; польские села, горящие вдоль всего горизонта; заводские трубы и концлагеря Верхней Силезии; отчаянная переправа через Одер и, наконец, тот майский полдень, когда от гражданского немца я услышал: «Пан офицер — война капут!»

...Дождь накрапывал с самого утра. Небо, как бы застывшее в серой неподвижности, укрывало пашни, селенья, далекие предгорья, которые едва обозначались в морозящей мгле. За предгорьями — Чехословакия, а здесь — Германия, которая, впрочем, была для

нас все теми же пашнями, дорогами, городками с костелами, гастхаузами, была дождем, была всей этой сумеречной природой, застывшей в каком-то угрюмом ожидании неминуемых перемен. В такие непроглядные дни появлялось ощущение, что стоит еще глубокая осень, что снова может повернуть на снег, на холода и что войне не будет ни конца ни краю.

Вот почему под низким немецким небом двор какого-то богатого бауэра, вымощенный плитами, заваленный мокрой соломой, казался непомерно огромным, просторным. Мы ходили по соломе, пахнувшей сыростью, прелью, чем-то давним, давним деревенским, и разматывали телефонный провод, привязывали к нему белые лоскутки. Ночью наш взвод саперов-разведчиков должен был сделать проходы в минных полях и обозначить эти проходы белыми лоскутками. За долгие годы войны работа стала привычной, и все-таки солдаты спешили, чтобы поскорее укрыться где-нибудь от дождя.

Внезапно из-за черепичных крыш, которые мокро краснели под дождем, в небо врзались огненные сверла — это ударили гвардейские минометы. И в ответ раздался скрежет немецких шестиствольных минометов, в просторечии называемых «ишаками». Мины падали густо — они взметнули солому, обнажили плиты двора, рассеяли осколочные брызги. Налет кончился внезапно, как и начался, но в дальнем углу двора остались лежать несколько солдат: их намокшие шинели горбились на спинах, их тяжелые крестьянские руки были уронены в вороха соломы.

К вечеру дождь припустил, и вся округа потонула в сизом дыму. Мы сидели в окопах, прислонившись

к стенкам, накрывшись с головой плащ-палатками, покуривали, прислушивались к редким выстрелам, к шуму дождя, барабанившему по плащ-палаткам, и томительно ждали ночной темноты. Сержант первого отделения, разбитной парень из-под Каргополя, не уставал удивляться — когда это пехота успела выкопать траншеи да еще нарыть себе нор, откуда кое-где торчали солдатские ботинки.

— Дают жизни братья-славяне, — ворчал он. — Как речные раки: клешня в норе, а... наружу...

Взлетели первые сигнальные ракеты. Их радужные венцы подсказали нам — пора на нейтралку. Осклизшая от дождей корка пашни продавливалась под руками, и тогда в мягкой, паровитой борозде мы нащупывали тарелки тяжелых противотанковых мин. Перевалившись на бок, как и другие саперы, я часто вытирал о ватник руки, облепленные землей, подолгу грел их под мышками, но пальцы были мокры и скользки, они дрожали, когда я вывинчивал медную гайку взрывателя и клял про себя и эту ночь, и дождь, и нейтралку, и немцев, чьи голоса раздавались впереди меня.

А небо светлело с каждой минутой, оно прояснялось, загоралось вишневыми отблесками, становилось лазурнее, выше. И когда я на миг поднялся на локтях и оглянулся назад, то увидел неправдоподобно огромный раскаленный солнечный шар.

...Впереди стих слитный грохот дизельных моторов, резкие выстрелы танковых пушек, лязг гусеничных траков. Пехотинцы по одному, нащупав ступеньки в

передней стенке траншеи, привычно выскакивали на пашню и бежали по колеям, оставленным танковыми гусеницами. Повсюду зеленели всходы пшеницы, чуть дальше кудрявился лесок, еще дальше голубели предгорья.

Уже не двор немецкого бауэра — вся земля становилась огромной и просторной. Только никто из нас представить себе не мог, что это наша последняя на войне атака, что горячее солнце, подымавшееся за спинами, было солнцем победы — мы рвались к предгорьям, мы должны были достичь их в этот же день.

Солнце давно перевалило за полдень, когда я проснулся, — мне показалось, всего несколько минут назад я забрался на подводу, заваленную саперным имуществом и солдатскими шмотками: эта подвода всегда сопровождала нас на боевые задания.

Стояла подвода в немецком городке, на ратушной площади, среди сотен таких же подвод, фургонов, самоходок, танков, грузовиков с прицепленными сзади пушками-сорокапятками. Не только городок, вся округа была забита армейскими обозами и военной техникой: наступление шло стремительно, хотя иногда возникали заторы вроде того, в какой мы попали теперь. Куда ни глянешь — повсюду окопная братва: из фургонов, с возов, с брони самоходок торчали солдатские ботинки с засохшей грязью, мелькали шинели, ватники, телогрейки, слышались звуки трофейных аккордеонов, разноголосое пенье солдат. В желтых фаэтонах, украшенных гербами, сидели пехотные офицеры — они громко смеялись, покуривали толстые сигары, с напускной важностью поглядывали вокруг.

Нестерпимо хотелось пить. Я свернул в ближай-

шую улицу и пошел мимо серых домов, сверкавших в вечерних лучах множеством окон, белевших бесконечными рядами простыней — этих торопливых знаков безоговорочной капитуляции.

Сгорбленный немец, попавшийся навстречу, к счастью, хорошо говорил по-польски. Он позвал меня за собою, мы прошли дворик, поднялись по сумеречной лестнице, вошли в кухню, бедновато и просто обставленную, и здесь-то, прямо из-под крана, этот старый цивилизный немец напоил меня.

— Пан офицер,— повторял он, глядя на меня старчески спокойными глазами,— война капут!

Еще что-то добавил про передачи Би-Би-Си, но даже и тогда я не придавал значения его словам — за последние месяцы войны кому из нас не доводилось слышать это самое «капут» из уст любого жителя Германии!

Когда я вышел из дворика, наши части ушли вперед, а мне необходимо было догнать штурмовые группы батальона. Я вернулся к старику. Не скажу, охотно, но понимающе кивая головою, он отдал мне «коло» — удобный дорожный велосипед, на котором я и поехал все к тем же предгорьям — они виднелись прямо передо мной.

В бесконечно мелькавший частокोल слились придорожные черешни; одни деревни и городки переходили в другие, а шоссе бежала и бежала под шинами велосипеда, бежала серой лентой, терявшейся в отдалении. Уже звезды прокололи майский небосклон, уже легкий туман стал подыматься с полей, а я по-прежнему гнал и гнал вперед машину.

Иногда впереди что-то чернело, можно было поду-

мать, что это груды камня, но когда я подъезжал ближе, то каждый раз это оказывались груды пехотного оружия: поблескивали стволы винтовок, автоматов, пистолетов, фауст-патронов, брошенных отступающими солдатами вермахта прямо на дороге. Таких штабелей молчаливого, зловещего в своем молчании металла, сваленного на обочинах шоссе, сработанного на заводах всей оккупированной Европы, больше мне никогда не доводилось видеть. А я крутил и крутил педали велосипеда, понимая, что свернул где-то не на том повороте, что гоню машину в неизвестность, что надо бы у своих расспросить дорогу на чешский город Градец Кралове. Но дорога, затерявшаяся среди молчаливых полей, была безлюдна.

Вдруг возле поворота неясно обозначились человеческие фигуры. Я соскочил с велосипеда, достал пистолет, положил его за пазуху ватника: ко мне приближались трое мужчин. На мой оклик они отозвались: «Товажиш, товажиш!» Это были пленные югославы, заплутавшие среди одинаковых пашен и таких же одинаковых шоссе-ных дорог.

Пока мы дружелюбно разговаривали на немыслимом диалекте, понятном нам одним, пока мы прикуривали друг у друга, совсем стемнело. И вот тогда-то разноцветное полымя охватило горизонт: предгорья внезапно осветились мириадами сигнальных ракет, трассирующих очередей, разрывами осветительных снарядов. Зарево подымалось выше и выше, оно завораживало нас неправдоподобно прекрасным и величественным действием. Мы стояли посреди дороги, обнявшись за плечи, стояли безмолвно, потрясенно: перед нами был неистовый, небывалый, поыхавший по всем фронтам, войсковым частям и соединениям салют победы.

На всю землю — и на эти аккуратные пашни, на селения, дороги, склоны холмов — под отдаленный рокот всеармейского салюта сходила благословенная тишина...

На зеленом поле стадиона у чешского города Градец Кралове выступал фронтовой ансамбль песни и пляски. Ансамбль исполнял «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...». И вновь ни я, ни мои товарищи не задумывались — был ли автор у этой песни. Она родилась, возникла, облетела все войска в тот самый час, когда солнце победы поднялось над руинами и пепелищами Европы, когда в воздухе растаяли последние следы трассирующих пуль. Мы удивились бы, если бы такой песни, таких строк не было, если бы мы их не узнали, не услышали в этой незабываемой голубизне мая.

Так война и поэзия одновременно входили в мою жизнь... Они были нерасторжимы в моей судьбе, и в этой своей нерасторжимости требовали выражения, обозначения словом. Позднее мне довелось прочитать, что Константин Батюшков на поле брани узнал — «война дает цену вещам», что художнику «надобно все испытать, обе фортуны: подобно Тассу — любить и страдать всем сердцем, подобно Камознсу — сражаться за отечество».

Но такие невольные ассоциации возникали потом, спустя десяток лет, а не в мае 1945 года, когда были восторженные толпы народа вдоль автострад, крики «Наздар!», охалки сирени, невероятное буйство сирени и песни, и солнце, и долгожданный мир.

В старину филологические факультеты назывались отделениями словесности. Так вот, только словесником я хотел быть после войны; у меня не было присущих молодости сомнений при выборе профессии — смутно, как говорится, про себя, знал, что лишь в сфере словесности, а если точнее, хотя, может быть, и старомоднее, — «изящной словесности» — я обрету жизненное призвание. Влияние матери, воспитавшей во мне эту любовь к печатному Слову, с благодарностью признаю поныне.

Из раннего детства мне памятен такой эпизод. Как-то на кухне, заставленной корытами и кухонными столами, читали вслух книгу. Моя мать любила по вечерам читать вслух соседкам и подружкам. Я ничего не помню — что это была за книга и кто ее написал. Помню лишь свое удивление: из какого тайника мог увидеть тот, кто это написал, как люди ходят по комнатам, разговаривают между собою, о чем они думают, оставшись в одиночестве?

Я не представлял себе, что все это, выражаясь академическим языком, плод творческой фантазии, и нередко, играя на полу нашей огромной кухни в общей коммунальной квартире, начинал нарочно громко говорить и смеяться: кто знает, может быть, он тоже подглядывает за мной в эти минуты?

Не в этой ли чистосердечной вере, что все написанное и рассказанное художником — правда, живет душа поэзии? Часто книга была как бы продолжением жизни, а жизнь и отношения людей друг к другу поворачивались такой гранью, какую ранее открыли книги. Постепенно я стал замечать, что стихи, иногда даже вскользь услышанные слова песни помогают мне

преодолевать душевную распутицу, которая бывает у каждого из нас.

Как-то в офицерской землянке — наша дивизия стояла в привислинских лесах — мой товарищ спел «В лесу прифронтовом». Услышал он знаменитый вальс в штабе дивизии и сразу же запомнил его. Под низким потолком землянки мы лежали бок о бок, и каждое слово песни долго звучало во тьме землянки.

— Постой, постой,— перебил я товарища,— ну-ка, повтори: «А коль придется в землю лечь...»

— «Так это только раз»,— допел друг, сел на нарах и обрадованно, словно свалив с души непомерную тяжесть, ударил меня по плечу: — Чуешь, деревня,— только раз!

Для него, как и для меня, эти строчки были неожиданным откровением. Слышалась в них отвага, удаля, бесшабашная решимость. Они преследовали меня долгое время и — странно — стали чем-то вроде заклатья в самых отчаянных ситуациях и положениях. Проваливаясь в полыньи одерской переправы, сползая в полуразрушенные немецкие окопы, перебегая через улицы чужих городов, я ожесточенно твердил их про себя. Этими строчками я подавлял приступы отчаянья и бессознательного страха, которые знакомы каждому, побывавшему под прицельным пулеметным огнем, под жестоким минометным обстрелом, под бомбежкой.

Так я поверил, что поэзия помогает жить.

...Очередь крупнокалиберного пулемета прошла воздух и оставила точечный след на плитняковой

ограде. Мы бросились влево: там, за оградой, за вязами, за греблями заснеженных крыш, в небо вонзился каменный шпиль собора. Вновь по верху ограды пробежали дымки разрывных пуль, но мы, не сгибаясь, летели вдоль ограды. И только тогда, когда, нырнув в ворота, очутились во внутреннем дворе собора, мы присели у стены на корточки отдышаться, оглядеться вокруг. Плиты двора кое-где перемело снежными заносами, человеческих следов не было видно. Деревья тянули к небу голые ветви, было в них что-то от безмолвного, как бы навеки застывшего вопля. Деревья, стены, цветные витражи собора полузанесло мокрым снегом, который, не переставая, шел весь день.

Оглядевшись, мы решили войти в здание: строчки наших следов протянулись по белизне заносов.

В пустом соборе в этот серый час было знобко от сквозняка, от гулких шагов по холодным плитам, от статуй католических святых, от камня, который, как рыданье, подступал к горлу, столетиями — сумрачно и страстно — рвался ввысь.

Озираясь то с простодушным любопытством, то с внутренним отчуждением, мы подошли к распятию. Изогнутое страданиями тело Христа, мертвенно-синие, окровавленные, пробитые гвоздями ступни ног, пышная и торжественная старина собора, притаившаяся в стрельчатых сводах, — все казалось нам чужим, угрюмым миром, подавлявшим нашу волю, наше стремление жить, быть, существовать вопреки каждодневным смертям и людским страданиям там, за стенами этого старинного здания. Вероятно, с подобным ощущением подавленности, внутренней неприязни я так бы и ушел, если бы не статуя мадонны, которая стояла в одной из ниш. Спустя десятки лет

мне все мерещится, что это была работа великого средневекового мастера, но тогда, в феврале, мысль о мастерстве не приходила в голову. Я видел иное. Тяжелое головное покрывало упало на плечи матери. Узки были ее плечи от многодневной работы. Худощав и прям негнувшийся к старости стан. Только руки, обнаженные по локоть, были полны прежней силы. Левая рука, опущенная к земле, судорожно стиснула платок, правая поднесена к подбородку. В этом извечном жесте скорбящей женщины, который един на всех материках и континентах, виделась мне безмолвная горечь, а сведенные к переносью брови, стиснутый прямой рот, весь ее облик вопрошал: за что?

Мне захотелось стащить с головы ушанку, мою прожженную, продырявленную армейскую ушанку, потому что неловко было стоять перед этой скорбящей и вопреки всему уповающей на воскрешение сына матерью, стоять просто так, ничем не выдав, не выразив своего уважения, удивления, восхищения перед силой искусства, которое не было искусством, а было человеческой судьбой.

— Пойдем, Жабчиков.— И мы пошли к выходу, завешенному густым снегопадом, пошли, раздумывая каждый о своем.

Так я понял, что вдали от отчего предела — на краю жизни и смерти — потребность в красоте не покидает человека, а томит его, сушит его губы тоской все по тому же отчему пределу, все по тем же памятным с детства мечтам и преданьям.

О память сердца! ты сильнее
Рассудка памяти печальной.



Июль — самый длинный, самый скучный месяц в году. Игушка снова уехал в Крым вместе с родителями. Вернется он только осенью перед первым сентябрем и привезет разные сокровища: засушенного краба, старинную монету, камушки, такие гладкие, что о них можно потереться щекой, можно покатать с ладони на ладонь, можно помуслить, и тогда в темно-синих овалах отчетливее выступят белые птичьи глазки.

Но главное, Игушка будет рассказывать о море, о Генуэзской крепости. С ее развалин он увидит морской прибой.

Сколько я ни силился, я не мог представить себе море: выходило что-то непомерно большое, больше Кубенского озера — и только. А вот высоту я знал — не раз забирался я на колокольню Софийского собора. Поэтому мне и снилась Генуэзская крепость: стены ее уходили в сумрачную пучину, остроконечные шпили впивались в небо. Даже во сне я ощущал тревожный холодок, подступающий к сердцу, когда смотришь вниз, когда земля неудержимо тянет к себе.

Но как одиноко, маятно живет без друга в июле!

Мама нынешним летом опять будет работать по две смены: осенью придется мне справлять зимнее пальто, ботинки с галошами. Из ребят в городе осталась только Галка, но она — девчонка, да еще живем мы в одной квартире — за зиму надоели друг другу страшно.

А летом без ребят во дворе какие развлечения? У складских ворот понуро стоят ломовые лошади. Пахнет от них крепким потом и навозом, мухи вьются у покорных, слезящихся глаз. В деревне лошади другие, резвые, гладкие, звонко ёкающие на бегу селезенкой. На такой лошади хоть в ночное, хоть на дальний покос — только рубашка пузырится на спине, только ветер треплет волосы да хлещет по глазам, высекая отчаянную слезу.

Можно, конечно, сбегать на площадь к котлам, поглядеть, как рабочий, встав на колено, утюжит горячий асфальт, можно незаметно вдавить босую пятку в асфальт, оставить свою метку для будущих времен, можно, наконец, пойти на купалку. Но пока идешь домой мимо полосатых, выцветших на солнце тентов, снова обольешься потом.

По всему видно, лето будет долгим, жарким, с редкими грозами и дождями; ведь минувшая зима была холодной. Это за двенадцать лет моей жизни я не раз проверил.

Жара спадала только к вечеру, и тогда с Галкой мы начинали игру в «двенадцать палочек». Кому выпадало водить, тот должен был оберегать доску, а другой — прятаться. Стоит зазеваться сторожу, как ты выскакиваешь из-за угла, прыгаешь обеими ногами на доску: палочки — р-раз — в разные стороны, а ты с хохотом убегаешь снова. Конечно, вдвоем играть неинтересно, но надо же чем-то занять себя.

Галка, как всегда, водила, я выбирал дворовые загоулки подальше, глуше. Наконец мне надоела наша игра, и я решил спрятаться так далеко, чтобы она ни за что меня не нашла. Для этого нужно было перелезть через забор, пройти густые заросли крапивы и выбраться на откос Золотухи. Из могучих, тро-

нутых ржавчиной лопухов там торчали остовы старых кроватей, валялись ломаные ящики со склада, дырявый матрац, тазы с пробитыми днищами и разная домашняя рухлядь.

Я шел по направлению к Каменному мосту, под которым протекала Золотуха. Каменный мост вплотную застроен магазинами, мастерскими, складами; обрывы здесь особенно круты, и никто, кроме мальчишек да еще жуликов, не забирается в буйные заросли татарника и лебеды. До кирпичных опор моста оставалось несколько шагов, но они были самыми трудными: земля осыпалась под ногами, крошилась, скатывалась к воде. Я хватался за стебли лопухов, забираясь все выше и выше. И когда рубашка стала мокрой от пота, а лицо густо облепила паутина, я дотронулся рукой до кирпичной опоры. Внизу, в вонючих, зеленых комьях пены, текла Золотуха.

Раздвинув листья татарника и стебли прозрачной лебеды, я даже присел на корточки от удивления: передо мной возвышался город! Террасами, бесконечными переходами, башенками и башнями он уходил ввысь. Заканчивался он острым шпилем, который гордо парил над буйными зарослями бурьяна. Низкое, оранжевое солнце опускалось за моей спиной, отбрасывая причудливые тени от лопухов. Город был безлюден. Но безлюдье и молчаливость придавали ему вид таинственный, нездешний. Именно такой была Генуэзская крепость в моих сновиденьях. Я присел сбоку, завороченно пробегая глазами по переходам, остроконечным шпилям, по низким строениям. Мне даже в голову не пришло подумать, кто выстроил здесь удивительный замок. Он был передо мною, был не мечтой, не сном, не фантазией, а явью,— я мог протянуть руку и осторожно потрогать его, мог поста-

вить сюда человечка из бумаги, мог засадить садами, украсить флагами. Но и без моих украшений город был прекрасен.

Уже совсем за вечерело. От Золотухи стал подыматься ядовитый, тяжелый туман. Надо было возвращаться к себе во двор.

Сон бежал от меня в тот вечер: я воскрешал перед закрытыми глазами башенки и переходы, мечтал, как завтра вечером, непременно вечером, я пойду на откос и тогда вдоволь налюбуюсь моим сокровищем. А когда уснул, то не слышал, как небо раскололи глухие раскаты грома, как проливной дождь захлестал по стеклам, как мама осторожно встала и укрыла меня одеялом.

Когда я выскочил за дверь, во дворе парило — парили железные крыши, стены сараев, замшелые «галдарей», парила мостовая и груды ящиков, сложенных возле склада, пар подымался даже от спин лошадей, как всегда уныло стоявших у ворот.

Весь день я томился ожиданием, бесцельно слоняясь из угла в угол, подходил к забору и возвращался обратно. При виде Галки отводил глаза в сторону, напускал на себя вид скучающий, равнодушный.

Однако характера у меня не хватило. Таинственно оглянувшись по сторонам, я поманил ее рукой, помог залезть на забор, потом соскочить в густые заросли крапивы. Галка судорожно хваталась за меня, пищала от страха и вообще вела себя как девчонка, но я упорно тащил ее к устоям Каменного моста. Вот и знакомый обрыв, выше, выше, — я сдерживаю дыхание, пригибаю мощные стебли лопухов — и застываю, пораженный. Мой сказочный город исчез, как будто его никогда и не было! Не было шпиля, сверкающего на солнце обломком стекла, не было крохотных башенок,

не было куполов — совсем ничего, ничего не было... На коленях я излазил лопухи, вернулся к забору, опять прошел весь путь над обрывом — напрасно, город исчез.

Галка, выдирая репейник из волос, ругала меня, вспоминала самые обидные дворовые прозвища, грозила вернуться и рассказать все как есть тете Кате, но я стоял в лопухах настолько обескураженный, настолько потерянный, что не обращал на Галку никакого внимания. До нее ли, решившей, что я все навывдумывал и наплевирал, было мне тогда!

Теперь-то я хорошо знаю: город, похожий на Генуэзскую крепость, был.

С Каменного моста по желобу дворники ссыпали на берега Золотухи пыль. В куче слежавшейся пыли мелкий дождик выбил стенки, террасы, призматические столбы. Однако ночная гроза, которую я смутно слышал сквозь сон, размыла пирамиду до основания.

И все-таки жарким, томительно-длинным скучным июлем, я, вероятно, был счастливее Игушки, который беспечно загорал в Крыму. Я все-таки был его богаче: городские задворки — мы ли не знали их — одарили меня чудесной тайной.



— Идем в Сады? — спросил меня тезка, парень лет семнадцати, надевая праздничную ковбойку и доставая из сундука гармонь.

Садами на Сяме зовут бывшую поповскую усадьбу, где в бывшем же поповском доме с тридцатых годов находился сельский клуб. Вообще-то садов этих теперь и в помине нет, они померзли в сороковом году, да так и не отродились, но сохранилась в садах задичавшая аллея, кольцом окружающая пруд. Там-то и собиралось ежевечернее гулянье, там можно было повстречать знакомых девчонок, попугать их из зарослей, а то и подрасться из-за дроли с излишне настойчивым ухажером. Сады располагались поодаль от деревень — без родительского надзора было вольготнее молодяжке, как зовут в деревнях подростков. Известное дело, чуть закатывается, вылезут старухи на завалинки и заладят: «А мой-то Ваня, а ваш-то Саня...»

До Садов надо было идти километров пять, но желание увидеть деревенское гулянье было настолько велико, что я охотно согласился. Когда мы пришли, Сады были уже пусты. Возле клуба тарахтел движок — вот-вот должно было начаться кино. Мы стали протискиваться в тесные сенцы, мой тезка моментально потерялся в толпе, и я был вынужден без него смотреть какой-то трофейный фильм еще довоенной давности. От старости лента была не черно-белой, а почти прозрачной; она беспрерывно рвалась, и тогда киномеханик зажигал переноску, ребята гуртом вали-

ли в сенцы покурить, а девчонки шушукались, окликали подружек, беспокойно вертелись, ждали, когда окончится эта маята.

Наконец актриса в последний раз заломила руки, в последний раз мелькнула какая-то тень — картина кончилась.

Одним моментом длинные скамьи были составлены в угол; девчонки побрызгали из чайника и подмели пол, принесли бак с водой и кружкой. Заиграла гармонь, начались танцы.

Сыграв для приличия какое-то подобие вальса, мой тезка — он сидел в углу с ухажерками — рванул свою, деревенскую. Бесконечной чередой сменялись пары; парни с низко опущенными чубами, с отрешенными, каменными лицами бухали в пол так, что покачивалась под потолком висячая лампа; их подружки, в красных и синих плащах, в белых платочках, ловко дробили, тонкими голосами выкрикивали частушки. Потом пары сходились, и парни, не меняя выражения лица, ожесточенно вертели подружек, а те взвизгивали, хватались за подол и быстро-быстро перебирали ногами. Все здесь было, как на «взрослом» гулянье, и даже танец этот, называемый «заинька», был известен на Сяме с незапамятных времен. В молодости «заиньку» играли наши прабабки, причем если было несколько гармонистов, то играли «заиньку» много часов подряд. Так было и в Садах из вечера в вечер.

Но вот тезка внезапно остановился, поперебирал лады, подождал, пока отдышатся танцоры, и начал незнакомый мне мотив. «Что это?» — спросил я у соседки, забившейся в полумрак избы и ни разу не рискнувшей выйти на круг. «Ланчик», — еле слышно прошелестела она.

Теперь парни встали у одной стены, девушки —

у другой. Парни пошли им навстречу — тут поднялся такой топот, словно по избе пробежал табун коней. Затем девушки наступали на парней, а парни разбирали своих подружек и вертели их с еще большей силой, чем в «заиньке». Потом все начиналось сначала.

Поздней ночью я выбрался из избы. Высокое, поблескивающее звездами небо после недавней тесноты казалось еще выше, заросли черемухи в Садах — чернее, воздух — духовитее и прохладнее. Постепенно в ушах смолкал однообразный хрип гармоник, гулкая дробь каблуков, выкрики частушек, и тишина, как бесшумная ночная птица, начала сужать и сужать над головой круги.

Я очнулся от внезапно ожившего динамика на высоком столбе. Сладкозвучный голос певца хватал за сердце. «И на тайное свиданье приходи скорей», — выводил он, и странно было думать, что всего в сутках езды от Сямы есть огромные, залитые светом концертные залы, чинная публика, праздничный блеск неоновых реклам, толпы прохожих, глухой рокот большого города, не смолкающий, не затихающий, как морской прибой, ни на мгновение.

И пока я шел полевой дорогой, белевшей во тьме, я видел перед глазами озаренный прожекторами алый бархат занавеса. Вот он медленно подымается, вот выходит, нет, семенит в тяжелом платье ведущая, вот она объявляет в микрофон:

— Старинный северный танец «Лансе».

Легкое движение пробегает по залу, словно ветерок налетел на осиновую рощу, налетел — и стих. Три баяниста согласно берут величавый, спокойный наигрыш, и так же величаво выплывают на сцену

русские боярышни и танцоры в высоких сапогах и длинных рубахах. Спокойствием, сдержанностью веет от каждого их движения, согласием и долгой выучкой от неторопливых па. Хочется, чтобы это праздничное, залитое то голубоватым, то оранжевым светом рамп танцевальное действо длилось и длилось, чтобы глаз радовался, видя тонкий вкус художника, оформившего эти костюмы, мастерство балетмейстера, ставившего этот танец, изысканное искусство всей танцевальной группы.

Из глуши северных лесов пришел этот танец на столичную сцену, претерпев на долгом пути удивительные изменения. Но, думал я, надо, чтобы он вернулся к себе на родину, в те же сямские Сады, чтобы он был таким же, каким я увидел его на столичной сцене, и чтобы в таком виде он стал доступен моим землякам.

...Длинна ночная полевая дорога. Ах, как длинна! Чего только не передумает одинокий прохожий, овеваемый то теплом нагретых за день хлебов, то холодом туманных, сумрачных низин!



Наш «борт» запаздывал с вылетом. Двигаясь вслед за тенью, я успел обсесть обе скамейки перед невзрачным домиком аэропорта, выучить наизусть расписание местных авиалиний, изобрести и отвергнуть множество вариантов собственного вызволения на этой, как мне тогда казалось в сердцах, несусветной дыры, а самолета Белозерск — Вологда — хоть ты пропади! — не было и в помине. И только когда я твердо решил возвращаться в Дом колхозника, повернулось какое-то колесико в летном расписании, сработал какой-то механизм, и перед самым моим носом затрепещал легонький ЯК.

Спешно протиснувшись в кабину рядом с пилотом, я облегченно вздохнул: ожидание и неизвестность — две подружки-неразлучницы — оставались на летном поле. Пилот достал планшет, поправил ларингофон, включил зажигание. Под крылом дрогнуло полевое разнотравье: ЯК, мягко подпрыгнув, оторвался от земли и начал набирать высоту.

Голубая стена Белого озера в последний раз наползла на стекла кабины и разом схлынула, уступив место медлительным перелескам и полям. Солнце садилось. Вечерние тени перехлестнули лесные поляны, даже больше — скосили набок всю местность, придали ей какой-то непривычный, неестественный вид. Из-под тонкого туманного слоя проступали пашни; дороги влетали прямо в темную зыбь, надолго исчезали под водой, чтобы, вынырнув, снова петлять по округе.

Постепенно земля пошла плавными волнами. Солнце опускалось в эти дымчатые волны. Оно казалось огромным красным глазом, бесстрастно взиравшим на валы земли, которые текли и текли под крылом самолета.

И впервые подумалось мне, как, в сущности, равнодушна природа и к своей бессмертной красоте, и к самому человеку, ко всем его делам, заботам и страстям. Перед туманным безбрежным океаном, раскинувшимся внизу, наш самолетик стал стремительно уменьшаться, он превратился в пылинку, слабо и немощно парящую в высоте. А ведь эта высота ничтожна перед Вселенной, перед неисчислимостью иных миров.

Я искоса посмотрел на пилота. Его грубоватое скуластое лицо было непримечательно, такие лица часто встречаются в северных деревнях. Кровь деревенских предков сказывалась в медлительных, но точных движениях пилота, в его манере держать штурвал. Возможно, в дни детства он так же крепко держал сошник плуга, а молодым парнем крутил баранку на непролазных вологодских проселках. Все возможно, потому что в его обличье было что-то до боли знакомое и, не найду другого слова, родное.

Наш выдавший виды ЯК был для него привычен, как привычна его брату жнейка или его деду соха. И тут я понял, что не так уж незначителен и ничтожен человек перед звездными пропастями Вселенной, если оратаи земли спокойно пашут облачные хляби. Как человек, далекий от техники, я с каким-то особым уважением, даже восторгом отношусь к тем, кто по призванию или просто по профессии берет на себя ответственность за жизнь других, кому мы, пассажиры, доверчиво вверяем свои судьбы. На сколько вре-

мении — это не важно: мера ответственности водителя воздушного такси не меньше ответственности командира транссибирского лайнера. Ведь в воздухе не предугадаешь, что произойдет через минуту. Так было и теперь. Пилот, словно бы между прочим, кивнул мне вправо: то, что я увидел из кабины, поразило меня.

Половину небесного пространства закрывала стена грозowych туч. Над ней слабо поблескивали первые звезды, а подошва ее сливалась со свинцово-синими валами земли. В густом месиве ежеминутно вспыхивали кроваво-красные зарницы — так на фронте били орудия в ночи: две-три вспышки, перерыв, снова вспышки. Это сходство с орудийными залпами страшной мощи захватило меня — на земле молнии видятся иначе, в них нет багрового, опоясывающего горизонт блеска, который расслаивает, кромсает облака.

Самолет стал проваливаться в воздушные ямы. И хотя мы давно должны были приземлиться на вологодском аэродроме, наш ЯК все тянул вдоль грозowego материка, все огибал и огибал его по некоей бесконечной, как мне думалось в полете, орбите.

...Ожидая со своими пожитками автобус, я видел, как пилот вышел из аэродромного домика с фибровым чемоданчиком, с каким ребята-спортсмены возвращаются с тренировки. Он не размахивал этим чемоданчиком, не насвистывал на ходу, не шагал вразвалку, а просто шел к автобусной остановке, как идет любой из нас, закончив рабочий день.



Дальше выдерживать такое не было сил: пальцы затекли, побелели на суставах, но едва я оставлял скобу, как меня начинало стремительно валить на плечо Грачева, или прижимать к боковой дверце. Я упирался руками в клеенчатое сиденье, чтобы не скользить по нему, не ерзать, хватался за скобу, торчавшую впереди меня, и все-таки не мог удержать приступов дурноты. Многочасовая качка измотала меня вконец, и я чувствовал, как подступает к горлу горький комок, как заходится сердце.

Грачев, широко и крепко охватив руль лесовоза, бегло поглядывал на меня. Время от времени он перекидывал потухшую папиросу в угол рта, замедлял ход машины, как можно осторожнее переваливал через измочаленное, истерзанное бревно, но машина тут же проваливалась в торфяную жижу, обдавая веером брызг заросли иван-чая. Резкие толчки в спину начинались снова, и я снова подтягивался к скобе или спешно отталкивался от нее, втискиваясь в спинку кабины.

За канавами, заполненными густо-коричневой водой, кренилось, качалось, вздрагивало скудное мелколесье. Изогнутые стволы сосенок обросли бесцветным мхом. Колюче поблескивала на солнце листва берез. Подлесок переплели, запутали жадные до света травы. И только белоснежные кружевные зонтики диделей высились над ними. Эти зонтики да розовые метелки иван-чая одни радовали глаз по краям топкой низины.

Лесовоз медленно взобрался на дробный настил, взвыл в последний раз мотором, встал.

Грачев снял тяжелые руки с баранки, привычно откинул дверцу и спрыгнул на дорогу.

— Передохнем, что ли? — предложил он, отходя к задним колесам и оставаясь там некоторое время. Я неловко вывалился из кабины и со сладким стоном, с хрустом в суставах потянулся. Капот полыхал машинным маслом и удушливой гарью бензина. Уши, как ватой, были забиты грохотом двигателя, но сквозь эти пробки уже просачивался тонкий металлический звон уставшего металла.

Между тем Грачев вскочил на подножку, порылся в кабине и, пока я оттаптывал занемевшие ноги, выбрал место посуше, кинул на него ватник, развязал и расстелил застиранный, с заплатками платок, разложил снедь.

— Начнем, благословясь, — то ли спрашивая, то ли предлагая, сказал он и жестом показал место возле себя.

Нехотя, как бы принужденно я подошел к нему. Отломив бóльшую часть наливушки — так на Севере зовут ржаной пирог, залитый картошкой, — Грачев подал мне вместе с ней головку молодого лука, прозрачную, круто просоленную спинку леща. Пока мы ели, он как-то беспокойно поглядывал на меня из-под надринутой на лоб, засаленной кепки. Сломанный вдвое, сильно загнутый вниз козырек и впрямь делал его похожим на грача, носатую, быструю в поворотах, исполненную достоинства птицу. Наконец, не выдержав, он мотнул козырьком в сторону лежневки:

— Ведь как по зубьям бороны едешь...

— Неужели вы не привыкли?

— Какое там привык... Сколько ни езжу, никакого

терпенья не хватает. Сосет, сосет вот здесь,— он показал тыльной стороной ладони на сердце.— Хоть бросай все — и впереди машины беги.— Грачев раздраженно сплюнул и добавил: — Только технику зря гробим.— И отвалился от ватника, ища в карманах пачку папирос, затертый коробок спичек.

От переспелой немоты леса, в которой попискивали какие-то пичуги, от обильных, по-домашнему сытных харчей я испытывал прилив особой признательности к моему попутчику. Мне нравилось в нем все: и его сдержанность в речах, и быстрые — грачиные — повороты головы, и широченные штаны, заправленные в сапоги, и даже синяя куртка, плотно облегающая плечи, по-мастеровому ладно сидевшая на нем. Вероятно, он чувствовал это и лежал теперь на локтях, запрокинув назад голову. Кепку он снял: на лбу краснела полоска. Слежавшиеся, слипшиеся от пота волосы были тронуты заметной сединой. Возле подбритого виска, у мочки, легли ранние морщины, лицо было бледно от бензинной гари. Крепкими сухими губами Грачев мял папироску и в задумчивости смотрел в небо. Не зная, как продолжить разговор дальше, я стал вспоминать странное слово, услышанное в леспромхозе, когда механик, конопатый мужичонка, вручал шоферу путевой лист.

— Небось опять крёку наведаетесь? — спросил он, сладко прижмуривав глазки цвета золотистой луковой кожуры. Шофер в ответ досадливо мотнул козырьком, словно клюнул низкорослого механика в темя. И все-таки, пряча документ в карман куртки, сизо блестящей на локтях и на груди, испытующе посмотрел в мою сторону. Я беспечно покуривал, перекинув через плечо болонью, прислонившись коленом к серому матерчатому чемоданчику с «молнией»-застежкой.

Мне не терпелось выехать из леспромхоза и никакого дела не было до их разговора. Теперь же резкое, скрежещащее словцо явно забавляло меня. И под этим неподвижным голубым небом, в эти минуты покоя и лени я надумал проверить догадку, мелькнувшую в гараже, испытать Грачева.

— Крёка? — переспросил он, подымая голову, вскидывая на меня короткие ресницы. — Это шоферня промежду собой ухажерок называет. — Он помедлил в нерешительности. — Ну, тех, что живут на дороге. — Затем, припомнив утренний разговор, нахмурился, пристально посмотрел мне в глаза: — Пустое Суходеев болтал. Пустой он человек, вот и болтает пустое. — И стал с силой натягивать кепку на глаза, собираться в дорогу.

Любой новый поворот казался мне последним, а топкой, выгоревшей гати не было конца. Грачев устал. И чаще, чем обычно, закуривал: нетерпение его росло, он больше не осторожничал перед рытвинами, как раньше, а брал их с ходу — нас подбрасывало так, что зубы у меня клацкали и голова доставала верха кабины.

Закатное солнце слепило сквозь редколесье, пряталось в дальнем осиннике, вырывалось из недр его и опять огненно мельтешило справа от нас. И все же с каждым километром смелее бросались под радиатор наезженные колеи, ровнее бежал подлесок. Все выше становились кроны сосен, вернее признаки жилья: то поленища дров, то маслянисто-белая щепка берез, то обчесанный стожок сена. Когда разом оборвалась, отступила назад стена леса, когда за кустарником зазеленели поля и поскотины — я не сразу по-

верил, что наконец-то мы вырвались из тягостного плена дороги с ее рывками, с провалами в болото, с ожесточенной тряской.

Лесовоз остановился у отводка. Я неумело распутал проволоку, оттащил в сторону скрипучий отводок, пропустил машину. Мимо проскочила первая изба с заколоченными окнами, какой-то древний амбарчик — мы въехали в деревню.

В простодушном любопытстве к стеклам прильнули лица старух и ребятишек. Поэтому меня не удивило, когда в одном окне дольше других белело чье-то лицо. Но именно у этого дома — перед ним не было ограды — Грачев завернул во двор и въехал на просторную лужайку. Мотор заглох. Еще минуту шофер оставался неподвижным: ссутулившись, он обнимал баранку руками, как крыльями, отяжелевшими в долгом полете. Потом спросил, повернув козырек ко мне:

— Ну, земляк... Здесь будем ночевать или дальше поедем? — Глаза его были притенены кепкой. Голос глух, безучастен.

— А сколько до Усолья?

— Километров сорок...

— И все лежневкой?

— Нет, лежневка за деревней кончается, но дорога худая — скрывать не стану.

Грачев сидел спокойно, опираясь руками на баранку, хотя в словах его я уловил что-то вроде затаенного нетерпения.

— Пожалуй, на сегодня с меня довольно.

— Будь по-вашему. Как это в армии говорили: кончай ночевать — выходи строиться!

Грачев оживился, повеселел и, легко нажав ручку дверцы, первым прыгнул на землю.

— Принимай, хозяйка, гостей,— сказал он, заметно волнуясь, когда мы вошли в избу.

У стола виднелась женщина. Она не всплеснула руками, не заохала, а только качнулась вперед, как пламя свечи на притворе. Затем поздоровалась, протянув маленькую, сильную ладошку.

— Тоня,— увидев ремешок фотоаппарата, смешалась, поправилась: — Антонина Алексеевна.

Я беззастенчиво разглядывал ее. Сильно выгоревшая, когда-то голубая кофта женщины, темная юбка, а главное, напряженный, хотя и приветливый взгляд — все это было обыденнее и проще, чем мне представлялось раньше, все вроде бы даже разочаровало меня. Каркающее словцо, услышанное в леспромхозе, успело глубоко засесть в моем сознании, настраивало — вольно или невольно — на некий доверительный, а может быть, и нарочито-беспечный лад. Но первая же встреча показала мне, что здесь не нужна ни моя беззаботность, ни моя догадливость. Была женщина проста и в обликии и во всем поведении. Круглый овал ее лица, мягкие, точнее — теплые края губ, встревоженные глаза выдавали характер отзывчивый, добросердечный. Но больше всего меня поразила ее улыбка, скрыто блуждавшая в уголках доверчивых губ, возникающая каждый раз, когда к тому был хотя бы малейший повод.

Грачев внес чемоданчик. Ни ватника, ни застиранного, залатанного платка с остатками обеда с ним не было. Я сел на широкую лавку возле окна и только сейчас огляделся. Под локтем у меня стояла тумбочка, и на ней — высокой стопкой книги, прикрытые кружевной салфеткой. Таким же белым «зонтичным» покрывалом была застелена кровать с горой подушек. На выскобленных бревенчатых стенах я не увидел ни

любительских фотографий, вставленных под одно стекло, ни грамот, ни дипломов, ни вышитых полотенец, свисающих с настенного зеркала,—ничего, что составляет убранство северной избы. Только чистые бревенчатые стены да старая пожелтевшая открытка с видом на Петропавловскую крепость.

Грачев окликнул меня за стеной:

— Будете умываться?

Ключевая вода была холодна и прозрачна. Холщовое полотенце, которое он кинул мне через плечо, отливало голубизной мартовского снега. Кусок мыла, как янтарь, желтел на щербатом блюдечке. Мне, выросшему на Севере, не в диковинку была опрятность деревенской избы, но здесь в домовитости, в чистоте чувствовалось нечто большее, какая-то одержимость, какое-то сожаление о другой, не похожей на весь местный уклад, жизни, не похожей на все, к чему человек давно должен был привыкнуть и все-таки привыкнуть никак не мог.

Стол был накрыт: потрескивала картошка на сковороде, в глубокой тарелке был истолчен, перемешан со сметаной зеленый лук. Солидно дышали ломти ржаного хлеба. Из кармана Грачева появилась заветная бутылка. Антонина Алексеевна, мягко и проворно сновавшая по избе, присела сбоку на табурет.

— Что же, со знакомством?—сказал Грачев, выдохнул и разом опрокинул стопку. Хозяйка тоже выпила свою, но без жеманства, без извинительного похихикивания, которое в здешних местах служит признаком хорошего тона. Она выпила, задохнулась, забавно затрясла ладошкой перед вытянутыми губами, а когда пришла в себя, то рассмеялась звонко и непринужденно. Я внутренне похолодел от этого знакомого, не позабытого с годами, так мучительно от-

радного мне смеха. Ведь бывают же, бывают на свете такие совпадения?! И пока Грачев говорил с хозяйкою, пока он расспрашивал ее о разных хозяйственных делах, о картошке, медленно всходившей в этом году, о председателе, который стал сильно зашибать, о каком-то Иване Дмитриевиче, который все обещался написать, да так и не написал, я с неослабевающим напряжением ждал, когда же она рассмеется снова, как в прошлый раз, непринужденно и легко...

Мы закурили. Табачный дым гнутыми, сизыми пластами потянулся в открытое окно. Уже совсем за-вечерело, и на улице раздался мелкий дробный стук овечьих копытец, тяжелое мычанье, удары ботал. Хозяйка встала, легко выскользнула за дверь. Трава на лужайке, стены и крыши соседних изб, тополя с жестяной листвою — все горело вечерним желтым светом. Внезапно Грачев оглянулся. Я тоже посмотрел в глубину комнаты: там, на пороге, заложив руки за спину, прижалась к пробю девочка-подросток. Она исподлобья посмотрела на нас и, не говоря ни слова, выскочила за дверь.

Грачев закурил новую папиросу и, долго разглядывая обгорелую спичку, пояснил мне нерадостно:

— Верунька, Тонина дочь. Дичится она меня — не любит, — и вздохнул глубоко и замолчал снова.

Раскиснув в избе от сумеречной дремы, от монотонного тиканья ходиков, я вышел на крыльцо и с удовольствием подставил грудь сквозняку, который тянул с туманных низин. Наш лесовоз густо облепили деревенские ребяташки: по огромным колесам они взбирались на раму и, визжа и хохоча, спрыгивали на лужайку. За лесовозом торчал угол сараюшки,

крытый потемневшей дранью. Возле нее валялись сосновые кряжи. Колун, глубоко всаженный в один кряж, блестел треснувшим топором.

Душевное успокоение, которого я не испытывал давным-давно, овладело мною на ступеньках этого чужого дома, в деревне, названия которой я толком даже не запомнил. Ребятишки исчезли мгновенно, как стайка воробьев: их голоса и крики доносились теперь с крыльца соседней избы. Босоногая Верунька гонялась за телкой, которая то бросалась в чужие дворы, то останавливалась посреди улицы, опустив низко лобастую голову. И тогда Верунька начинала толкать ее в зад. «Ух ты, дьяволица!» — шипела она, пытаясь стронуть телку с места, поддавая коленом, упираясь обеими руками в лоснящиеся гладкие бока.

В воздухе стояла та чуткая сиреневая полумгла, когда кажется, что вот-вот должно случиться нечто неожиданное, странно-умиротворенное, способное приглушить все эти нестройные звуки — и стук отбойного молоточка, и пофыркивание «Беларуси», и громкие голоса женщин, перекликающихся в загороде, и всю эту мирную сумятицу деревеньки, отходящей ко сну, но не имеющей сил расстаться с дневными волнениями и заботами. Оно, это ожидаемое, случилось!.. На крыши дворов, на темные шапки тополей, на деревенскую улицу пролилось таинственное сияние. И вскоре над сараюшкой взошла луна — огромная, охватывающая, как мне думалось, полнеба, тревожная в своей багряности, в своей огромности.

Задохнувшись от страстного желания продлить бесконечно это дивное диво природы, которое было перед моими глазами, но было где-то вне моего понимания, вне моего разума, уже привыкшего воспринимать все видимое сквозь напластования чужих зна-

ний и чужих мнений, я ждал, что и во мне, в моем собственном «я» все озарится этим трепетным багряным светом, что и во мне опадет, осядет все незначительное, пустяковое, ложное, недостойное меня и этой красоты, имя которой Вечность.

Очнулся я только тогда, когда Грачев тихонько тронул меня за плечо:

— Вам Тоня в избе постелила, а то ночью сыро-мокренно, застынете неровен час.

Говорил он дружелюбно и спокойно, впервые так спокойно за целый день знакомства. Я молча поднялся с крыльца и ушел в избу.

Возле лавки стояла раскладушка, смутно белевшая простыней. Я разделся, сел на край кровати, со вздохом облегчения нырнул в холодноватую белизну. Перед закрытыми глазами встала дыбом и упала навзничь лежневка: меня закружило, понесло, бросило в глубокий омут сна.

Безбрежное море теперь окружило меня, и я не столько слышал, различал, сколько понимал, что волна, вкрадчиво шипя, захлестывает голову и плечи, что я вытягиваю вперед обессиленные руки и гребу, гребу, изредка различая на горизонте ослепительно-яркую точку, которая внезапно приближается ко мне, вырастает в бешено крутящуюся воронку, втягивает меня, и все же в глубине этой воронки я вижу снова мерцающую точку, но, сбитый очередной волной, глотаю зеленоватую воду и не могу загасить ни этой точки перед глазами, ни внутреннего жара, полыхавшего во мне.

...Когда я проснулся, губы мои запеклись, ссохлись от жажды. Еще некоторое время я смотрел в темно-

ту — она раскачивалась, колыхалась, потом остановилась: потолочные швы проступили в ночном мраке. Ощупью я стал продвигаться к двери — в сенях находилась кадка с водой и большим эмалированным ковшом. Но в сенях, залитых высокой, полной луной, мне пришлось остановиться: на порожке четко вырисовывались две тени.

— Не могу, не могу, не могу терпеть! Не могу! — Женщина, захлебнувшись слезами, упала головой на колени Грачева. Теперь ее стоны звучали глухо, как сквозь воду: — Почитай, с самой весны не приезжал, а я все жди, жди... Всполохнусь до свету, гляну в окно: может, приехал, может, стоит уже... Вечером слушаю, не гудёт ли за лесом, не едет ли... И за что мне такая мука? За что? Ну, что я такого сделала? — Она заплакала навзрыд. Грачев положил ей руку на голову.

— Перестань, слышишь, перестань,— повторял он шепотом.

Боль, которая таилась в его беспомощных словах, остро пронзила меня. Замирая от мысли, что они могут заметить, что как-то нехорошо все это получилось, я не мог сдвинуться с места, не мог одолеть тягостного оцепенения.

— Ведь и сейчас,— продолжал Грачев, все более и более наклоняясь, целуя в затылок плачущую женщину,— ведь и сейчас-то я с ночной смены. Слышу, с журналистом надо ехать. Вот я и вызвался. Пошел в контору, мол, лучше меня никто дорогу не знает. Инженер согласился, ему — что, лишь бы езду оправдать. А Суходеев, стерва, издеваться начал: к креке, дескать, опять направился. Я ему, как вернусь, ребра, суке, переломая...

От сбивчивого шепота, от незначительных слов

женщина вроде бы поутихла, поуспокоилась. Только глубокий прерывистый вздох, какой бывает у детей, когда их горько и жестоко обидят, изредка сотрясал ее.

— Крека я, крека и есть,— сказала она протрезвевшим, жестким голосом, подымая с колен Грачева голову и отстраняясь от него.— Но ведь люблю-то я тебя, понимаешь, люблю. А день в разлуке, сам знаешь, с год кажется...

И припала к его плечу и совсем тихо, грустно-грустно добавила:

— Ты бы снял майку-то. Я обстирну, смотри, вся пропотела.

Не в силах больше сдерживать озноба, колотившего меня, я осторожно закрыл дверь и незаметно юркнул в постель.

В избе с утра было пусто и сумрачно. Так же пусто и сумрачно было на деревенской улице, когда я вышел на крыльцо. Лесовоз стоял, как и вчера, возле сараюшки. Все было, как и вчера, только высокая поленица дров была аккуратно сложена теперь у стенки.

Грачев копался в моторе и, заметив меня, кивнул носатым козырьком в знак приветствия. Когда мы сдавались задом, на крыльцо выскочила Верунька, хозяйская дочка, заложила руки за спину, проводила нас недоверчивым долгим взглядом.

...Заструилось, понеслось полевое разнотравье. Свежий ветер качнул спелые клевера, погнал их волнами. Какая-то птица, взмыв над кабиной, боком, слов-

но подстреленная, пошла над дорогой и осталась сзади в быстро тающем клубке пыли.

За жердевой оградой поскотины началось картофельное поле. Среди сочной ботвы, тянущейся рядами, замелькали белые платки колхозниц. Одна из них, стоявшая у дороги, разогнулась: я увидел внезапно побледневшее лицо, слабую улыбку и невольный, сразу погасший взмах руки. Грачев краем глаза проследил за ней, глубже натянул на лоб замасленную кепку и прибавил скорость.

Лесовоз въезжал в топкое мелкоколесье.



По озеру шли длинные пенные полосы. Ветер срывал гребни волн и пригоршнями брызг бросал их в лицо. Утираться было некогда: то правое, то левое весло судорожно хватало воздух, лодка сразу же становилась боком к набегающей волне, и тогда надо было снова выворачивать ее наискосок качающимся хлябям. Если лодку держать чуть наискосок перека-ту, она плавно соскальзывает с волны, а не рыскает из стороны в сторону; взлетающую вверх корму не захлестывает девятый вал, и нос лодки не черпает, как ковш, озерную брагу.

До берега было уже недалеко. Но очутиться в воде, а главное, утопить снасти — эта возможность никак не устраивала меня.

Подгоняемый вспененными валами, я наконец-то с силой врезался в песок, соскочил в воду и стал тянуть лодку посуху до тех пор, пока хватило сил. Песок был утрамбован прибоем, на нем даже не оставалось моих следов.

Разгоряченный безостановочной греблей, я не почувствовал вначале ни пронзительного ветра, ни холодного песка. Насколько хватало глаз, прибойная полоса была безлюдна, и моя лодка, лежащая на боку, придавала берегу вид еще более заброшенный и пустынный.

Так вот он какой, Шелин мыс!

По рассказам других рыбаков я знал, что сразу же за прибойными песками тянутся заросли тросты, по-

том идут мшарники, поросшие осиной и болотной березой, потом леса и леса — вплоть до Уфтюги, а может, и дальше.

Озеро гудело. Беляки испятнали даль. Линия горизонта крылась в туманной дымке. В такую непогоду о возвращении домой и думать нечего: снесет на Спас-Камень, а то и в самое Устье-Кубинское.

«Что ж, придется загорать», — невесело решил я про себя и только теперь почувствовал холодный озноб. Чтобы разогреться, я взбежал на песчаный бугор, спустился с него и поразился внезапной тишине. «Эх, набереу-ка плавника да разведу где-нибудь здесь, в тишине, костерок». Решено — сделано. Раздвигая руками высокую тресту, я выискивал место посуше, поуютнее. У старой осины, отчаянно трепещущей листьями, нагнулся за сухой валежиной, а когда выпрямился, то увидел два изумленных, круглых глаза, глядевших на меня в упор. На миг я остолбенел. Потом мелькнуло: «Да ведь это же олененок!» Он стоял так близко от меня, что, казалось, можно дотронуться рукой до мягких, четко вырезанных ноздрей, до крутого бархатистого лба. Еще какое-то мгновение мы смотрели друг на друга. Потом за олененком что-то тяжело и сильно качнулось, что-то прошуршало в тресте — и видение исчезло. Даже следы, когда я подошел поближе, засосала болотная ржа.

Возвращаясь обратно на пески, я нет-нет да и ухмылялся про себя, все удивленно мотал головой: ведь надо же такому случиться! Никогда прежде я не видел олененка на воле, а тут выскочили друг на друга, и стоило мне протянуть руку, как я мог погладить его по доверчиво-изумленной мордочке. Вот тебе и полное одиночество, вот тебе и северный Робинзон!

На песке между тем повсюду валялись серые, от-

полированные, словно кость, ивовые ветки и корни. Я натаскал их целый ворох и свалил в кучу. Рядом вбил кол для чайника, разжег костер, подстелил под себя старый ватник. Хо-ро-шо!

Озеро гудело глухо и непрерывно, как гудит, вероятно, под ветром один лишь сосновый бор. Надо было набираться терпения и готовиться к долгому ожиданию. Волна могла стихнуть, пожалуй, к вечеру, это в лучшем случае, а то и к завтрашнему утру.

Не торопясь, я поставил на костер чайник, выпил три кружки горячей воды, съел припасенный хлеб, перемотал дорожки. Потом, не зная, чем занять себя, полежал на спине, поднялся и стал выбирать ивовое корневище поувесистее и потолще.

Сидя у костра, я бездумно постукивал по песку сухим увесистым комлем, потом попридержал его на весу и внимательно вгляделся. Что-то неуловимо знакомое мелькнуло в этом изгибе; я повернул корень — все исчезло. Снова восстановил прежнее положение — теперь яснее проступило увиденное вначале. Батюшки, да ведь это же олешка! Ну да, вот и нежная шея, и гордо вскинутая голова, и чуткий вырез ноздрей — все, все, как это было недавно. Нужно, пожалуй, только подрезать вот этот сучок да чуть-чуть подстрогать — и лучше не придумаешь: сама мать-природа изваяла из корня изумительный шедевр. Я поворачивал корень так и эдак, откладывал его в сторону, снова брал в руки, но образ, поразивший воображение, не покидал меня теперь ни на минуту. Дальше медлить не было никаких сил. Охотничий нож в руке, корневище — на коленях. «Держай, новоявленный Роден», — усмехнулся я и приступил к делу.

Увиденное внутренним взором отчетливее просту-

пало наяву; теперь поворот головы был выразительнее, ощущались в нем любопытство и настороженность. Еще немного — и настороженность исчезла, осталось только любопытство и только доверие, даже больше — какая-то безотчетная ласковость чувствовалась в этой вытянутой вперед шее олененка. Больше ничего нельзя трогать, решил я про себя и, подхлестнутый волной безотчетной радости, выскочил на бугор.

От резкого встречного ветра у меня перехватило дыхание. Озеро почернело, и прежде едва видимый горизонт застилали тяжелые дождевые облака. Прибой шел теперь по ивовым кустам. Они низко пригибались к воде, волны с грохотом проходили их, выворачивали замшелые коряги и, откатываясь назад, тащили эти коряги за собой.

Тяжелая работа прибоя, казалось, длилась целую вечность, ярость его была бесцельна и неутолима.

Я вернулся к костерку, который едва теплился, сел за ветром и потянулся к корню. Олешка, маленький, ласковый олененок, был теперь у меня в руках. Я уже думал о том, как поставлю его к себе на письменный стол, как придет мой сосед Василий Семенович и будет дивиться моей неожиданной находке. Нужно только вот здесь чуть-чуть убрать, и все будет в порядке.

Я резко нажал — от изваяния отскочила щепка. Все! Немыслимо нелепый корень я держал перед собою. Был он только кое-где обструган, но ничем больше не отличался от вороха таких же ивовых палок, которые лежали на песке возле замирающего костерка.

Не знаю, вероятно, никогда раньше я не испытывал приступа такой горькой досады на самого себя, как в это мгновение. Ведь надо же, ах ты, боже мой, ведь надо же такому случиться. И, кроме себя, винить некого.

...Когда поздним вечером я отчалил от Шелина мыса, в рваные прорехи облаков кое-где посвечивали первые звезды. Может быть, и правильно, что Шелин мыс назвали Шелиным мысом, думал я, безостановочно склоняясь над веслами, может быть, этот самый неведомый мне Шелин и достоин этого, но про себя я назову его по-другому: берег Олешки!



Березовым у нас зовут Высоковский берег. Если говорят: пойдем на Березовый, значит, держи на высоковскую березу — ее отовсюду видать, даже из заозерья. Так и повелось: Березовый да Березовый. И само собой разумеется, что это берег напротив села Высокое. А село Высокое в двух километрах от озера, и ведет к нему черная дорога. В нашей местности почти у каждой деревни своя черная дорога, потому что сразу же за песчаным приплеском начинается низина, болотная топь. В жаркие дни, когда дурманно цветет багульник, когда над головой стоит комариный звон, а под ногами смачно чавкает темная жижа, только черная дорога и выведет тебя из непролазных зарослей ольхи. Какие здесь могут быть другие приметы, кроме высоковской березы, если ты бредешь и бредешь по жердевому настилу и видишь лишь этот настил да ольшаник, вплотную подступивший к нему. И когда-то, наконец, выбредешь на угор, откуда рукой подать до высоковской подскотины.

Вот так и получилось: береза в селе Высоком известна всей округе — кто с озера по ней путь держит, кто с болота к дому выбирается.

Стоит береза за крайней избой Евлаши Лопатиной; где кончается уличный порядок, там — на взгорке — она и стоит. По весне этот взгорок раньше других обсыхает. Поля в снежных заносах, дорога в наледи,

у Евлашиного крыльца — капель, а здесь землей оттаявшей пахнет, здесь допоздна галдят деревенские ребяташки, играя в «чижа». Под избой-пятистенкой поставлены никудышные скамеечки, но любо-дорого сидеть на них високовским старикам. Видать им и озерную белизну, и синеву небес, и Большую дорогу, уходящую на Вологду, и старую-престарую березу. Кора возле корней в трещинах, в наростах, но выше как бы прокопченный ствол светлеет, выбрасывает рогатины, подымает их выше к небесам и опускает из поднебесья длинными темными прядями, которые всегда раскачиваются на ветру.

Не возле ли этой посередке суковатой, по вершинке кудреватой березы водили девки хороводы:

Высоковская береза, береза́
Среди поля стояла, стояла́,
Она листьями шумела, шумела́,
Златым звенчиком звенела, звенела́.

Сарафаны у девок цветастые, рубахи красным узором вышиты, шали — шелковой вязки, а сами хороводницы не идут по луговине, а плывут, мелко-мелко перебирают питерскими полусапожками.

Парни из села нагрянут темной тучей, встанут возле березы да как ухнут под гармонь озорную припевку — хоровод врассыпную: смеху-то, веселья-то — до первых майских звезд.

А сколько здесь было встреч и прощаний, сколько слез пролито, обещаний понапрасну дано, — проезжали мимо березы подводы с мужиками, проезжали одна за другой то на германскую, то на гражданскую, то — потом — на Великую Отечественную, и долго-долго, когда скрывалась околица села, когда обступали дорогу хлеба, виднелась им високовская береза,

махая на прощанье, роняя до полу зеленые плети. Уезжали подводы, битком набитые мужиками, а возвращались солдаты по одному. И подолгу стояли на взгорке, прислонившись спиной к березе, не решаясь войти в родное село.

Когда я сижу в горнице Евлаши Лопатиной, никакая работа не идет на ум: то и дело выглядываешь в окно на высококовскую березу. Подгонит шофер грузовичок, раскинет ватник на взгорке, перекусит — и запылил дальше...

Вечером подымется к ней пастух и, словно верховный правитель, сурово оглядит стадо, текущее в селение. В ночной мгле долго будет светиться девичий платок, раздаваться смех, слышаться пиликанье гармошки.

А наутро — стук в дверь — приезжий человек к Евлаше с просьбой: дать стакань или испить ковшик водицы. Выглянешь по привычке — все правильно: под березой «газик», шофер на подножке покуривает, приятеля дожидается...

Изба Евлаши Лопатиной на отшибе, а народ у нее толчется день-деньской. И уполномоченный заглянет, и цыганка забредет, и молоденький солдат-отпускник попросится на ночлег, и соседки придут почаевничать. Всем рада бабка Лопатиха, всех приветчает.

Дочери у Евлаши — в Иванове, муж давным-давно пропал без вести — вот на людях-то ей и веселее коротать свой век. «Одной, батюшко, невоготу, — сокрушалась иногда Евлаша, — хожу, как архирей, от окон до дверей». И показывала мне, как ходит, прищаркивая, по половицам, как томится одиночеством, когда вокруг никого нет.

Приезжал я сюда в дни школьных, студенческих, аспирантских каникул, бывал и позднее — во время летних вакансий. Но из года в год ничего не менялось в избе Евлаши Лопатиной. В сенях пахло укропом и сухими березовыми вениками. В первой половине избы с огромной печью висел медный рукомойник, по лавкам вдоль стен стояли рамки для сот, пестери, лежало разное шитье, а на столе кипел старинный самовар, как урядник, украшенный медалями. Вторая половина избы — чистая горница, куда поселяла меня Евлаша, и всегда горница пестрела половиками. И была светлой, веселой из-за этих половиков, стеклянной горки, кровати с никелированными «шишечками», из-за обилия грамот, дипломов, семейных фотографий и вышитых полотенец, которые висели на рамке настенного зеркала. Я настолько привык к убранству горницы, что не задумывался — почему эти полотенца Евлаша не давала мне в баню или на озеро. На тот случай у нее в сундуке был припасен холщовый утиральник. Полотенца же, обрамлявшие зеркало, были необыкновенно красивы и узорчаты — сначала шел узор по косой клетке с ромбами, за ним вышиты красные конники, а заканчивали вышивку кружева, сплетенные из толстых, суровых ниток.

Немало довелось мне повидать по деревням висящих в красном углу полотенец, но — покаюсь — ни разу я не подошел к ним, не разглядел узор, не полюбопытствовал: давно ли да и зачем они здесь висят? Висят, ну, пусть себе висят, наверно, чтоб мухи не засидели зеркало или стекло рамки. Да и вообще, думал я, как по-деревенски наивен, несовременен этот обычай вывешивать в комнате полотенца, расписывать печку какими-то цветочками...

Несравненно важнее и интереснее для меня были

фотографии. С годами их все прибывало и прибывало, однако каждый раз я разглядывал их с прежним любопытством, узнавая то брата Евлаши — усатый солдат в бескозырке застыл у чахлой пальмы, то ее сына — на петлицах два кубаря, а шея тонкая-тонкая, то дочерей — две толстощеких хохотуши выглядывают из-за высококовской березы, смотрят прямо в объектив. Да и в других избах мое внимание привлекали именно эти пожелтевшие от времени открытки, любительские тусклые карточки, моментальные фотоснимки, вставленные под одно стекло, разрозненные, разновеликие, случайные... Между этими семейными фотовитринами и полотенцами, обрамлявшими их, для меня не существовало очевидной связи. Наоборот, насколько жадно я всматривался в лица знакомых и незнакомых людей, настолько был равнодушен к изделиям деревенских мастериц, считая — и не только по молодости лет — эти изделия досадным пережитком прошлого, и не более того. А она была, эта связь, если вдуматься, была...

Мальчонкой я любил хрусткую белизну холщовых полотенец, любил, когда мама приносила их после стирки с мороза и они колбм стояли на полу комнаты, любил, когда от них пахло талым снежком и морозным ветром. Полотенца оказались тем немногим, что привезла мама из деревни. Да и им была рада, начиная городское житье, обживая комнатку в коммунальной квартире.

А сколько таких полотенец было сложено в рабфаковские чемоданчики, в холщовые мешки допризывников, в корзинки домработниц и нянек?! Сколько их увязано в невеликую кладь, что уносила с собой северная деревня, подавшись в город?! И в одной ли нашей необъятной стране побывали вышитые кубено-

озерские, великоустюгские, тотемские, каргопольские полотенца?!

Как-то под городом Леобшюцем во время минометного обстрела я прыгнул в окоп. Солдат-пехотинец, пережидая обстрел, занялся «сидором» — фронтовым вещмешком. Такова старая солдатская привычка — отвлекать себя каким-нибудь делом. Поочередно пехотинец доставал из «сидора» трофейную шомпольную цепь, масленку, теплое белье и, наконец, запасной автоматный диск, завернутый в полотенце, — кружева сваялись, ружейное масло проступило на вышивке, но холстинка так и осталась холстинкой — я узнал ее по тусклой голубизне.

— Откуда, землячок?..

Щелкнул зажим, пехотинец вставил новый диск в автомат.

— Да вот сунула женка, — не поняв вопроса, ответил солдат. И нечто похожее на осуждение просквозило в его голосе — только заскорузлые пальцы невольно разглаживали сваявшиеся кружевца, распрямляли складки холстинки.

Вечером, после прорыва немецкой обороны, я случайно натолкнулся на этого солдата. Он лежал полусасыпанный взрывом. «Сидор» был сорван, и скудное армейское имущество рассыпано возле воронки. Знакомая холстинка проглядывала сквозь комья земли — вся она была в бурых пятнах крови.

И все-таки окрашенное солдатской кровью полотенце было само по себе, а праздничные полотенца, развешанные в избе Евлаши, — сами по себе. В моем сознании никак не укладывался тот факт, что вышитое полотенце сопровождало жителя Заволочья от колыбели до гробовой доски. Полотенцем перепоясывали дружку жениха, на полотенце подавали хлеб-соль, на

полотенцах же несли гроб к погосту. И солдат, убитый под Леобшюцем, видел в холстинке иное, чем я. По-другому видела, понимала эту холстинку и Евлаша.

...Всю-то зиму прядут девки по избам, а потом с веретен нитки перематывают в мотки, а эти мотки мочат в корчагах с золой, а затем на реке их толкут в ледяной ступе со снегом да полощут в самой проруби. Из тех толченых, прополосканных мотков ткнут они на креслах полотно. Холщовые-то концы опять стоят в корчагах со щелоком, опять девки их полощут и раскидывают на мартовский снег. На весеннем-то солнышке отбеливают полотно, да опять полощут в весеннем прудике, да несут в низинку на коромысле — стелить по лугам, по мелким лужицам. Со следующей весны девки начинают все сызнава, пока полотно не станет белым-белым. А потом вышивают концы двусторонним швом или росписью и выводят этой росписью досюльный, по другому сказать, до сию пору придуманный, старинный узор. И зовут этот узор красная развода «гусяная плоть», развода «по одному цветку в гнездо», а то и заглавная развода «дерестье большое».

Бывалоча, ночей не спишь — узор вышиваешь. На свадьбу-то по семьдесят полотенец дарили — и свекру-батюшке, и свекрови-матушке, и друзьям жениха, и попу, и дьячку, и учителю. Нитки — красные-красные, в городе покупные, а холстина белая-белая, домашнего тканья. Узор-то маленький: в девичестве от матери, от бабки-озерухи перенят. По узору женихова родня смотреть станет — велика ли молодуха рукодельница, чтит ли молодуха прежноту деревенскую? А мастерицы по деревням — ой, батюшко,

какие водились! Вот и не поднимаешь от шитья головы, тратишь золотые денечки на разное рукоделие...

...Не шумит, не гудит високовская береза под окнами боковухи — боковой горницы Евлаши Лопатиной, а стекает с ее ветвей желтая медь. И прежде, чем упасть, долго колышутся мелкие листики в воздухе, загустевшем от синевы и утренних заморозков, тихо-тихо ложатся на пологие склоны угорья. Обнажаются свисающие из поднебесья ветви, кучнеют грачиные гнезда, приметнее блещет белизна коры — и нет сил избавиться от ощущения безвозвратной утраты чего-то прекрасного, что зовется, может быть, этой же високовской березой, которая хороша в желтом убранстве, но которая обнажается при полном безветрии, устилает вокруг себя луговину золотыми монетками.

Разговоры с Юрием Арбатом, превосходным знатоком никольских прялок, каргопольских глиняных игрушек, древних икон «северного письма», вологодских кружев и вышивок, вероятнее всего сдвинули меня с «мертвой точки». Имелось, конечно, множество других причин, которые заставили меня оглянуться вокруг, заинтересоваться не только «историей» искусства, но и его «доисторией», не только книгами по искусству, но и прикладным народным творчеством — живой летописью северных деревень. Этот интерес в какой-то степени испытали многие из нас. Размышляя о теперешней способности чувствовать красоту и глубокую содержательность древней живописи, вдумчивый и талантливый писатель Ефим

Дорош приходит, например, к выводу, что не последнюю роль здесь сыграла сама наша современность, утверждавшая несколько иное понимание искусства и иные требования к нему, нежели простое иллюзорное воспроизведение натуры. И затем в нескольких абзацах писатель раскрывает эволюцию своих эстетических взглядов. «Не будучи искусствоведам, — говорит он, — я не берусь говорить об этом с необходимой научной доказательностью, однако я убежден, что лично мне, например, французские импрессионисты с их культом цвета буквально открыли глаза на цвет русской иконописи, что отсутствие классической перспективы в произведениях многих художников нашего времени, их склонность к обобщенным формам приучили меня к композиции и условным формам иконы».

Уверен, что и Юрий Андреевич Арбат испытывал нечто подобное, потому что был он и писателем, и художником, и человеком, тонко чувствующим «открытый» цвет и предельную обобщенность форм в произведениях древнерусских живописцев, изысканность, завершенность северного узора.

Юрий Андреевич Арбат был по-человечески общителен и скор на подъем — сегодня он уезжал на Печору, а завтра мог вернуться из Рима или Никозии. И свой писательский долг он видел не только в том, чтобы заразить читателей увлеченностью, лучше сказать, одержимостью миром прекрасного — заходила ли речь о резных кониках с Печоры или об археологических раскопках на Кипре, но и быть исследовательски точным во всех областях искусства, о которых он писал. Особенной его любовью пользовались народные умельцы, люди, сохранившие верность традициям изобразительного фольклора, чуждые духу

спекулятивности, конъюктуры, ремесленничества. Юрий Арбат хотел донести их имена до потомков и тем самым исправить ту историческую несправедливость, по которой городецкие самодеятельные художники или северные мастерицы-плетей остаются безымянными, безвестными и нам и нашим потомкам.

Именно этому высоко интеллигентному художнику я обязан тем, что народные ремесла, народное прикладное искусство стало обретать образ неведомого мне прежде легендарного Лукоморья или, точнее, сказочного северного бора. Немалые расстояния надо было преодолеть, чтобы приблизиться к этому бору, но, замороженный рассказами Юрия Арбата, я решительно двинулся на поиски чудес, которые до времени таил от меня северный бор, уходивший куда-то за горизонт, скрывавшийся во мгле столетий.

И начал я с «деревья большого», которое так и не удосужился рассмотреть на полотенцах Евлаши Лопатиной. А ради него вышивался весь узор.

В 1921 году при Государственном Российском историческом музее была устроена выставка крестьянского искусства. Среди немногочисленных посетителей выставки ее экспонаты — полотенца, прялки, рубели, туеса, кружевные изделия и многие другие предметы бытового обихода русских крестьян — долго и пристально рассматривал почтенный ученый, профессор В. А. Городцов. Был он археолог с мировым именем и этнографией увлекался как одной из побочных отраслей археологической науки. Но здесь, на выставке, профессор откровенно изумился, встретив в произведениях крестьянского искусства пережитки глубочайшей старины. Особенно заинтересова-

ла профессора Городцова трехчастная сюжетная композиция на вышитых архангелогородских и вологодских полотенцах. В центре этой композиции помещался некий узор, весьма устойчивый в общих очертаниях. Правда, узор, похожий на магический знак, претерпевал удивительные метаморфозы — иногда в нем проступали очертания дерева, иногда — женской фигуры, но чаще то и другое как бы сливалось вместе, и тогда перед профессором предстала древовидно проросшая богиня с поднятыми вверх крючьями-руками. Две другие части этой композиции являли собою графически четкое изображение двух «прибегов» — всадников на конях, двух фениксов, химер, жар-птиц, петухов — вариаций было великое множество. И все-таки главное место занимала богиня, то выпускавшая из рук-крючьев птиц, то державшая поводья коней «прибегов». Сами всадники высоко подымали длани с жестом адорации, то есть молитвенного благоговения.

Необыкновенная устойчивость этой композиции, ее четкое графическое исполнение, равномерно заполненный фон — все, вместе взятое, не могло не восхитить профессора. Он был безоговорочно убежден, что в этой композиции скрывается ключ к древнейшему культу матери-природы.

Позднее, в 1926 году, в трудах Государственного Исторического музея, профессор В. А. Городцов высказал некоторые общие соображения на природу северной вышивки. В этой вышивке он различил отзвуки языческих мифов о круговороте мировой жизни, о культе матери-земли, он увидел пережитки верований, которые восходили к отдаленнейшим эпохам металлического и палеометаллического периодов в развитии человечества. Значение этой работы

В. А. Городцова заключалось в том, что он первый связал воедино разрозненные области — археологию и этнографию и, по словам академика Б. А. Рыбакова, получил «двухтысячелетнюю перспективу и научное представление о древнерусском язычестве». И помогли ему в этом северные вышивальщицы, которые красными нитками на белом полотне рассказали о некогда бытовавшем в Европе культе великой богини природы.

Профессор Городцов в этой работе задался главным вопросом: что это была за женщина, которая пользовалась таким вниманием русских крестьян, что означала она сама и сопровождавшие ее символы? Профессор пришел к убеждению, это — начало жизни, мать всего сущего и живого.

Невольно возникал и встречный вопрос: почему же в сонме славянских дружинных богов не упоминается ее имя? Да потому, отвечал профессор, что крестьяне забыли имена своих кумиров, так как произносить эти имена уже более тысячи лет строго воспрещалось. Культ языческой «царицы небесной», имя которой было заменено северными крестьянами ее стилизованным изображением, ее зрительным символом, по-видимому, продолжал В. А. Городцов, был перенесен на христианскую царицу небесную, богородицу, деву Марию. Дальнейшие изыскания в области народной орнаментики и народной идеологии подтвердили предположение В. А. Городцова, а также привели к возникновению ряда новых предположений. По одному из них «мать — сыра земля» из исторических песен и плачей — это и есть неизвестная богиня древних славян. По другому — неведомую богиню называли Живой, по аналогии с древнейшими мифами западных славян: например, в средневековых

чешских сборниках Жива изображалась женщиной с цветами в руках и символизировала богиню плодородия и жизни. Но самое убедительное, по-моему, предположение выдвинул Б. А. Рыбаков, назвав ее Берегиней. В некоторых древнерусских рукописях упоминается поклонение берегиням как наиболее древний, изначальный языческий культ среди восточных славян. В смысловой связи с Берегиней находятся такие слова, как «бёрние» — глина, земля; «береза» — священное дерево славян; «оберег» — амулет, талисман. Все эти слова так или иначе родственны культу богини-оранты. Ее обобщенная, геометризованная фигура была обнаружена этнографами не только на полотенцах, но и на прялках, тканях, кружевах, в росписи по дереву и вообще на большинстве предметов крестьянского обихода. Фигура эта величественна и монументальна. Ни в древнейшие времена, ни в русское средневековье, ни в эпоху господства христианства в народной орнаментике не изменилась ее иконография. Часть народных и в первую очередь северных вышивок сохраняет форму самого древнего извода, хотя, естественно, что на бóльшей части вышивок «дерёвье большое» со временем претерпело изменения, приобрело бытовой оттенок: мифологические всадники — «прибеги» превратились в крестьянских «карюх», а жар-птицы — в петухов и «рябых курочек».

Славяне-солнцепоклонники никогда не знали символов смерти — черепов и скрещенных костей; потустороннее царство представлялось им царством вечного солнца. Тысячелетия они поклонялись «древу жизни», или богине-оранте Берегине, в честь которой в эпоху язычества воздвигались храмы, которая вся была пронизана солярными знаками — ромбами, то-

чечными кружками, птицами, кониками, спиралевидными дисками, выразившими не одну лишь смену времен года, но и вечный круговорот жизни, вихреобразное строение вселенной.

Однако только ли у славян была эта богиня-оранта? Ведь профессор В. А. Городцов говорил, что вышитые северные полотенца — отзвуки верований, восходивших к бронзовой эпохе в развитии человечества?

...Вставали столбы пыли в лучах вечернего солнца. Горели жертвенные костры. Скакали всадники — они несли весть о победе великой богине Табити. По словам Геродота, эта богиня больше других почиталась у скифов, ибо была она богиней домашнего очага, прародительницей степных племен. У всадников, несущих радостную весть, — золотые бляшки на одежде, золотые наборные пояса, шаровары, заправленные в сыромятную обувь; по бедрам бьют гориты — футляры с луками и стрелами, ножны коротких боевых мечей — кинжалов. Их волосы до плеч и густые бороды треплет встречный ветер. Они спешат к Табити — богине плодоносящих сил природы, которая требует жертвоприношений, требует причащения к ней жертвенным вином. Вот почему всадники никогда не расстаются с ритонами — сосудами для питья, украшенными золотыми пластинками. Скифские чеканщики по металлу и греческие мастера-рабы на ритуальных сосудах, горитах, поясах, бляшках, нашитых на одежду, изобразили все ту же великую владычицу, мать степных народов. Спустя тысячелетие археологи извлекают из скифских могильников, захоронений и тайников эти изображения. О них-то

и вспомнит профессор В. А. Городцов на выставке произведений крестьянского искусства, его-то, в первую очередь, и поразит сходство «дерева большого», или древовидно проросшей богини, на вышитых северных полотенцах с изображениями скифской богини-женщины с поднятыми вверх руками. Именно таково, например, скифское божество на серебряном блюде, найденном в Чертомлыке. Столь же часто в археологических раскопках встречается изображение женщины, ноги которой переходят в растительные побеги, а иногда в змеевидные завитки. Позднее ученые увидят в этом изображении отзвук мифа о происхождении скифов, которые, по словам Диодора Сицилийского, произошли от совокупления Зевса с полуженщиной, полузмеей Эхидной. Но особенно полно обряд поклонения скифской богине Табити запечатлен на треугольной пластинке из Карагодеуашха. Богиня сидит в фас с двумя предстоящими всадниками по сторонам. Богиня одета в длинную рубашку с пышными рукавами. На голове у нее священный убор — калаф, символизирующий плодородие, поверх которого накинута покрывало, ниспадающее на спину и плечи. Бородатые всадники-скифы подняли руки с жестом адорации, молитвенного благоговения.

...Шли столетия. В первые века нашей эры из Зауралья на благодатные степи Таврии и Северного Кавказа надвинулись хорошо вооруженные дружины сарматов и меотов. Степь огласилась скрипом повозок, ржанием табунов, воинственными возгласами и криками. Повозки сарматов — с длинными ступицами и легкими ободьями — были удобны не только для быстрого передвижения, но и жилья. Кузова повозок

составлялись из легких дощатых планок, на обручи натягивались шкуры и ткани — эти походные шатры хорошо предохраняли воинов от холода и зноя. Многочисленные дружины савроматов, или сарматов, были вооружены длинными кавалерийскими мечами. В непрестанных стычках с местным населением, которое дралось мечами-кинжалами, пригодными для пешего боя, но неудобными в конном бою, сарматы поголовно вырубали вражеских воинов и постепенно оттесняли скифов в сторону степной Таврии.

Пришельцы сарматы поглотили культуру местных племен, не нарушив, правда, их хозяйственного и бытового уклада. Как религия греческих, а затем римских приазовских колоний, так и религия сарматов претерпевала известные изменения — она вбирала местные скифские языческие представления, переработав их в духе собственного культа. Так появились «дунайские образки», о которых мне хотелось бы рассказать подробнее, потому что один из них довелось мне встретить при совершенно непредвиденных обстоятельствах.

Далеко на юге, в молдавских кодрах, находится село Юрчены. Однажды летом, путешествуя по Молдавии и собирая легенды, связанные с образами цыганки Земфиры и Алеко из пушкинской поэмы «Цыганы», я попал в это село, где познакомился с директором местной школы, энтузиастом-краеведом Павлом Петровичем Андриешем.

Юрчены располагаются вдоль длинного, а в летнюю пору довольно пыльного сельского большака — справа и слева стоят молдавские хатки под черепичной или камышовой крышей, с жердевыми частоккола-

ми, на которых там и тут торчат перевернутые глиняные горшки. Сельская школа мало чем отличалась от всех этих хат. Павел Андриеш привел меня в школьный музей. Удивительный был музей! Все его экспонаты школьники нашли или в пыли дороги, или на ее обочинах, или возле родительских хат. Великие переселения народов, походы завоевателей, битвы, сражения — все было живой историей села Юрчены. В добром порядке на стендах музея располагались коллекции монет — от маленьких, чешуйчатых монеток с профилем римского императора Траяна до больших монет с профилем германского кайзера Вильгельма II. Столь же разнообразным оказалось и вооружение, — от медных скифских наконечников стрел до проржавевших стволов пехотных винтовок. Но самыми интересными в музее были, конечно же, небольшие свинцовые таблетки с полуистершейся, плохо сохранившейся фигурой богини-женщины, воздевшей длани вверх. Конечно, я не мог предположить, что пройдет какое-то время и я встречу с изображением этой богини в краеведческих музеях Севера на полотенцах и старинных кружевах. А ведь это был прообраз Берегини!..

Среди когорт «вечного города» в позднеримскую эпоху были и кельтские легионеры, и сарматские конные дружинники. Вдали от родных степей и лесов эти солдаты поклонялись своей владычице, изваянной на свинцовых, каменных, глиняных «дунайских образках». Легионеры вели битвы с народами, заселявшими окраины римской империи в первую очередь с малоизвестным народом даков, пока в 107 году нашей эры римский император Траян не нанес им сокрушительное поражение. Предводитель даков Децебал лишил себя жизни, многие даки отошли в

неизвестную римлянам страну. В этих битвах большие потери понесли и даки, и римские тяжело вооруженные легионеры, и сарматские конные дружины, выступавшие на стороне римлян. Сарматские образки, имевшие вид храмик с двухскатной крышей, погребались вместе с погибшими солдатами, лежали в прахе военных дорог, как лежала в пыли и та свинцовая ладанка, которую я увидел в молдавском селе Юрчену.

...Число выписок из трудов В. А. Городцова, Б. А. Рыбакова и Л. А. Данцеса в черновых тетрадах растет. Наслаиваются на них разные воспоминания, дай волю — и воспоминания уведут меня опять в родное заозерье, в Заволоцкую землю, к которой я всегда возвращаюсь или к концу лета, или в весеннее половодье. А еще я возвращаюсь к нему мысленно, хочу представить себе, как живут мои земляки, что поделяет в этот зимний ненастный вечер та же Евлаша Лопатина. Но я в поиске, и по старой фронтовой привычке не должен отвлекаться ни на что другое, кроме цели своего поиска... А цель одна — найти прообраз древовидно проросшей богини на северных полотенцах и кружевах в исторической мгле тысячелетий.

...Долгие века оживленнейшим портом Причерноморья был Херсонес. Здесь слышалась речь едва ли не всех народов, населявших в ту пору юг Таврии и Причерноморья, — греков, тавро-скифов, евреев, славян, сарматов. В V веке нашей эры в Херсонесе, известном древнерусским летописцам под названием

Корсуни, располагался римский гарнизон. Сюда-то, в отдаленнейший город-колонию, ссылали римлян, заподозренных в христианстве. Вот почему отнюдь не случайной находкой в развалинах Херсонеса была находка небольшой глиняной плитки, облицованной глазурью, с изображением христианской богородицы. Но руки богородицы, как и скифской Табиты, как и Кибелы, как женщины-богини с «дунайских образков», были подняты вверх. Так с переосмысления или, точнее, замены местных туземных культов культом девы Марии начало распространяться христианство в причерноморских краях. Подобную замену — несколько веков спустя — совершили византийские миссионеры. Известен интересный факт: византийские художники, украшавшие в XI веке Киевский Софийский собор, на самом видном месте выложили огромное изображение женщины-богини с воздетыми к небу руками. Тем самым они сказали киевским язычникам, что и в новой вере можно почитать древовидно проросшую богиню плодородия, но что теперь она будет именоваться не Берегиней, а владычицей, девой Марией. Среди знаменитых сокровищ Владимирского клада, найденного в 1896 году, находится колт с эмалью. На этом колте, хранящемся в Историческом музее, изображена царица небесная с поднятыми вверх руками.

...Стелется ночная поземка по полям, переметает колеи Большой дороги, раскачивает заледенелые пряди высококовской березы... В клубящемся, стонущем мраке рвутся снеговые заряды и осыпают колючим снежком притихшие сельские дворы. Да и вся округа, кажется, притихла, притаилась, исполосованная поземкой, оглушенная посвистом ветра, погребенная под

прибойными волнами сугробов. Над самыми коньками крыш пролетают тучи. И не видать на небе ни зги. Лишь на долю секунды блеснет над вершиной высококовской березы звезда — и тут же пропадет в летящей, полуночной мгле.

Окна в избе Евлаши Лопатиной до половины засыпаны снегом. В их зыбком, призрачном свете белеет угол русской печи, которая как будто все раскачивается и медленно выплывает на середину избы. Сама же Евлаша слилась с бревенчатой стеной, потерялась на лавке среди ворохов шитья и одежды. С вечера поприжало Евлашу — невыносим был приступ грудной жабы, — вот и не может она лечь в постель, вот и мается, сидя на лавке до рассвета: то приляжет, то посидит, склонив дремотно голову, подставив под ноги днище старой корзинки. Когда у загнетки неистово взвоет ветер, подымет Евлаша голову, обвязанную темным платком, пробормочет: «Ох, и погодушка...» — и снова впадет в забытие. И не в силах она отличить, что привиделось ей во сне, что наяву приключилось. То вдруг станет светло-светло, чадно от дыма махорки, шумно от молодых голосов. Вроде бы это зимние посиделки... Игла прокалывает туго натянутое полотно, и быстро-быстро ложится стежок ко стежку, распускается большое красное дерево на глазах. Странно Евлаше, как оно тянет вверх крючья-руки, как начинает приплясывать, притоптывать, мести пол широким подолом, как, закружившись в «заиньке», оборачивается самой Евлашей. То найдет на старую плетью затмение — грудь сдавит, тело обмякнет, в глазах — чернота. Но и сквозь черноту исподволь пробьются отблески вечерней зари, проскачут алые кони, гикнут всадники в алых рубахах, протянут алые ладони к высококовской березе. И будет

бежать к ней Евлаша, задыхаясь, ощущая в ногах свинцовую тяжесть, срывая с головы васильковый венок...

Спина занемела от долгого сидения и обессиленно упала рука, выпуская из пальцев иголку. Наплывает на Евлашу белая печь. Евлаша вздрагивает, крихтя, подымается, идет к окошку: в снежной замяти тонет, тонет все заозерье и нет конца метельной ночи.

...Я взглянул на часы: без четверти пять. Стеклянные стены читального зала синеют ранними зимними сумерками. Всего несколько минут назад, отвлечшись от книг, я погрузился в странное мечтание, а вот уже зажглись под потолком висячие люстры и засветились огни настольных ламп. Включаю и я свою лампу — круг света падает на стопки книг, на листы раскрытой тетради. Еще некоторое время, чтобы привыкнуть к яркому свету, рассматриваю рисунок славянского городища. Это — Родень, поселение, возникшее в устье реки Рось не позднее VI века нашей эры. Но бревенчатый частокол и крохотные избышки, столпившиеся внутри частокола, почему-то мало удовлетворяют меня. Я не увидел в городище громадного священного изображения Берегини, не увидел изваяний других славянских богов, на что надеялся, открывая рисунок. Конечно, реконструкция произведена в соответствии с археологическими изысканиями, но в одном из первых укрепленных поселений племени росов должно было быть мольбище Берегини... Должно было быть.

«Богатырский народ Рос», известный по древним письменным памятникам, получил свое наименование от реки Рось — так полагает академик Б. А. Рыбаков. Ведь именно в двух формах «рос» и «русь» встречается это слово в летописях применительно к племенам среднего Приднепровья и бассейна реки Рось. Такое созвучие не может быть случайным. Кроме того, на этой территории с конца бронзового века происходил стык протославянских и иранских племен.

Восточные славяне были в полной мере автохтонами, то есть местными наследниками тысячелетней земледельческой культуры. Но пришлые иранские племена — скифы и сарматы — распространяли свою культуру и на эти области — здесь столетия происходила активная ассимиляция разнообразных культовых влияний и тенденций, взаимное обогащение культур соседних народов. Вот почему в могильниках и курганах русов или росомонов — и не только в них одних — находится немало всевозможных украшений, языческих оберегов-амулетов с изображениями коньков, птиц и рыб и, конечно же, со стилизованными изображениями древовидно-проросшей богини. Амулеты-обереги были предметом торговли и обмена между племенами, они широко распространялись среди славянских и финно-горских племен у нас, в Заволочье. Именно такими украшениями и были медные шумящие подвески в тотемском краеведческом музее, которые я увидел несколько лет тому назад. Большая часть головных, нагрудных и поясных привесков была не только украшением, но и имела значение талисманов, охранявших человека от злых духов и враждебных сил. Разглядываю один из таких талисманов, извлеченных из славянского захоронения: к небольшой медной пластинке на цепочках прикреплены

миниатюрные коники, ложечки, ключики, топорики, гребешки. Многие из них украшены типично славянским орнаментом: точечные кружки — знак солнца, змейки — знак молнии, знак Перуна. Интересно, что каждый привесок имел особое значение: конь — символ добра, счастья; топорик — символ грозного божества Перуна-громовика; ключик — символ благополучия и богатства; наконец, гребешок — символ домашнего довольства и домашнего очага. Вот на этом-то гребешке-амулете и я усмотрел две стилизованные головки коней, обращенных к центральному изображению божества в виде ромба на столбе. Это, конечно же, был знак Берегини! Еще более отчетливый образ славянского божества с поднятыми вверх руками выискался среди рисунков украшений, найденных профессором В. А. Городцовым в курганах Огуйского городища. Не среди развалин Роденя, а здесь, на прорисях оберегов-амулетов, был запечатлен культ великой богини природы — культ Берегини!

Новейшие археологические изыскания показывают: языческое искусство постепенно отодвигалось в глубь северных лесов и там на протяжении многих столетий, оно властно господствовало над русской деревней, сохранившей двуверие и после окончательного утверждения христианства на Руси. Иван Евдокимов в монографии «Север в истории русского искусства» еще в 1921 году справедливо писал: «...двуверие России — языческое и христианское — приводило в отчаянье византийских митрополитов несколько веков сряду». Это двуверие наложило яркий отпечаток на всю духовную жизнь северной деревни.

Теперь же древние языческие верования наших предков самым счастливым, самым неожиданным образом обнаруживаются в произведениях народного

искусства. Великая Берегиня, ставшая центром сюжетного узора и потерявшая всякое магическое значение, изображалась как красивый узор на прялках — символах долголетия и домашнего очага, на полотенцах, применявшихся как ритуальная ткань во время свадеб, похорон, богослужений, встречи властей, а позднее — на рубахах, скатертях, кружевах, на всем, к чему прикасались трудолюбивые руки деревенских мастериц. Столь же древнюю, многовековую предисторию имел и обычай вывешивать в избах праздничные полотенца, или, по летописному, убрусы. В глубокой языческой древности они вывешивались на священных деревьях славян — березах — берегинях, затем — в период господства христианства — на священном дереве — иконе, затем, в наши дни, как предмет украшения — на рамке зеркала. Вот этот-то древний обычай, конечно, неосознанный, сохранившийся в силу привычки, и заставил бабушку Евлашу вывесить в горнице полотенца с красной вышивкой и кружевами.

...Щелкает кнопка выключателя. Я протираю усталые глаза, собираю тетради, складываю книги. В огромном читальном зале редко-редко увидишь горящую лампу — сегодня суббота, и зал опустел раньше обычного часа. Сколько же дней прошло, как Юрий Андреевич Арбат увлек меня в это чудесное путешествие? Не знаю. Да и спросить его об этом не могу, потому что, увы, самого Юрия Андреевича нет в живых. И все-таки я отыскал в волшебном северном бору «дерево большое», отыскал Берегиню и поразила тысячелетней мощи ее корней, несказанной красоте ее кроны.

...Стара Евлаша Лопатина, ох как стара. Но без рукоделия не может быть минуты. Только весной она не вышивает, а плетет кружева. Холщовые-то концы лежат в сундуке, желтеют от времени, а бабушка Евлаша давным-давно покупает себе в сельмаге и бязь, и ситчик в горошек, и штапельное полотно. Да и дочкам в Иванове ни к чему ее рукоделие. Они приезжают в Высокое вон какие форсистые да фасонистые — на материнскую льняную холстинку и глядеть не хотят. Так и лежат эти концы в память о Евлашиной молодости, о раннем ее замужестве.

...Окна горницы раскрыты настежь. Старая-престарая высококовская береза сквозным зеленым облаком возвышается на угорье. Большая дорога огибает ее, убегает в полевые просторы. За просторами голубеет край озерной воды, залитый весенним сиянием.

Плетет Евлаша кружева, пересыпает коклюшки из горсти в горсть, перекачивает, легонько встряхивает, потягивает на себя — и коклюшки, словно живые, подскакивают, ударяются звонко друг о друга, снова садятся в бабушкины ладони. Их рассыпчатым говорком заполнена вся горница. Даже деревенские воробы, проводящие время в пересудах да ссорах, смотрят с телефонных проводов молча, слушают этот оживленный разговор. Слушать-то слушают, а понять ничего не могут. Я тоже не могу понять, но, вероятно, что-то необыкновенно важное рассказывают, перебивая друг друга, желтые, как кость, палочки.

А коклюшки побрякивают в проворных пальцах Евлаши и, кажется, никак не могут уgomониться, все

норовят разболтать о заветном, затаенном от всех. Потому-то замысловаты, сложны узоры кружев, чтобы не каждому, стало быть, довелось разгадать, о чем думала, о чем вспоминала бабушка Евлаша. А ты пристально присмотришь к наkolке, и тогда увидишь, что вьется, вьется по краю вилюшка, как Большая дорога мимо приозерных сел, что повыше вилюшки появляется заснеженный ельник, а посреди ельника вплетается заиндевелое «дерево большое», всем напоминающее высококовскую березу.

...Майский ветер хлопнул створкой окна. Бабушка Евлаша подняла на миг голову, отсутствующим взглядом посмотрела на развеянные космы высококовской березы, воткнула в наkolку булавку и снова заперебирала коклюшки. Легкой стайей взвились они и замелькали в ее горстях.



В начале 20-х годов в Вологде, на Железнодорожной улице, недалеко от Золотухи, жил худощавый парнишка. Бегал он в соседнюю школу первой ступени, катался на санках с речных откосов, а вечерами всегда что-нибудь рисовал или лепил из глины, которую приносил все с той же Золотухи и оттаивал у себя в комнате. Мать была неизменно добра к нему и не ругала мальчика за то, что штаны и рубашка его всегда были в пятнах краски, глинистых подтеках. Так и в тот памятный для него вечер он долго возился с плотным комком глины, прикидывал так и эдак, неудовлетворенный, сминал начатое и принимался лепить все заново на фанерном листе, служившем ему станком. А когда просушил свое произведение да еще раскрасил его, то втайне был обрадован упорству. Получилось!

Крохотный, лысый, как лунь, старичок стоял перед ним, опираясь на суковатую березовую палку. Розовая рубаха была перехвачена пояском, синие полуспущенные порты и лапотки дополняли его наряд. Забавно скосолопившись, старичок стоял перед юным художником почти «всамоделешным» деревенским дедом, но было в его облике и что-то лукавое, добродушное, как лукавы и добродушны северные поверья про гуменника и лешачка. Эти поверья мальчик не раз слышал в деревне своего отца, куда он приезжал погостить летом.

И вот через сорок лет, в 1964 году, известный

советский скульптор, член-корреспондент Академии художеств СССР Сергей Михайлович Орлов перевел «Старичка» в фарфор. Первая полудетская работа была дорога ему и как память о родном Заволочье, и как вещь, которая определила его судьбу художника и монументалиста. Но об этом надо рассказать особо.

Восемнадцатилетним юношей приехал Сергей Орлов в Москву. Привез он с собою десяток акварелей, рисунков, набросков и несколько статуэток из глины, в том числе и «Старичка». Мечтал он попасть в один из художественных институтов Москвы, но мечтам его не было суждено осуществиться. И вот Сергей Орлов переступил порог Музея керамики и фарфора, который был в те годы в столице.

Встретил его известный собиратель произведений прикладного искусства и малой пластики Алексей Викторович Морозов, бывший фабрикант, родственник знаменитого Саввы Морозова, а в 1929 году — просто служащий музея.

Сергей Орлов показал ему рисунки и акварели, старик довольно бегло пробежал их глазами, отложил в сторону и выжидательно посмотрел на посетителя. Вот тогда-то самодеятельный художник, смущаясь и уже окончательно теряя надежду на какие-либо перемены в своей судьбе, извлек из ветоши «Старичка».

Алексей Викторович довольно долго рассматривал глиняную статуэтку, поворачивал ее в разные стороны, казалось бы, недовольно и презрительно шевеля губами, и вдруг закричал на сотрудников музея, находившихся в той же комнате:

— Какого черта вы все ищете? К нам нагрянул талантище бессомненный, а вы все ездите за тридевять земель, все сетеете, что оскудела земля русская

самородками... Смотрите! — и Морозов торжествующе поднял статуэтку.

Так паровозный слесарь Сергей Орлов стал одним из сотрудников Музея керамики и фарфора.

Если окинуть все созданное за сорок лет творческой деятельности Сергеем Михайловичем Орловым, то нельзя не поразиться, сколь разнообразна эта истинно русская душа. В его акварелях, в ленинградских пейзажах — спокойствие, мягкость, задушевность. Художник выбирает для рисунков те серебристые, «перламутровые» дни лета и осени, когда светится все — и мокрый асфальт, и мокрые крыши домов, и гладь ленинградских каналов, и даль огромного города, как бы пронизанного капельками дождя. Есть в акварелях что-то от спокойного, светлого блеска фарфора — излюбленного материала, в который воплощает свои замыслы скульптор Орлов. В его произведениях станковой живописи господствуют синеватые зимние сумерки или охристо-золотистые летние закаты. Переход от дня к ночи рождает ощущение колдовской таинственности в окраске и форме предметов, создает атмосферу сказочности в которой невольно вспоминаются вещие слова: «...сказка — ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок».

Наоборот, в пластике, в фаянсе и фарфоре Сергея Орлова — взрывы темперамента, буйство фантазии, этакая былинная удаль, когда силушка по жилушкам переливается, когда от избытка этой силы художник может и поозоровать, может и посмеяться добродушно, может и задуматься всерьез. Его фантазии нет предела. Да и как же иначе: ведь скульптор ставит перед собой задачу, сложнее которой и выдумать

трудно. Он хочет в форме и цвете воплотить волшебную русскую сказку, воссоздать ее в объеме. Древний Египет, Греция, Ренессанс дали несравненные образцы цветной скульптуры. Сергей Орлов пошел своим путем. Он широко использовал как достижения западноевропейской, в частности немецкой пластики, так и отечественной скульптуры. Но корни его — в народном изобразительном фольклоре. «У меня есть один принцип,— говорил однажды художник,— которым я руководствуюсь всю жизнь. Нет искусства малого, но есть искусство в большом и малом. Художественность следует выискивать, выглядывать в окружающем мире и не лениться, делаешь ли ты малую солонку или монументальный скульптурный портрет».

Шемогодский резчик по бересте вносил в свой узор на крохотной шкатулке не меньше мастерства, таланта и упорства, чем, предположим, легендарный мастер Нестор, срубивший церковь Преображения в Кижах. В малом и большом они были искусными мастерами. Таким искусным мастером в малом и большом является Сергей Орлов. С одной стороны, он создает не только известный памятник Юрию Долгорукову в Москве, Афанасию Никитину в Калининe, не только в эскизе завершает работу над памятником Степана Разина и Суворова, но и ведет неустанные поиски в области прикладного искусства, в области малой пластики — статуэток, декоративных украшений и ваз. Как известно, фарфор и фаянс — холодный материал. Необходимо исключительное умение дать цвет в объеме, чтобы фарфор заиграл теплыми красками, приобрел ту радужность, праздничность, насыщенность колерами и тонами, которая есть в росписях народных умельцев. Орлов хочет и в форме и в цвете воплотить поверья, сказки, фантазии северного наро-

да, испокон веков живущего в лесах, выжигавшего делянки для посевов, обожеествлявшего стихийные силы природы и все-таки не без усмешки говорившего: «Живем в лесу, молимся колесу». Вот почему изваяния Сергея Орлова исключительно богаты по цветовой гамме, они имеют тот насыщенный алый, золотой, синий цвет, к которому охотно прибегали северные изографы и живописцы. А во-вторых, в повериях и преданиях жителей Заволочья скульптор воспринял простодушность, добросердечие, незлобивость характера самих создателей, самих рассказчиков этих волшебных сказок и преданий. Лес, которым были окружены деревни и пашни северного земледельца, населялся созданиями народной фантазии: были здесь и страшила, и гудики, и баенники, и гуденники, и берегуши, и лешаки, но все эти мифические существа, возникшие в языческую, дохристианскую эпоху, обладали одним свойством — они в большинстве своем были добрыми, забавными, домашними ларами, но никогда не жестокими, бесчеловечными, страшными существами.

В этой обстановке сказочности и северного фольклора рождались многие превосходные работы С. М. Орлова. Здесь и «Оружий лешачок», и «Маленький гудик», и «Зеленый страшила», и «Бубик», и «Иван-царевич на сером волке», и «Ведьма в полете», здесь и несравненный мир пушкинских сказок, десятки, а если собрать по музеям нашей страны и зарубежных стран, то сотни работ — результат многолетних поисков, находок, ошибок, заблуждений.

В сказках и преданиях добро обычно сталкивается со злом и добро всегда побеждает. В отдельных случаях скульптор сталкивает зло со злом: такова его фантастическая шутка «Драка. 1946 год». Но «зло»

Сергея Орлова вызывает чуть приметную улыбку. Известный мастер похож на того деревенского сказочника, который, собрав вокруг себя соседскую ребятню, в долгий зимний вечер рассказывает небылицы, завораживает слушателей неторопливым говорком, пугает их нарочитым шепотом, а сам-то знает, что жизнь бывает куда как пострашнее этих дедовских сказок, сам-то все неприметно посмеивается или, может, лукаво щурится, видя раскрытые глаза и рты притихшей детворы. В замысловатых радужных фантазиях Сергея Орлова много от этой едва уловимой улыбки, этой лукавинки. Да и как же иначе. Черпая образы и сюжеты из сокровищницы народной мудрости, из волшебных кладезей северной поэзии, он остается современным художником. И не просто художником, а философски мыслящим гражданином своей эпохи. Его фарфоровые и монументальные изваяния не иллюстрации, а предельные обобщения, «сгустки» личных и общественных пристрастий человека-творца.

Мало кто даже из дошкольников, из учеников младших классов поверит ныне в существование лесных духов и чудищ: в век электроники, в век покорения космоса научная фантастика стала захватывающим чтением как для детей, так и для взрослых. Человеческий разум срывает покровы с тайн природы, лишает тот же северный лес древнего, почти языческого очарования: на любой поляне можно услышать шум трелевочных тракторов, в небе — рокот почтовых и рейсовых самолетов. Но лишиться в искусстве всей этой красоты — красоты фантастического переосмысления мира, красоты наивного, простодушного верования в «чудесное», в «таинственное» — было бы добровольным обеднением себя. К сожалению,

иногда раздаются голоса людей, которые, вероятно, никогда не были детьми, они, надо думать, родились на свет лысыми догматиками и начетчиками, усматривающими во всяком обращении к этим сказочным истокам и корням не больше, не меньше как поэтизацию «патриархальщины», возрождение «вредных», «мистических» верований отсталого крестьянства. Лишенные элементарного эстетического вкуса (о любви к поэзии, к зодчеству, к музыке здесь и говорить не приходится!), они тычут указующим перстом в создания, подобные чудесному «Бубику» или «Лешачку» Сергея Орлова, и с истинно пролеткультовской нетерпимостью ко всему, выходящему за грани их выхолощенного цитатами ума, трезвонят об утрате художником «чистоты» идеологии.

Но в книге отзывов на работы С. М. Орлова мне встретилась одна примечательная запись. Не могу удержаться, чтобы не привести ее целиком: «Дорогой Сережа! Я очарован твоими работами на выставке. Умно, талантливо и хорошо. Все мои друзья-единомышленники восхищены также твоей фантазией и ее прекрасным исполнением. Желаю тебе всего самого доброго и дальнейшего процветания на пользу нашей дорогой любимой Родины, а также на благо всего человечества. Любящий тебя С. Коненков. 15 февраля 1966 года».

Великолепный знаток народной жизни, старейшина советских художников С. Т. Коненков по достоинству оценил редкостное, самобытное дарование собрата по профессии. Отзыв этот не только справедлив, но существенно важен для понимания глубоконациональных и общечеловеческих мотивов в творчестве Сергея Орлова: национальное без общечеловеческого быть не может, равно как и общечело-

веческое вбирает в себя все лучшее, передовое, демократическое в каждой из национальных культур, — такова основная мысль коненковской записи.

Скульптор Сергей Орлов решительно идет — нет, не на «возрождение» древних преданий и поверий, а на их художественное, «вечное» обновление, обогащение чувствами и мыслями современника, человека середины XX века.

Вот его «Орущий лешачок». На обычной коряге проросли хрупкие опята, сыроежки, какие-то тонконогие грибки. Из этого изумительного «грибного царства» вырастает фигура «лешачка». О чем он, махонький и забавный, кричит в лесные чащобы? Кого скликает он? Кого хочет остановить или позвать на помощь? Он — сказка, но с этой сказкой невозможно распрощаться, с ней трудно расстаться. Да, пожалуй, и не к чему расставаться с «Лешачком», потому что он — красота!

«Я говорю языком пластики, цвета, света, формы, материала», — заметил как-то Сергей Михайлович Орлов. И его страстные речи направлены не на то, чтобы в мире, в котором мы живем, было скучнее, сумрачнее, суше, а на то, чтобы в этом мире было больше красоты и мудрого раздумья над судьбой народа. Лесные заволоцкие были и поверья Сергея Орлова задевают самые благородные струны в сердце человека, они будят в человеке чувства добрые и светлые, обновляют или, вспоминая образ учителя Тяпушкина, «выпрямляют» его, знакомят его «с ощущением счастья быть человеком». Нет, сказочный мир, созданный Сергеем Орловым, не уводит нас в прошлое. Он — сочная, неповторимая краска на палитре современности. Вот почему между малой пластикой известного скульптора и его монументальными

работами, его бронзовыми и гипсовыми изваяниями нет и не может быть противоречия. Это все — проявление щедрой души художника-творца.

В разгар Отечественной войны С. М. Орлов создал скульптуру «Мать». Во всей позе, во всей одежде старой женщины столько истинно народного, даже деревенского, что многие зрители могут признать ее своей матерью. Но скульптура не портрет. Это символ Родины-матери, оплакивающей погибших на кровавой ниве сыновей. Это символ невыносимой тяжести войны, всех ее разрушений, смертей, бедствий. Здесь нет и намек на сказочную символику, на гротескную игру фантазии, как в «Шабаше» или «Драке». Скульптура реалистична; она скупа в деталях и линиях, которые подчинены одной цели, — горе есть горе, и всякое не то что бы приукрашивание, но всякая пластическая многословность отдавала бы нестерпимой фальшью, была бы кощунством.

В мастерской художника, что расположена вблизи Белорусского вокзала, находится одна из последних работ Сергея Орлова — монумент Степану Разину. И вновь ваятель стремился не к портретному сходству с исторической личностью, а к обобщению. Его Степан Разин — вековая мечта русского народа о воле. Степан Разин погружен в глубокое раздумье. В его опущенной руке — скромный полевой цветок, а вокруг — народ: кто плачет, кто смеется, кто равнодушен, кто зол. Три гусяра повествуют о доле Степановой: один — могучий старик — ведет исторический сказ о добре и зле, другой — молодой и восторженный — поет как зубубенная головушка; третий играет и плачет горячими слезами. Каких только гипсовых эскизов, еще не переведенных в бронзу, нет в мастерской Орлова! Здесь и Суворов, воплощающий славу

русского оружия. Здесь и древнерусский витязь, отрубавший голову чудищу. Здесь и замысел целой аллеи русских народных сказок и северных былин. И, наконец, монумент в честь одного из древнейших городов на Руси — родного города — Вологды.

Наибольшую известность С. М. Орлову принесла конная скульптура Юрия Долгорукого, установленная в ознаменование 800-летия Москвы. Сам скульптор так определил общий замысел, идею произведения: «Я старался передать в чертах его лица, — говорил Сергей Михайлович о Юрии Долгоруком, — во всем его облике ту мужественную народную красоту, которая вызывает представление о русских былинных богатырях, людях большой силы и великолепных душевных качеств». Надо сказать, что этот замысел художника получил талантливое выражение. Долог и труден был путь к этой скульптуре. Еще в молодости Сергей Орлов создал в масле портрет «Плотника дяди Алексея». Затем «дядя Алексей» стал скульптурным портретом крестьянина: мудрость человека из народа, сила, чувство собственного достоинства — вот что сохранил в своей скульптуре художник. Да и в образ Юрия Долгорукова, в свою очередь, перешли эти качества сына земледельческого народа. Вот почему Юрий Долгорукий работы Орлова по праву вошел в ряд достижений нашей советской монументалистики.

...С толпой посетителей я медленно обхожу выставочные залы Академии художеств СССР на Кропоткинской улице. Многие ассоциации возникают у меня, когда я рассматриваю страшную «Войну» С. М. Орлова, которая летит на немыслимых скоростях сегодняшнего дня и вопит торжественно и пронзительно.

Но, вероятно, еще дольше я останавливаюсь возле Фауста и Мефистофеля, исполненных в цветном фарфоре. Художник своеобразно понял гетевский замысел: его Фауст и Мефистофель не только две фигуры — это один человек в своей раздвоенности. Один — отрицание, всеразьедающий скепсис, другой — поиск, надежда, вечное стремление к познанию мира и добра. Под скачущими всадниками — молчаливый спящий сказочный город. Фауст чуть касается ладонью белой конской гривы, он не торопит коня, он ласкает его; рука же Мефистофеля указывает в бездну: властным жестом Мефистофель ведет к мраку и тьме. Оба коня — такое же аллегорическое изображение неостановимого движения: колени коней, как шатуны в моторе, работают вразнобой, но именно они-то и передают образ стремительной скорости нашего века.

Но вот вместе с другими посетителями я перехожу к стеклянной витрине и вижу по добрым улыбкам окружающих, что нужно пристально осмотреть ее. Батюшки, там, за стеклом, передо мной стоит лукавый старичок: забавно скосолапив ноги, распустив бороду, опершись на батажок, он ждет чего-то. Да ведь это же «Старичок»! Точно! И дата под ним — 1924 год.

Вряд ли стоит говорить о вихре чувств, которыми я был подхвачен возле этого стенда. Далекая Вологда двадцать четвертого года, откосы речки Золотухи, тесная комната в доме с облупившейся штукатуркой, фанерный лист и чуткие, покрасневшие от холода пальцы мальчугана, впервые ощутившего власть искусства, — вот что я увидел, увидел и запомнил навсегда.

«Было бы не худо, — думал я, — если бы у каждого из нас был в детстве такой же кудесник, приносящий нам в конце концов счастье и жизненную удачу».



ПО СЛЕДАМ АНТИКАЙНЕНА

Не помню где — я вычитал:

В карельских лесах заплутала
Военная юность моя.

Моя юность тоже заплутала в карельских лесах. Много лет минуло с той поры, как молоденьким лейтенантом, выпускником московского военно-инженерного училища, с кирзовой кобурой, с кирзовой полевой сумкой я перемахнул через борт фронтовой полуторки и спрыгнул на пыльную обочину. Кругом громоздились замшелые, потрескавшиеся валуны. Многие из них были подрыты, края лазов и нор засыпаны пожухлой хвоей и маслянисто желтевшими автоматными патронами. Редкая рваная тень сосен падала на камни, хранившие отметины снарядных и минометных осколков: они грудью приняли на себя чью-то смерть. Высоко синело июльское небо. Я прошел вдоль обочины и наткнулся на первую солдатскую могилу. Сосновый столбик истекал янтарной смолой, — капля смолы тянулась по столбу, приметно лучась на солнце. Жестяная звездочка была в пятнах ржавчины. Песок на могиле осел. Я постоял у безымянного холмика и беспечно зашагал дальше, навстречу глухому, немолчному гулу передовой.

И вот снова — жаркой июльской порою — я с пристальным вниманием вглядывался в каждый природный камень, в каждый поворот пустынной лесной дороги. Мне казалось, что вот сейчас, отогнув от лица колючий лапник, выйдут ребята в маскхалатах, поды-

мут руку и, когда машина остановится, скажут: «А ты, младший, вовремя прибыл. Будешь делать проходы в минных полях: ночью берем языка!» И вся моя сегодняшняя жизнь, все мои тревобления, беды, обиды, гонка на такси из одной редакции в другую — все это окажется чем-то нереальным, ненастоящим, как тревожное забытие перед рассветом, когда явь и сон непрерывно меняются, рвутся, словно старая кинолента, томят ожиданием чего-то, что разом разрешит все твои сомнения и все напасти. Но ребята не выходили ни у этого поворота, ни у следующего, и только время от времени на вершинах каменистых высоток вставляли бетонные обелиски.

Сбежали сосновые рощи
Напиться озерной волны.
И думалось чище и проще
О судьбах любви и войны...

Да, вблизи от этих серых остроконечных обелисков думалось чище и проще и о судьбах окаянной, почеловечески трудной любви и о войне, которую не стереть в памяти никаким силам на свете.

Измотанный тряской дорогой, я выходил из автомашины, бродил по старым, столь памятным местам, бродил там, где заросли мелкоколесьем окопы, покосились колы проволочных заграждений, где когда-то

...пели в потемках осколки,
Шарахались мины окрест,
Где высились низкие елки,
И каждая елка как крест.

Так оканчивалось стихотворение «Тропинку трава заплетает». Нашел я эти стихи в двухтомнике Михаила Дудина, участника финской кампании и — позднее —

обороны Гангута, обороны Ленинграда с первого до последнего дня войны. Но летом на ухабистой лесной дороге, ведущей в Кимас-озеро — конечный пункт моего маршрута, я этих стихов не помнил, однако почему-то думал, что стихи должны быть именно такими, и даже образ «каждая елка как крест» должен быть в этих стихах, прерываемых горьким, невольным вздохом сожаления.

Итак, я ехал в Кимас-озеро! Мне обязательно надо было попасть в этот далекий, почти у самой государственной границы поселок. Среди многих побуждений, которые владели тогда мною, не последнее место занимало и любопытство, желание посмотреть легенду моего детства. Ведь с Кимас-озером меня связывали воспоминания даже не юношеских (я не был там в дни войны), а детских лет.

Среди кинокартин, выпущенных в предвоенные годы, теперь редко упоминается одна — «За Советскую Родину». Эта картина была сделана по повести Геннадия Фиша «Падение Кимас-озера» и повествовала она о легендарном зимнем походе отряда Антикайнена по вражеским тылам в 1922 году. Помнится мне, на нас, учеников вологодской школы, эта картина оказала незабываемое впечатление. Наши лыжные прогулки приобрели новый смысл: вооружившись самодельными пистолетами, мы гонялись друг за другом по заснеженным перелескам с утра до позднего вечера. А через год лыжные батальоны шли через Вологду на фронт в Карелию, и в письме двоюродного брата Виктора, который был немногим старше меня, я прочитал странное название Териоки и узнал, как трудно выискивать «кукушек» в непроходимом лесу, как надо беречь и понимать лыжи, не раз спасавшие ему жизнь.

Забегая вперед, скажу, что, работая над очерками

о Карелии, я перечитал «Падение Кимас-озера» и еще раз, как говорится, пережил эту небольшую повесть, пережил тяготы и лишения, выпавшие на долю небольшого отряда курсантов-интернационалистов. Под командованием Тойво Антикайнена они совершили трехсоткилометровый переход по январским снегам, топям и озерам и, с ходу разгромив штаб белофиннов в Кимас-озерской, способствовали утверждению Советской власти в Карелии. Конечно, в книге немало наивной для современного читателя публицистики, характерных для того времени стиливых оборотов и речевых штампов, но ее пафос — пафос беззаветной преданности идеям Октябрьской революции, железной классовой дисциплине — невозможно не оценить и по сей день. Книга эта, в отличие от иных бравых сочинений, написанных по принципу «шапками закидаем», настойчиво учила упорству в достижении цели, мужеству, героизму.

Одним словом, «Падение Кимас-озера» была и остается честной, хорошей книгой писателя-современника.

И вот к вечеру, когда я был вконец измотан дорогой, наш мощный лесовоз подъехал к жердевому отводу, обычному для северных деревень. На узком полуострове виднелись дома поселка. К воде сбегали крохотные баньки, какие-то сарайчики. На другой стороне залива белела крыша лесничества с четким опознавательным знаком «Т»: Кимас-озеро!

Дождливым вечером, когда в жарко натопленной комнатухе было особенно уютно и домовито, мы разговорились с хозяйкой, Татьяной Егоровной, пожилой карелкой с морщинистым лицом и красными от воды и стужи руками. Я люблю деревенские сумерки: тикают ходики на стене, полумгла медленно заливает

комнату, и только изредка доносятся с улицы глухие порывы ветра и скрежет железного листа на соседней крыше. Лицо Татьяны Егоровны смутно белело в темноте.

— Знаете ли вы что-нибудь об Антикайнене? — спросил я хозяйку.

— Как же, как же, — охотно отозвалась она с тем певучим смягчением звонких согласных, которое невозможно передать на бумаге, но которое сразу же отличает жителя Карелии. И Татьяна Егоровна рассказала мне, как девочкой она увидела однажды возникшие в метели фигуры солдат. — Вон с того берега, — показала мне она, — слетели они на озеро, в белых балахонах, в шапках с красными звездами, стреляя на ходу, крича «ура». Тогда у нас и школу сожгли: в ней был штаб белофиннов, склады и домов несколько.

В рассказе моей хозяйки не было каких-то особенных деталей и подробностей, — да и что могла запомнить маленькая девочка в то метельное утро, когда отряд Антикайнена ворвался в деревню. Но то, что пожилая карелка сама видела этого легендарного человека и его бойцов, что я находился в деревне, которая была для меня раньше чем-то отвлеченным, условным, фантастическим, вроде клондайских зимовок в рассказах Джека Лондона, — все это взволновало меня неизъяснимо.

Книга детских лет соединилась с жизнью, и я не знаю, какому впечатлению мне отдать должное, что сильнее поразило меня.

кижи

Кижы ныне прославлены. Кижы знамениты. Кижский музей-заповедник называют «островом сокровищ», издадут о нем фотоальбомы, серии цветных

открыток, выпускают в продажу памятные сувениры. На дорогах Карелии то и дело встречаются рекламные щиты: «Кижы — уникальный архитектурный ансамбль: посетите Кижы».

Несколько раз в день от причалов Петрозаводска отходят вытянутые, как ракетноносцы, «Метеоры», юркие речные трамвайчики — и сотни туристов высыпают на зеленую луговину перед оградой Кижского погоста. Здесь их встречают опытные экскурсоводы и, не дав опомниться, внушают им, что перед ними замечательный памятник деревянной архитектуры, образец народного зодчества, что высота главной Преображенской церкви — 37 метров, иначе говоря, высота двенадцатизэтажного дома, что в основе церкви лежит восьмигранный сруб с четырьмя прирубам, на сруб поставлены еще два восьмерика, что вытянутые полуцилиндры кровель — это бочки, а на бочках расположены 22 главы, крытые лемехом — тонкими осиновыми пластинами, — и многое другое внушают ученые экскурсоводы своей менее ученой экскурсантаской пастве. Четко, деловито, как говорится, в стиле века.

Покаюсь, стиль этот я не то чтобы не принял совсем, нет, разумом я его принимал, но вот что касается души...

В общем, я не уехал из Кижей ни в этот день, ни на следующий. На противоположном берегу, перебравшись через пролив, я разыскал Алексея Ивановича Авдышева, чей «Кижский альбом» поразил меня еще в Москве. Жил Авдышев вместе с женой Валентиной Михайловной — тоже художницей — в просторной деревенской избе и встретил меня по-деревенски радушно.

— Однако, как вам Кижы? — спросил меня художник.

Я попробовал отшутиться, но потом признался, что ожидал чего-то большего. Когда с верхней палубы «Метеора» впереди замаячил погост, мне он показался вроде старинной этажерки, нереальным, хрупким, даже каким-то ненужным среди россыпи каменистых островов, вспененных вод, бездонного неба.

— Не так надо смотреть Кижь, как вы смотрели, на ходу, вполглаза,— с укором заметил мне Алексей Иванович.— Надо видеть их при восходе солнца и при закате, при вечернем тумане и нудном дожде, при тихом месяце и шестибальном шторме. Попробуйте, проплывите вокруг острова, поворачиваясь, как подсолнух на солнце, на Кижский погост,— и тогда вы, может быть,— он повторил в раздумье,— может быть, поймете, что такое Кижь!

Я с сомнением покачал головой.

...Случилось так, что на утлой лодчонке, взятой на прокат на турбазе, я выехал порыбачить в озеро за деревню Ольхино. К юго-западу от меня возвышалась церковь Преображенья. На плоском, слегка холмистом острове она невольно приковывала взгляд. И я стал машинально взглядывать на нее всякий раз, когда мою ветхую ладью разворачивало ветром к востоку. И чем чаще я взглядывал на нее, высившуюся на дальнем краю острова, тем мучительнее сознавал, что она все-таки близка мне. Напоминала она что-то неуловимо знакомое, виденное множество раз и вместе с тем небывало величавое, вечное. Погост, четко врубленный в небосвод, не казался как прежде хрупким, ненужным среди этой глуби и шири, он вписывался в темнеющую воду и в блекло-желтоватый край небес органично и просто, как вписывается... Нет, я не мог найти

сравнения, хотя чувствовал, что оно где-то рядом, где-то вблизи. Как вписывается — нашел! — как вписывается шатровая ель, столетняя ель, краса и гордость северных лесов. Да, именно так, как шатровая ель, поднимающая уступы ветвей в желтый закат. И народные умельцы, ставившие эту церковь, и мастер Нестор, который, по преданию, окончив строительство, бросил топор в Онего со словами: «Не было, нет и не будет больше такой!» — все они, безымянные плотники и мастеровые, выросли в заонежских лесах, сберегли в сердце своем любовь к лесам и к седым красавицам елям. Внутренним чувством, интуицией истинных художников они шли к этому сходству, догадывались о нем, может быть, добивались его, чтобы фантастически стройный, многоглавый, деревянный собор своими контурами не разрушал очарования закатов и восходов, лесных дебрей и светлых вод, а дополнял бы красоту каменистой, неласковой и все-таки щедрой к труженику матери-земли.

...Чтобы вернуться к себе домой, мне надо было или обогнуть оконечность острова, или, оставив на время лодку в кустах, пройти на турбазу пешком. Выдохнувшись с непривычки на веслах, я решил идти пешком. Дорога шла по гребню острова, стесненная с двух сторон неровными грядами камней. Вправо и влево от меня сбегали к воде пологие склоны. Эти склоны тоже были разделены оградами из крупных и мелких валунов. Солнце тихо сгорало в густеющей мгле. Я не видел погоста, он остался у меня за спиной, но чувствовал его, потому что нес в себе радостное для меня открытие. Я понял, по-своему понял мастерство строителей Кижей, и это понимание сделало меня богаче,

чем прежде. Каменная гряда неотступно бежала сбоку, и я смотрел на нее и размышлял теперь совсем о другом. Не доисторические ледники нагромодили эти камни, нет, они были все сложены человеческими руками!

Из поколения в поколение, из рода в род крестьяне острова Кижи, уходя с луговины или с клочка пашни, уносили с собой камни — не им самим, так их детям, внукам, правнукам этот камень мог поломать остро заточенную косу, повредить копыто коня, ушибить ногу. Они складывали их в груды, груды росли, ширились, пока наконец не образовали этот нескончаемый гранитный лабиринт. Эти лабиринты не попали ни в один путеводитель, ни в один фотоальбом. Но не будь их — вечных памятников крестьянскому труду и терпению, — не было бы Кижей, не было бы многовековой лесной сказки, срубленной из дерева и явившей миру, как щедро талантлив русский человек.

Вот почему теперь я говорю вместе со всеми: Кижи — уникальный архитектурный ансамбль, посетите Кижи.

СЕРЕБРИСТАЯ РЫБКА — АЙНО

У Маяковского есть одно любопытное признание. Поездки по стране, замечал поэт, встречи с людьми заменяют ему чтение книг. В поисках своего Сампо, своей творческой удачи я не раз испытывал нечто подобное. Так, в Петрозаводске художник и искусствовед Василий Михайлович Агалов, человек подвижнической биографии, много часов подряд рассказывал мне о знаменитых заонежских вышивках «тамбуром по филе», о пудожских и вепских рукодельницах, об инкрустациях по карельской березе, выполненных старыми ма-

стерами А. С. Гайдиным из Падмозера и С. И. Синявинным из деревни Дорохово. Ни одна книга по народным ремеслам, вероятно, не дала бы мне столько, сколько дал рассказ старого художника и знатока карельского прикладного искусства.

— Почему так прекрасны заонежские вышивки «тамбуром по филе»? — спрашивал он меня и тут же отвечал: — Да потому, что домотканое льняное полотно похоже по колориту на тусклое сияние северных снегов и «досюльный шов», как говорят мастерицы-вышивальщицы, делает необычайно выпуклым, рельефным весь рисунок. Так выпукла лыжня на снеговом насте, когда снег уже подтаял и вновь прихвачен мартовскими заморозками.

Позднее, разглядывая заонежские вышивки в Кижском музее-заповеднике, в том числе и изумительные художественные панно по мотивам «Калевалы», которые были изготовлены по эскизам В. А. Агапова, я удивлялся меткости этого образа. Действительно, выпуклый шов напоминал охотничью стежку на мартовских снегах Заонежья. Удивлялся я и другому.

В северных дебрях, где гора горе руку подает, где перекликается озеро с озером, народная фантазия поместила и светлую страну Калевалу, и страну мрака Похъелу, и таинственное царство мертвых Туони, Туонелу, в черных водах которой люди находят вечное небытие. Борьба мрака со светом, зла с добром олицетворяется в «Калевале» в образах злой старухи Лоухи, царствующей в Похъеле, и героев страны Калева — старого песнопевца Вяйнямейнена, знаменитого кузнеца Ильмаринена, удалого бойца Лемминкайнена.

Но «герои Калевалы» не боги, а люди, живущие полнокровной жизнью — эти слова О. В. Куусенена

позволяют многое понять в великом карельском эпосе. Люди эти живут в необычном мире, полном чудесных превращений и простодушной прелести, их речи, действия, поступки тоже необычны, сказочны, условны. Однако фантастика и условность в эпосе тесно переплетены с повседневным бытом пахарей, воинов, рыбаков, охотников — жителей страны Калевы, Калевалы.

Художественное панно в Кижях еще раз показало мне, что поэтический мир «Калевалы» безбрежен и безграничен. Этот мир дает возможность художникам самых разнообразных направлений и дарований испробовать свои силы, внести посильную лепту в пропаганду великого эпоса. В Карелии проводились и проводятся конкурсы на лучшее графическое оформление «Калевалы». Но сейчас мне бы хотелось рассказать об одном «внеконкурсном» вторжении в сказочную страну старого песнопевца Вийнямейнена.

На второй выставке «Советская Россия» среди тысячи трехсот работ, помнится мне, немало зрителей толпились у листов, подписанных мало кому известной фамилией: Т. Юфа. Эти листы выделялись резким своеобразием почерка художника, особой напряженностью и вместе с тем ажурностью рисунка, мягкими пастельными тонами — голубоватыми, блекло-зелеными, розоватыми, серебристо-серыми. Зрители невольно замедляли шаг и останавливались у этих листов, иллюстрирующих карельские руны. Но самое главное, пожалуй, было не в технике исполнения, а в том отчетливом ощущении сказочности, фантастичности мира героев Калевалы, от которого мы поотвыкли в других строго реалистических рисунках. Имя Т. Юфа запомнилось, и когда я приехал в Петрозаводск, то первым делом постарался разыскать иллюстратора к «Калевале». У меня не было

сомнения, что этот художник-график родился на севере, что его работы — сплав детских впечатлений и зрелых раздумий над эпосом. Я оказался прав и неправ. Тамара Юфа родилась и выросла в средней полосе России, в нынешней Липецкой области. В Карелию она попала по распределению как молодой специалист — выпускник Ленинградского художественного училища. Из трех названий — Кемь, Беломорск, Ладва — Тамаре понравилось по созвучию название Ладва, и она поехала в далекое поморское село учить деревенских ребятишек рисованию. Такова фактическая сторона дела. Но прав я оказался в другом, в том, что мир народной сказочности был всегда близок Тамаре Юфе, что она вначале инстинктивно, а затем осознанно тянулась к этому прекрасному миру.

...Деревня с жутковатым названием Волчья. Голодное, тяжкое время: война. Тамара живет у бабушки. Вечерами, когда за плотно занавешенными окнами раздавался посвист метели да редкие винтовочные выстрелы, бабушка начинала рассказывать сказки. От этих сказок замирало сердце. А по утрам хотелось как-то рассказать об этих сказках самой. Первые рисунки где попало — углем на печке, на случайном клочке бумаги, на фанерном листе. Затем Задонск. Школа. Первый экзамен в Елецком художественном училище — и двойка по живописи: в деревне некому было подсказать, что краски можно смешивать. Но в училище все-таки удалось поступить, а после того как оно было расформировано, заканчивать учебу довелось уже в Ленинграде. Ну, а потом Ладва. Снова длинные метельные вечера — и увлечение «Калевалой». Многие руны здесь, в Ладве, звучали неотступно, запоминались наизусть, перечитывались десятки раз. Высоченные деревянные дома, синеющая кромка лесов, глухая

снежная пустыня — все это сближало с карельским эпосом, с народными сказками и песнями Беломорья. На праздниках хозяйки иногда доставали из сундуков старинные наряды, и Тамара с любопытством разглядывала, запоминала затейливые узоры вышивок и кружев, покрой и цвет нарядов. Так, казалось бы, далекий мир героев Калевалы обретал художественную плоть, становился второй жизнью художницы.

И вот на выставке молодых художников Карелии я снова встречаюсь с листами Тамары Юфы. Ее «Айно» — одна из самых чистых, самых поэтических созданий «Калевалы» — удалась ей не меньше, чем образ Ярославны из «Слова о полку Игореве». Айно на листе художницы вся была соткана из легких замысловатых, текучих линий, и только ее лицо, ее губы, ее печальные глаза были удивительно знакомы, говорили мне о том, что такая девушка есть, должна существовать на свете. А ведь в этом-то и заключается главная идея образа сестрицы Ёукахайнена, ставшей таинственной серебристой рыбкой и скрывшейся в волнах от старого Вьяйнемейнена, ее неудачного жениха: она скрылась в озерной глубине, но навсегда осталась в памяти народной, а значит, навсегда осталась и в наших сердцах.

...Далеким кружным путем — через пороги Нагеуса, через озеро Нюк, через поселки лесорубов — я возвращался к линии железной дороги. Но еще долго, после того как я вернулся в Москву, вытряхивал я из карманов пиджака рыжие хвоинки, разглядывал их на ладони и улыбался и вспоминал густой смолистый дух сосновых рощ, прогретых солнцем, и голубизну водной дали. Где-то там, в этой дали, плыла рыбацья лодка, заваленная сеном.

Одна женщина сидела на передней скамейке, дру-

гая на корме помогала ей маленькими веслицами, от-
гребаясь по карельскому обычаю от себя. Лодка шла
споро, и ни встречная волна, ни клубящиеся на гори-
зонте тяжелые дождевые тучи не могли остановить ее
легкого движения. До свидания, северная моя сестра
Карелия! До новых встреч!



ОТЧИЗНЫ
СЛАДКИЙ ДЫМ



 РЕКА ВРЕМЕН

«Устюжна железная, а люди в ней каменные», — такая пословица сложилась в Заволочье в те времена, когда городок на медлительной Мологе назывался не просто Устюжной, а Устюжной Железнопольской. И причиной тому явился, надо думать, не только замкнутый и твердый характер местных жителей, в большинстве — расковщиков-кузнецов, но и болотная руда, ржавица, которую в окрестностях Устюжины добывали едва ли не в каждой деревне. Эту руду копали на Железном поле, в старом и новом Загрьивье и во многих других поселениях, расположенных к востоку от Устюжны, переплавляли в рукодельных домницах в кричное железо — твердый, темно-синий сплав, а затем ковали из него гвозди, топоры, косари — тяжелые ножи-тесаки, пригодные для колки поленьев на лучину, и прочие нужные для крестьян изделия. Но не только мирный крестьянский инвентарь умели делать устюжане. Во время «панщины» расковщики-кузнецы лили ядра и пушки, катали дробь, изготавливали пики и бердыши, вооружали защитников Устюжны, которые прославились стойкой обороной родного города от шляхтичей и воровских людей, проникших на Север. Ратная доблесть устюжан, вероятно, также нашла отражение в старинной пословице... Можно было бы вспомнить Северную войну, когда именным указом Петра I вблизи городка были построены Ижинский и Тырпицкий железоделательные заводы, когда кузнецы-умельцы

ладили не пики — рогатины, не пушки Смутного времени, а оснастку для российского флота и мушкеты для петровских полков. Можно было бы вспомнить войны с Наполеоном, нашествие двенадцати языков на Россию...

Однако к началу прошлого века Устюжна превратилась в медвежий угол Новгородской губернии и оставалась такой долгие, долгие годы. Старинная поговорка, если и не позабылась, то, во всяком случае, была неизвестно переименована местными жителями и к началу XX столетия, когда лишь немногие кустарни занимались по деревням железным промыслом, когда о былой славе Железного поля было забыто, обрела совсем другой смысл и другое звучание.

Не кто иной, как Александр Иванович Куприн, желая воссоздать северную глушь и сонную одурь уездного городка, в котором нет ни библиотек, ни концертов, ни лекций с волшебным фонарем, ни памятников знаменитым согражданам, а есть только субботние базары, церкви, мужики возле казенки да богобоязненные, суровые и подозрительные мещане, на лету подхватил поговорку и однажды написал — здесь обыватели говорят о себе: «дома у нас каменные, а сердца железные».

Речь шла об Устюжне, хотя Куприн и не назвал ее. К чему? Разве одна Устюжна пребывала до революции в таком или почти таком же сонном безмолвии и полной неизвестности?..

...Пожалуй, каменной и железной — в нашем сегодняшнем понимании этих слов — Устюжну было бы рискованно назвать и сейчас. Нет, этот небольшой райцентр, расположенный на западе Вологодской об-

ласти, меняется медленно, по крайней мере внешне. Как и в начале века, над ним господствует деревянная пожарная каланча, на которой — под крышей-грибом — ходит пожарник в медной каске. Как и тогда, затра-вяневшая Молога оmyвает крутой берег — Правую набережную Устюжны, на которой дома с мезонинчиками и балкончиками лишь постепенно вытесняются зданиями из стекла и бетона. Как и тогда, колодезные журавли виднеются на уличных задворках. Как и тогда, в гостинице (низ — краснокирпичный, верх — деревянный) полы в коридорах скрипят, в номерах в летнюю пору жарко, и только сонная дежурная принесет вам не тульский самовар, а направит в кубовую, к электрокипятильнику.

Но при всем своем северорусском старинном обли-чии Устюжна все-таки приобретает черты зеленого благоустроенного пригорода — пригорода Череповца. Череповецкие металлурги, выходя на пенсию, охотно строят здесь дачи. Правда, до Череповца двадцать минут лету, но металлурги — народ денежный. Кроме того, район славится развитым сельским хозяйством: не случайно много лет подряд устюжане держат переходящее знамя обкома. В окрестностях города ведется современное молочное и овощное хозяйство, ширятся посадки скороспелых сортов картофеля. Ожидает Устюжна перемен к лучшему и в смысле автодорож-ной связи с внешним миром — в 1972 году к ней долж-но подойти асфальтированное шоссе, которое соеди-нит городок с Ленинградом, Череповцом и Вологдой.

Таких неоспоримых примет времени немало: вме-сто старого перевоза — огромный деревянный мост, построенный в послевоенные годы. Вместо земской больницы — новая поликлиника, детские сады, детские консультации... Районная библиотека насчитывает

десятки тысяч томов... Лекции с волшебным фонарем показались бы современным зрителям, заполняющим кинотеатры и дома культуры, забавным анахронизмом.

Что еще?.. Памятник знаменитым согражданам!..

Вот здесь-то и начинается известность Устюжны и в масштабе Вологодской области, и, может быть, всего Северо-Западного края... Эта известность имеет малое касательство к дедовским домницам и крицам, но к ратной славе прадедов-устюжан, но к многовековой истории Железнопольска она имеет прямое отношение. Эта известность вернула старинной пословице про Устюжну Железнопольскую ее первоначальный патристический смысл. И если городок на Мологереке в наши дни стал действительно известен северянам, то произошло это благодаря глубочайшим переменам в народном самосознании, благодаря ленинским декретам о праве народа на всеобщее образование.

Через три месяца после установления Советской власти, в январе 1918 года, В. И. Ленин говорил: теперь «все чудеса техники, все завоевания культуры станут общенародным достоянием».

И они стали общенародным достоянием!

Ленин говорил: построение нового общества невозможно без освоения культурного наследия прошлых веков, без всего, что создал человеческий ум и весь его гений. И это культурное наследие стало доступно широчайшим массам России, стало одной из основ их социалистического возрождения и обновления.

В те дни, когда сторонники «чистой» пролетарской культуры и «левые» художники проповедовали и проводили в жизнь идеи об «уничтожении архитектурного идиотства» — старинных церквей, дворянских

усадеб, дворцов, монументов, имеющих художественное и историческое значение, — в те дни в больших и малых городах России появился плакат с надписью: «Граждане, храните памятники искусства и старины!»

Небезынтересна история создания этого плаката. Однажды Владимир Ильич Ленин предложил наркому просвещения А. В. Луначарскому найти художника, который смог бы быстро выполнить чрезвычайно важное поручение. Выяснилось, что речь идет о плакате, призывавшем граждан революционной России беречь и хранить памятники старины и архитектурные ансамбли, имеющие историко-познавательный и художественный смысл. Луначарский обратился к художнику Н. В. Купреянову, который и выполнил ленинское поручение.

Завет Владимира Ильича — бережно хранить «основные столпы нашей культуры» — опирался на народные чаяния и надежды, он был помножен на волю и целеустремленную деятельность нашей партии, всего нашего народа.

Отрадно отметить воплощение этого завета в жизнь, в действительность в наши дни. С высокой трибуны XXIV партийного съезда было сказано о значительной работе, проделанной за последние годы по воспитанию у советских людей чувства гордости и уважения «к достойным страницам прошлого нашей страны».

И как из великого множества потоков образуются полноводные реки, так из усилий неисчислимого количества людей складывалась и складывается эта работа по воспитанию у новых поколений чувства любви к Родине, к родному краю, к знаменитым согражданам. Вот почему, приоткрывая всего лишь одну достойную страницу прошлого Железнополья, не

хотелось бы забывать об усилиях этих скромных тружеников на ниве краеведения и просвещения.

В пятнадцати километрах от Устюжины находится старинная дворянская усадьба Даниловское. Это — родовое поместье Батюшковых, оставивших приметный след в хрониках государства Российского, а более всего — в истории отечественной литературы. Именно в Даниловском прошли детские годы Константина Николаевича Батюшкова, который, по выражению Белинского, силой и самобытностью таланта, истинным артистизмом и изящным эпикуризмом «продвинул» русскую поэзию, «много и много способствовал тому, что Пушкин явился таким, каким явился действительно»... «Одной этой заслуги со стороны Батюшкова, — продолжал мысль великий критик, — достаточно, чтобы имя его произносилось в истории литературы с любовью и уважением».

По семейному преданию, род Батюшковых происходил от Батыша, татарского хана, влюбившегося в русскую боярыню и перешедшего на службу к московским князьям. Такова семейная легенда. Первое же достоверное сведение о селце Даниловском, «а в нем двор помещиков», засвидетельствовано Бежицкими писцовыми книгами за 1628—1629 год. Изысканиями историков-краеведов, кроме того, установлено, что один из рода Батюшковых — Иван Никитич — получил подтверждение на право владения отцовскими поместьями в Есеницком стане, в том числе и Даниловским, еще в 1612 году. Подтверждение старых прав и новые поместья, которыми «жалованы были» Батюшковы, совпадает со временем «панщины» и защитой Устюжны Железнопольской от вражеских от-

рядов. Надо полагать, служивые люди Батюшкова сыграли не последнюю роль в кровавых событиях Смутного времени, в борьбе устюжан против шляхтичей и русских воровских людей. Да и в дальнейшем Батюшковы выполняли важные поручения московского правительства и были участниками многих войн, которые вела Россия за свою независимость.

Опустим другие подробности из семейных хроник рода Батюшковых — они не менее любопытны: корни их родословного дерева вплетались на протяжении веков в важнейшие события истории Устюжны, Заволочья и всего нашего государства. Но прежде чем перейти к Даниловскому начала прошлого века, когда оно принадлежало отцу поэта и в нем бывал Константин Николаевич, следует сказать о внучатых племянниках поэта — Василии Дмитриевиче и Федоре Дмитриевиче.

Василий Дмитриевич Батюшков, еще до революции считавшийся крупным специалистом в области механизации сельского хозяйства, после Октября явился инициатором всероссийского конкурса по созданию электропахотных орудий. В октябре 1921 года на поле Бутырского хутора, где сейчас построен новый московский микрорайон, в торжественной обстановке состоялось первое испытание электроплуга. Сохранилась фотография тех лет: рядом с Владимиром Ильичем Лениным и Михаилом Ивановичем Калининым — Василий Дмитриевич Батюшков. Впоследствии видный ученый принимал участие в создании плана ГОЭЛРО, был преподавателем Петроградского политехнического института и Тимирязевской сельскохозяйственной академии. Обширны и его научные труды в области индустриализации сельского хозяйства.

Родовое же гнездо Батюшковых — Даниловское,

запущенное и бездоходное, принадлежало до революции Федору Дмитриевичу Батюшкову: оно досталось ему по наследству от Помпея Николаевича, сводного — по отцу — брата Константина Николаевича Батюшкова. Федор Дмитриевич был в свое время известным литературным критиком, литературоведом, блестящим знатоком в области западной и, в частности, итальянской литературы. Общительный, доброжелательный, отзывчивый, Федор Дмитриевич состоял в дружеских отношениях со многими писателями начала века. Его известности способствовали не одни лишь привлекательные черты его характера, но и выступления в печати: он много писал о классиках русской и зарубежной литературы, о своих современниках Леониде Андрееве, Бунине, Куприне, Брюсове, Соллогубе, Бальмонте, Андрее Белом. После революции Федор Дмитриевич Батюшков был привлечен в качестве редактора и комментатора к работе издательства «Всемирная литература», идея создания которого, как известно, принадлежит А. М. Горькому.

От Устюжны в Даниловское и дальше ходит рейсовый автобус: добраться туда проще простого, легче легкого, как говорят в здешних краях... Дорога сбегает с одной возвышенности и неторопливо подымается на другую, минует две-три крохотные деревеньки — в одной из них издали можно угадать бывшую земскую или министерскую школу. Как угадать? А по темным елям, которые окружают здания деревенских школ на Севере. Такой обычай завели когда-то сельские учителя, ходоки в народ, цвет русской интеллигенции. Может быть, это Никифоровская школа? Нет, она осталась где-то в стороне.

Так, поскрипывая, побряхывая, автобус идет от остановки к остановке, постепенно пустеет и въезжает в сосновую аллею: сосны стоят редко, покосившись в разные стороны, обнажив потемневшие корни, которые намертво вросли в обочины дороги. Сосны — старые, с обломанными, опаленными молниями сучьями-руками, с желтоватой и запыленной хвоей.

Прямо на холме — Даниловское. Из-за разросшихся лип и кленов «господского дома» не видать. Вблизи это типичнейший дворянский особняк начала XIX века с белой деревянной коллонадой, просторной террасой, вышкой — то ли для астрономических наблюдений, то ли для книжных уединений. Да и сам липовый парк, заглушенный зарослями бузины, запустевший, задичавший за долгие годы, с едва приметными аллеями, приятен для медленных прогулок и чтения любимых книг. Он тенист и прохладен, он таит в себе очарование старины и покоя, хотя и то и другое, может быть, только мечтание, мимолетный отзвук все тех же когда-то в юности прочитанных книг. Одно можно точно сказать — и в начале века парк был именно таким: даже днем сквозь листву не проникал солнечный свет, и на аллеях было так сыро и темно, что вода в пруду, расположенном в центре, казалась совсем черной. Есть все основания верить этому свидетельству: оно принадлежит женщине, наделенной литературными способностями и редкой наблюдательностью. А вот лет полтораста тому назад и парк, и сосновая аллея, ведущая к усадьбе, и сама усадьба были совсем иными.

В 1815 году после долгого перерыва в Даниловское приехал Константин Батюшков. Его отец, Николай

Львович, затеял в ту пору перестройку усадьбы. Пленные французы, находившиеся в Устюжне, построили в Даниловском новый господский дом, домовую церковь, напоминавшую костел, разбили парк по плану Версальского и посадили сосновую аллею, по которой теперь каждый день ходят рейсовые автобусы и пробегают совхозные грузовики. Посещение Даниловского не принесло поэту ожидаемых радостей, а оставило в душе печальный след — дела Николая Львовича были вконец расстроены, здоровье его сильно пошатнулось. Константин Батюшков проехал в Хантоново, в имение сестры — Александры Николаевны. Но и там был вынужден сразу же включиться в хлопоты о закладе имения в опекунский совет. «Отчизны сладкий дым» (как сказал Константин Батюшков в «Послании И. М. Муравьеву-Апостолу») горчил и туманил глаза навернувшимися слезами.

Но теперь — из исторического далека — очевидно, что для Устюжны окончание Отечественной войны 1812 года было отмечено именно этим господским домом, церковью (к сожалению, впоследствии разрушенной), парком и сосновой аллеей... Равно как окончание Великой Отечественной войны было отмечено деревянным мостом через Мологу, построенным пленными немцами. Не правда ли, многозначительный факт в истории Железного поля?! Стоило бы иногда напоминать о нем недругам земли русской.

Советскую общественность города не могла не волновать судьба Даниловского. Многие устюжане знали, чем примечательна эта усадьба, но не было никаких примет, которые бы выделяли Даниловское среди бывших дворянских поместий Заволочья. Ничто

здесь не говорило о том, что судьба сельца Даниловского тесно связана с судьбой рода Батюшковых и одного из талантливейших представителей этого рода — Константина Батюшкова. Со временем в Устюжне сложился актив, в который входили учителя-пенсионеры, местные журналисты, краеведы, служащие и колхозники. Это было подлинно народное начинание — увековечить память известного поэта, земляка, учителя Пушкина. Начинание породило идею — создать в Даниловском историко-литературный музей, а возникнув, идея не давала покоя ни членам актива, ни, в первую очередь, сотруднику местного краеведческого музея Аркадию Васильевичу Боброву. По внешнему облику застенчивый и тихий, этот человек оказался знатоком жизни писателей, так или иначе связавших свое творчество с Устюжной, пропагандистом истории родного края... Усилия актива принесли ожидаемые плоды.

7 сентября 1960 года Даниловский народный музей был открыт.

Открытие музея было приурочено к 90-летию со дня рождения А. И. Куприна. Но почему, собственно говоря, Куприна, а не Константина Батюшкова?

Любителям литературы известно — Александр Иванович Куприн родился в Пензенской губернии в городе Наровчат, литературную деятельность начинал в Киеве, годы странствий провел на Волыни, где служил управляющим имения в Ровенском уезде, в Донбассе, на Юзовском заводе, в оживленных причерноморских городах Одессе и Балаклаве. Короче, в представлении широких читателей имя Куприна — автора «Молоха», «Поединка», «Олеси», «Листригонов», «Гамбриниуса», «Гранатового браслета» — связывается, прежде всего, с югом России.

И все-таки Даниловское сыграло видную роль в творческой биографии писателя, и народный музей по праву был назван Даниловским историко-литературным музеем Батюшковых и А. И. Куприна.

Вот здесь-то и следует приоткрыть новую страницу в истории усадьбы, которая вошла в художественную литературу, как в нее вошли Званка и Белёв, Михайловское и Карабиха, Степановка и Овстуг, Шахматово и Озерки.

Дело в том, что А. И. Куприн был знаком с Ф. Д. Батюшковым. Это знакомство состоялось в начале девятисотых годов и вскоре перешло в многолетнюю дружбу. Владелец Даниловского — Федор Дмитриевич — настоятельно советовал своему другу поехать в устюженские края, поохотиться в медвежьем углу, отдохнуть, пописать, присмотреться к нравам и обычаям жителей северной России, которой Куприн, несмотря на частые переезды и странствия, почти не знал. На такой поездке настаивали и близкие Куприну люди: петербургская богема затягивала его, а «эфпиопы» — так Куприн называл завсегдатаев литературного кабачка «Давидка», ставшего, по словам современников, постоянной резиденцией писателя, — мешали ему, льстили, кутили за его счет и не оставляли времени для серьезных литературных занятий. Уставший от скандальных хроник в газетах, от непризнанных и погибших «гениев» из «Давидки» и «Капернаума», Куприн поддался на уговоры и весной 1906 года выехал в Устюжну. Несколько ранее туда переехала его семья — мать Любовь Алексеевна, жена Мария Карловна Давыдова-Куприна с дочерью Лидой и свояченицей Д. Н. Мамина-Сибиряка Елизаветой Морицевной Гейнрих¹. И если Марии Карловне,

¹ С 1909 года — жена А. И. Куприна.

которой и принадлежит описание старинного парка, приведенное выше, усадьба сразу же не понравилась, то по-иному воспринял эту поездку в Устюжну Александр Иванович Куприн.

Плыл он от Рыбинска до Весьегонска и далее по Мологе до Устюжны на маленьком пароходике крестьянского общества. Десять лет спустя в рассказе «Груня», который писатель любил и неоднократно правил, с поразительной памятью он воссоздал детали этого путешествия. Конечно, не только из этой поездки, а из многих других, последовавших за нею, вынес Куприн запах машинного масла и краски от трубы, вид мужиков, которые сидели кружком на корме, ели руками селедку с хлебом, запивая ее водою, почерпнутой из-за борта пароходным ведром, вид пламенеющей на небе и в воде вечерней зари, когда «в дальней темной дереvушке все стекла горят праздничным красным светом заката: точно там справляют свадьбу...» Он запоминал и простые разговоры пассажиров, их реплики о мастерах-черепанах, строивших беляны и расшивы, а летом спускавших их на Шексну и Мологу, о пристанях, мимо которых проплывал пароходик. И возникал в его воображении образ Аграфены, попросту Груни, рассудительной и наивной, доверчивой и в чем-то лукавой, в чем-то себе на уме. Ее-то да еще скромную красоту северной реки Куприн и противопоставил человеческой мелюзге, олицетворенной в образе петербургского сочинителя Гущина. Сей продукт околелитературной среды, которую Куприн глубоко презирал, плывет в родные края «прильнуть к пуповине». Но ни живое чувство, ни простое человеческое слово не способны пробиться сквозь напыщенность и самовлюбленность Гущина, выставлявшего себя народолюбцем, сыном пастуха, а

на деле бывшего сыном урядника в глуши Весъегонского уезда...

Увиденное в жизни и примысленное к этим наблюдениям, документально-достоверное и овеянное преданиями, возвышенно-лирическое и заниженное до пародии, до гротеска — все взаимно переплеталось у Куприна и образовывало сложную художественную ткань его повестей и рассказов. Этими же чертами отмечены «Обида», «Река жизни», «Как я был актером», «Изумруд», «Черная молния», «Попрыгунья-стрекоза», «Суламифь», «Жидкое солнце» и другие произведения, написанные в Даниловском или замысленные там.

Едва Куприн приехал в Даниловское, едва он познакомился с окрестностями усадьбы и устроил себе на чердаке рабочий кабинет, где плотники установили большой белый стол — такой стол был у него и в Петербурге, — как поспешил сообщить своему другу:

«Дорогой Федор Дмитриевич,
У Вас здесь великолепно. Низко кланяемся Вам и благодарим. Реку ищу второй день, но не могу найти. Впрочем, не отчаиваюсь... Внизу цветет сирень, в саду кричат птицы — чудесно...

Жму Вашу руку. Ваш А.Куприн».

Несколько в ином настроении была Мария Карловна Давыдова-Куприна. В письме от 6 мая 1906 года тому же Ф. Д. Батюшкову она жаловалась: «Если с Алекс. Ив. спадет «увлечение деревней» и он будет надолго уезжать или пропадать, по своему обыкновению, на целую ночь, то мне будет немного страшно. Полы трещат, всю ночь скребутся мыши, комнаты большие и пустынные — так и ждешь, что где-нибудь появится привидение».

Но «увлечение деревней» не спало с писателя ни

в то лето, ни в последовавшие годы, хотя ради справедливости заметим, что мрачные предчувствия Марии Карловны подтвердились: и «привидение» было в старом доме, и в их жизни наметился разлад, который в конце концов привел к официальному разводу.

Библиотека — вот что сразу же привлекло внимание Куприна в Даниловском: Александр Иванович любил читать запоем, забыв все и вся, а библиотека в этом смысле — немалый соблазн. Еще бы! Она собиралась Батюшковыми и едва ли не полтора столетия, и числилось в ней несколько тысяч томов. В ней были сотни книг на французском и немецком языках, были книги по истории литературы и философии, книги с пометками Константина Батюшкова, книги, приобретенные его отцом, его братом Помпеем Николаевичем и внучатым племянником Федором Дмитриевичем. Но всё-всё в этом обветшалом доме погибало от плесени и сырости: и редкие издания, и старинная портретная галерея в двухсветном зале, и разбитые, с пожелтевшими клавишами клавикорды, и разрозненная случайная мебель полупустых комнат. Куприн не преминул отметить запущенность даниловского особняка в одном из своих рассказов. И все-таки нередко он дни и вечера проводил в библиотеке, особенно в период работы над «Суламифью». По воспоминаниям Марии Карловны, едва приехав, Куприн взял том Державина, захлопнул его и, сказав — «открою что-нибудь наугад», — прочел:

Река времен в своем стремленье
Уносит все дела людей.
И топит в пропасти забвенья
Народы, царства и царей...

— Какое великолепное стихотворение! — воскликнул Александр Иванович. — Звучное, торжественно

пышное и в то же время полно глубокого содержания. Думал я о том, как назвать мой новый рассказ. Все казалось мне мелким и некрасивым. «Река жизни» — так он будет называться...

Следует сказать несколько слов о дальнейшей судьбе даниловской библиотеки. Уже в эмиграции Александр Иванович Куприн написал статью, посвященную памяти Федора Дмитриевича Батюшкова, скончавшегося в 1920 году.

«Его очень любили простые люди,— писал Куприн.— Соседние с его бездоходным имением в Устюженском уезде мужики из Трестенки, Бородино, Высотина и Никифоровской, конечно, поделили между собой его землю... но все, как один, решили: «Усадьбу Федору Дмитриевичу оставить, старых лип не рубить, яблук не красть и, спаси господи, не трогать книг...»

Примечательно это авторское «спаси господи», передающее и отношение Куприна к устюженским крестьянам и отношение крестьян к книжным богатствам Даниловского имения.

Так была — в основе своей — сохранена библиотека рода Батюшковых. В 1937 году устюженский учитель А. А. Поздеев составил опись оставшихся книг, тогда же переданных в Ленинградскую библиотеку имени Салтыкова-Щедрина.

«ЧЕРНАЯ МОЛНИЯ! ГДЕ ЖЕ ОНА!»

В Куприне даниловского периода поражает boldость духа, общительность, обилие творческих замыслов и свершений. Конечно, бывали вяжущие мглистые

вечера, когда окаянная, мертвая, зеленая скука обволакивала мозг и парализовала тело, как это случилось с героем рассказа «Черная молния», который имел несчастье остановиться в уездной гостинице «Орел».

В Устюжне действительно существовали дешевые номера с этим высокопарным названием: принадлежали они бр. Гаммам и именовались в народе «Тараканья щель». Но большую часть пребывания в Устюжне и имении Батюшковых Куприн все-таки был жизнедеятелен и энергичен. Его продолжали волновать «проклятые» вопросы того времени, журнальная полемика. И хотя, предположительно, первое лето он провел в башенке для книжных уединений, она не стала для него кельей затворника. Писатель-демократ охотно принимал участие в начинаниях местной интеллигенции, будь то любительские спектакли в Народном доме или рождественская елка в Никифоровской школе.

А сколько радости доставляла Куприну охота с гончими на зайцев-беляков, медвежьи, волчьи, лисьи облавы в густых лесах Устюжны! С каким чувством волнующей, приятной бережливости ступал лирический герой рассказа «Черная молния» на «ровный, прекрасный, ничем не запятнанный снег, мягко, упруго и скрипуче поддававшийся под ногою!» И если обывательское болото, представленное в том же рассказе господами и дамами из устюженского «высшего круга», нашло в лице Куприна страстного обличителя, если образованные и необразованные мещане, у которых дома — каменные, а сердца — железные, платили писателю откровенной неприязнью и потаенной злобой, то сельские учителя, крестьяне, охотившиеся вместе с Куприным, служащие, вроде почт-директора

В. Голованова, на всю жизнь сохранили о нем добрую память.

Одна из заслуг постоянно действующего совета, который возник при Даниловском народном музее, и состоит в том, что совет — десятилетия спустя — собрал редкие фотографии, письма, воспоминания устюжан, встречавшихся с Куприным, бывших с ним в знакомстве, а то и в дружбе. Колхозник деревни Трестенки А. В. Коршунов, которому довелось охотиться с писателем, рассказал об этом активистам музея. Его устные рассказы были записаны и переданы в музейный фонд. Дочь круглицкого почт-директора А. В. Голованова передала в музей подлинные письма, написанные А. И. Куприным ее отцу. Учитель-пенсионер И. П. Коновалов прислал воспоминания о встречах с писателем. Заслуженная учительница РСФСР О. П. Мстиславская опубликовала в 1958 году мемуары, проливающие свет на предысторию рассказа «Попрыгунья-стрекоза».

...В 1906 году в Никифоровской министерской школе была устроена елка в честь попечителя школы, уездного нотариуса Ф. И. Раевского. На елку приехали Александр Иванович Куприн, Евсей Маркович Аспиз, балаклавский знакомый писателя, и еще кто-то из петербургских гостей. О. П. Мстиславская, молоденькая учительница Никифоровской школы, хорошо запомнила импровизированный детский спектакль на этой елке. Среди других номеров ученица Нюра Дмитриевская и мальчик-ученик прочитали басню И. А. Крылова «Стрекоза и муравей», прочитали ее в лицах и были с одобрением встречены взрослыми зрителями. Такова предыстория рассказа «Попры-

гунья-стрекоза». Но рассказ не документальный очерк, хотя начало его и приближается к жанру очерка. Это — подлинно художественное произведение. Детская елка в Никифоровском послужила писателю канвой для горестных размышлений о «ложном народном духе», о разобщенности народа и интеллигенции, о той пропасти непонимания, которая разделяла тех и других.

В окружении бедных деревень, лесов, пашен, среди населения, которое, по словам писателя, говорило на непонятном, певучем, цокающем и гокающем языке, которое на приезжих смотрело исподлобья, Куприна нередко посещали мысли не только о разобщенности интеллигенции и народа, но и неизбежном крушении всего существующего миропорядка. Эта мысль и радовала и страшила писателя. При виде обывательской трясины он страстно вопрошал: «Черная молния! Где же она? Ах! Когда же она засверкает?» И страшился грядущего возмездия, страшился многомиллионного великана, этого, как писал Куприн, ребенка и зверя, этого мудреца и животного. Вот почему «проклятая фраза»: «Ты все пела, это — дело, так поди же попляши», исполненная хором деревенских учеников, которые пришли в школу из глухих и заброшенных деревень Трестенки, Бородина, Никифоровской, самого Даниловского, стала грозным предупреждением кучке интеллигентов, столпившихся в комнате, особенно приезжим господам, людям свободных профессий, эстетам, искавшим «аристократической, изысканной красоты в звуках, словах и красках». В воображении одного из них и возникает символический образ загадочного, великого и самого угнетенного народа на свете — русского народа.

«Что нас связывает с ним? — думает рассказчик.—

Ничто. Ни язык, ни вера, ни труд, ни искусство. Наша поэзия — смешна ему, нелепа и непонятна, как ребенку. Наша утонченная живопись — для него бесполезная и неразборчивая пачкотня. Наши богоискательство и богостроительство — сплошная блажь для него, верующего одинаково свято в Параскеву-Пятницу и в лешего с баешником, который водится в бане...»

И грянула революционная гроза, в огненном сверкании которой Куприну все чудилась коварная мужицкая улыбка — «так поди же попляши», — чудилось возмездие за неисчислимые беды, жертвы, страдания, за ту духовную темноту и безграмотность, в пучину которых бросило народ самодержавие.

В конце 1920 года участнику революционных событий в Череповецкой губернии, крестьянскому ходоку Ивану Васильевичу Тимохину довелось побывать в Москве на сессии ВЦИКа. Мало того — побывать, но и переговорить с Владимиром Ильичем Лениным. Тимохин рассказал Владимиру Ильичу о крестьянских думах и настроениях, постарался начистоту изложить просьбы и высказывания крестьян.

— Ну, а теперь скажите, — внезапно спросил Владимир Ильич, выслушав ходока, — как у вас используются бывшие помещичьи усадьбы?

Тимохин ответил, что почти во всех организованы совхозы и коммуны.

Именно такая сельскохозяйственная коммуна и была организована в селе Даниловском, в бывшем имении Батюшковых, перешедшем в руки народа. А. И. Куприн, находившийся в то время в эмиграции, считал возможным и нужным сказать не о бессмысленном варварстве крестьян, не о разрушительных якобы

наклонностях русских людей вообще, как утверждали другие писатели-эмигранты, а об уважительном отношении пахарей к Федору Дмитриевичу Батюшкову, к его великолепной библиотеке, сохраненной жителями окружающих деревень.

...Старинный даниловский особняк заново реставрирован. И в двухсветной старинной зале, и во многих комнатах располагаются экспозиции филиала устюженского краеведческого музея, каким стал народный музей. Да и тенистый липовый парк, примыкающий к дому, хочется верить, станет мемориальным парком. Вот он — устюженский памятник знаменитым согражданам! Вот оно, свидетельство любви к родным местам, к достойным страницам прошлого своего края! И не есть ли история создания этого музея — вся от начала до конца — одна из самых увлекательных и поучительных историй нашего времени?

В чужбинных днях

...Куприн тосковал в эмиграции о родине. «И так хочется,— писал он в январе 1927 года Илье Ефимовичу Репину,— настоящего снега, русского снега — плотного, розового, голубоватого, который по ночам фосфоресцирует, пахнет мощно озоном; снега, который так сладко есть, черпая прямо из чистейшего сугроба...»

Кто знает, может быть, в тот самый миг, когда складывались строки письма, Александр Иванович думал о Даниловском, о сугробах, засыпавших усадьбу, о мужиках, ходивших вместе с ним на охоту. В его рассказах эмигрантской поры немало превос-

ходных описаний северной природы, немало обращений к «бывалому и бывшему», ко всему, что оставило в его душе глубокий след, навсегда отпечаталось в памяти. Не случайно Константин Бальмонт в стихах, посвященных Куприну, подчеркнул прежде всего эту — глубоко русскую — особенность его облика и его произведений:

Здесь, в чужбинных днях, в Париже,
Затомлюсь, что я один, —
И Россию чуют ближе
Мне дает всегда Куприн.

Да и в письмах Александра Ивановича, обращенных к его заграничным корреспондентам, в частности Иосифу Адольфовичу Левинсону, постоянно возникают те или иные ассоциации с родиной, с Россией: то в Париже Куприну чудится совсем русская весна, тягучая, затяжная, медлительная; то он признается, что предполагал Атланту, город в США, каким-то провинциальным городишком, вроде Устюжны или Череповца; то, наконец, горько-горько пошутит: «Когда меня спрашивают: как поживаете? — я отвечаю: слава богу, плохо».

В рассказе «Завирайка», опубликованном в 1928 году в Париже, Куприн вновь припомнил лесную северную глухомань, семейные хроники рода Батюшковых, предания, исторические легенды и были Железнополья, которые Александр Иванович знал со слов Федора Дмитриевича. И еще раз — с грустноватой усмешкой — описал он свое житье-бытье в старинном деревянном доме, построенном пленными французами: в этом доме отапливалась только одна комната, да и та отапливалась им самим. «Хотя, — с юмором добавляет Куприн, — я и сулил за пустячную службу

царскую плату, подумайте: целых три рубля в месяц».

А пугало жителей даниловской усадьбы привидение, которое якобы посещало запущенный барский особняк. «...Пожалуй, во всем Устюженском уезде,— писал Куприн в «Завирайке»,— каждый мужик твердо знал и крепко верил, что в Даниловском доме на чердаке находится черный гроб, а в гробе этом лежит огромная страшная мертвая нога и что по ночам эта нога ходит по всему дому и горько плачет, взывая о погребении».

Эти рассказы о мертвой ноге показались писателю вздорными, однако как-то, роясь на чердаке, среди пыльного векового мусора и хлама он наткнулся на солидный черный ящик с застежками, формой похожий то ли на футляр для какого-то музыкального инструмента, а пожалуй, и на гроб. Футляр был тут же открыт: в нем лежала нога, но вовсе не мертвая а искусственная, прекрасно сработанная, обтянутая превосходной голландской замшей. Тут же был найден и костыль к ней.

В чем же дело? Как попал этот черный футляр в дом Батюшковых? Как узнал его историю Куприн?

А все через того же Федора Дмитриевича — он-то и раскрыл секрет искусственной ноги и Куприну, и другим гостям даниловской усадьбы — среди них следовало бы упомянуть Ивана Бунина, побывавшего в Даниловском в декабре 1909 года. Известен он ныне и критикам, занимающимся творчеством А. И. Куприна.

Этот протез принадлежал Николаю Ивановичу Кривцову, герою Отечественной войны, участнику сражения при Кульме 18 августа 1813 года. В Кульмском сражении генерал Кривцов был тяжело ранен: лекари отняли ему ногу. Дочь Н. И. Кривцова

вышла замуж за Помпея Николаевича Батюшкова, сводного брата Константина Николаевича, и после смерти отца отправила его искусственную ногу на хранение в усадьбу родственников мужа, в имение Даниловское. Там этот странный предмет — в прошлом веке почти не было производства протезов — пролежал вплоть до Октябрьской революции. В голодные и трудные послереволюционные годы коммунары, жившие в имении, нашли его, смекнули, что толстой замшей можно подшить не одну пару валенок, и пустили эту замшу в дело. Вот какое послесловие к истории с даниловским привидением стало известно нам все от того же Аркадия Васильевича Боброва, хранителя Даниловского музея. Сам же купринский рассказ «Завирайка» посвящен отнюдь не этим на первый взгляд забавным и анекдотическим находкам на чердаке, а мужеству и верности охотничьего пса Завирая, спасшего от верной гибели собачонку Патрашку.

...Участником сражения при Кульме был и Константин Батюшков.

И рассказ о пребывании Александра Ивановича Куприна в родовом имении Батюшковых теперь возвратил нас вновь к Константину Батюшкову и его современникам, возвратил к истокам нашей реалистической прозы и поэзии, к эпохе Наполеона, к грохоту пушек и вою картечи, к тому походному, военному быту, который был и поэзией и самой жизнью этого питомца муз, как говорили в те времена о молодом поэте.

Из всех современников, вероятно, лишь Пушкин сумел увидеть в Константине Батюшкове задатки необыкновенного таланта и личность, способную выразить противоречия своего «железного века».

Когда в 1815 году Батюшков, обуреваемый мучи-

тельными раздумьями, истомленный страданиями от несчастной любви, жил в Каменец-Подольске, гениальный юноша-лицеист обратился к нему со стихотворным посланием. Конечно, Пушкин мог и не знать о душевном состоянии старшего друга, но весьма примечательно, что он пытался дружески ободрить и поддержать поэта, сказать, как дорог и близок ему сей «философ резвый и пиит». Вместе с тем — и вот здесь-то нельзя не поразиться гениальной прозорливости Пушкина — он определенно советовал певцу любви и радости: «Поэт! в твоей предметы воле!» Каковы же были «предметы» или, говоря современным языком, явления, вопросы, проблемы, которые, по мнению Пушкина-лицеиста, были доступны перу и поэтическому таланту Батюшкова?

«...Пой кроваву брань и грозну смерть на ратном поле», — писал Пушкин, обращаясь к Батюшкову:

И ты в строях ее встречал,
И ты, постигнутый судьбою,
Как росс, питомцем славы пал!
Ты пал и хладною косою
Едва скошенный не увял!

К последней строке процитированного отрывка сделана примечательная сноска: «Кому неизвестны «Воспоминания на 1807 год»?» Тем самым Пушкин отсылал читателей к стихам Батюшкова, которые были не только наиболее характерны для таланта «философа и пиита», но и содержали какие-то важные биографические сведения о нем; не случайно в пушкинском послании намекалось на смертельную опасность — ей подвергся Батюшков в пылу сражения под Гейльсбергом. Тогда, в 1807 году, он действительно многое решил для себя, а главное — он узнал, что «война дает цену вещам»...



С КРОВАВЫХ МАРСОВЫХ ПОЛЕЙ

После окончания пансиона Триполи шестнадцатилетний Константин Батюшков стал жить в семье Михаила Никитича Муравьева, дальнего родственника по отцу. Отец поэта, Николай Львович, крайне редко покидал родовое имение в Даниловском, бывал в Петербурге наездами, а поэтому просил бывшего однополчанина и друга способствовать устройству судьбы сына Константина. И тот охотно откликнулся на эту просьбу. В семье Муравьевых молодой Батюшков был окружен вниманием, заботой и неустанными попечениями как Михаила Никитича, так и его жены Екатерины Федоровны. Писатель-историограф Михаил Никитич Муравьев дал направление умственному развитию своего племянника, поощрял его литературные наклонности, привил вкус к древнегреческим и древнеримским поэтам. Сам он любил «читать древних авторов в подлиннике, и особенно греческих историков, ему от детства любезных», — как несколько лет спустя вспоминал о нем поэт. Именно в этом гостеприимном доме Батюшков увлекся переводами Горация и Тибулла, оставшихся его любимыми авторами до конца жизни. Тогда же он стал пробовать свои силы в поэзии, имел возможность, как и в другом родственном доме — доме Олениных, — познакомиться со многими петербургскими литераторами. В скором времени Михаил Никитич определил Батюшкова в канцелярию по Московскому университету, где его сослуживцами оказались молодые поэты Николай Пнин, Николай Радищев,

Дмитрий Языков, а с 1803 года и Николай Гнедич, учредивших впоследствии Вольное общество любителей словесности, наук и художеств. Служба письмоводителем в канцелярии министерства менее всего увлекала Батюшкова: она не приносила ему никакого внутреннего удовлетворения, ибо все его помыслы были сосредоточены на служении музам, на занятиях поэзией. Вместо деловых бумаг и прошений за канцелярским столом он нередко писал стихотворные послания друзьям или переводил с латыни, чем вызывал негодование начальства. И только высокое покровительство Михаила Никитича Муравьева спасало молодого поэта от серьезных неприятностей по службе.

И вот новость. 17 сентября 1806 года из Парижа выступила лейб-гвардия и артиллерия. Каждому всаднику было дано по четыре подковы и по одной ивняком обвитой фляге: значило это, что переход будет большим и утомительным. И пока газеты гадали, какие планы вынашивал в двухнедельном затворничестве великий консул Бонопарте, на правом берегу Рейна не осталось ни одной не реквизированной французами обывательской подводы.

По многочисленным немецким землям, маркграфствам, курфюршествам и герцогствам растеклись корпуса наполеоновской армии. Не успели отцокать копыта конницы Мюрата по сельским дорогам Саксонии и королевской Пруссии, стихнуть скрипы армейских обозов, смолкнуть песни пьяных драгун по придорожным гастхаузам, а местные крестьяне, редко стоявшие по обочинам у своих заваленных снопами подвод, стереть с лица каменное, тягостное раздумье, как уже

запестрели на дубовых дверях костелов короткие приказы консульских властей:

«Всем судебным местам в городах и селениях сим объявляется, чтобы рассеявшиеся солдаты прусской и саксонской армии были задержаны и доставлены в Гильдесгейм, Гамельн или Ганновер, смотря по тому, которые из сих мест будут ближе.

Ганновер, октября 20 дня, 1806 года».

Разгром Пруссии был полным и бесповоротным. Поражение армии Гогенлоэ под Иеной, гибель юного герцога Брауншвейгского, спешившего на соединение с Гогенлоэ и разгромленного в двух десятках верст от Иены, бегство десятков тысяч солдат, бросивших артиллерию, обозы, провиантские запасы, сдача могучих крепостей после одного-двух выстрелов из мортиры — все внесло немалое смятение в умы особ, посвященных в тайны кабинетов и политических салонов.

Война неудержимо приближалась к границам России. И хотя многим был памятен аустерлицкий лед, раскрошенный французскими ядрами, политый кровью русских солдат, было очевидно, что Россия превратилась в единственного действующего на этой войне.

Необычные события последних недель привели в немалое возбуждение дворянских юношей в обеих столицах. Волновали они и завсегдатаев портерных, кухмистерских, ресторанов, где в табачном дыму до хрипоты спорили таможенные чиновники, немецкие мастера часовых и ювелирных дел и прочих охочий до политики люд.

Не так много дней прошло с разгрома Гогенлоэ под Иеной, как новое известие взбудоражило северную Пальмиру — Наполеон в сопровождении маршалов, конных гренадер и гвардейских егерей торжест-

венно въехал в Берлин. Думалось, и в Петербурге вот-вот услышится гром пушек Наполеона.

В ночь на 30 ноября 1806 года Александр I подписал манифест: «...Очевидная опасность, если, от чего боже сохрани! ворвется неприятель где-либо в пределы империи, принуждают нас прибегнуть к сильнейшим способам для отвращения оной, составив повсеместно временные ополчения или милицию».

Это была неслыханная мера!

Известие о создании губернского земского войска или милиции быстро распространилось по городу. Вскоре были опубликованы новые указы и новые положения, в которых предлагалось губернским обществам, именитым гражданам и купцам вооружить шестьсот тысяч ополченцев, одеть их в кафтаны, но бород и усов не брить.

В те напряженные дни Константин Батюшков определяется в канцелярию генерала Татищева, который был назначен начальником милиционного войска. Не канцелярские обязанности прельщали его, радовала возможность отправиться в поход в Восточную Пруссию вместе с русскими войсками. Такая возможность в самом ближайшем времени представилась... В феврале 1807 года имя Константина Батюшкова было подтверждено Александром I. Он назначался сотенным начальником Петербургского милиционного батальона и должен был в спешном порядке сопровождать ратников к месту боевых действий.

*17 февраля 1807 года. Даниловское.
Николаю Львовичу Батюшкову.*

«Любезный папенька! Я получил последнее письмо ваше, которым вы уведомляете меня, что нездоровы.

Ах, сколь сия вестъ для меня ужасна тем более, что я должен буду теперь вас еще огорчить». — Батюшков отложил перо, взял шипцы, снял нагар со свечи, подумал и мелким, торопливым почерком продолжил: «Припадаю к ногам твоим, дрожащий родитель, и прошу прощения за то, что учинил дело частное без твоего позволения... Но что томить вас! Лучше объявить все. Я должен оставить Петербург, не сказавшись вам, и отправиться со стрелками, чтобы проводить их до армии. Надеюсь, что ваше снисхождение столь велико, любовь ваша столь горяча, что вы не найдете ничего предосудительного в сем предприятии... Я сам на сие вызвался и надеюсь, что государь вознаградит (если сделаюсь того достоин) печаль и горестъ вашу возлиянием к вам щедрот своих... Надеюсь, что и без меня Михаил Никитич сделает все возможное, чтобы возратить вам спокойствие и утешить последние дни жизни вашей.

Пишите ко мне, родитель мой, и дайте мне свое благословение, без которого я жить не могу.

Послушный сын ваш Константин Батюшков».

30 апреля русская армия под командованием генерала Беннигсена собралась возле Гейльсберга, немецкого городка, расположенного в двадцати милях к югу от Кенигсберга и Фриш-Гафского залива.

Чертой боевых действий армии стала речка Алле, протекавшая возле Гейльсберга и других весьма похожих на него городков — Гутштадта, Бартенштейна, Шипенбейля, Фридланда, Велау... Городки следовали один за другим и находились то на левом, как Гейльсберг, то на правом, как Бартенштейн, берегах реки Алле.

Всю ночь с 28 на 29 мая войска готовились к решающей битве.

Свет полной луны проник под полог шатра... Укрытый косматой буркой до подбородка, Батюшков лежал неподвижно и широко раскрытыми глазами смотрел на лик Селены, которая заливала шатер светлым сиянием, серебрила ворсинки бурки, бросала в углы резкие тени. Не спалось! И чем пристальнее Константин всматривался в лик Селены, чем таинственнее был мрак ночного неба, тем глубже было ощущение покоя, которого он не испытывал, может быть, со дня отъезда из Даниловского. Этот покой постепенно заполнял его существо, кружил голову и неузнаваемо преображал ночной мир. Батюшков видел и понимал, что свет, падающий в шатер, льется с гейльсбергских высот и в то же время был светом, льющим-ся в раскрытые окна старой отцовской усадьбы... Робко щелкнул и замолк соловей... Росистой свежестью потянуло от сирени...

Батюшков очнулся от странной грёзы. Если бы не ровное дыхание офицеров, спящих рядом, то он не смог бы уяснить себе, в каком временном и пространственном измерении он только что пребывал. Недобрым предзнаменованием показалось Батюшкову это разъединение его сущности, хотя именно Даниловское он мечтал увидеть во сне, если бы довелось — даже на полчаса — смежить веки.

Не спалось!.. Батюшков осторожно поднялся и вышел из палатки. Под луной, стоявшей в зените, серебристо светились окрестности Гейльсберга. Самого

городка отсюда не было видно, и только развалины старинного замка да — правее — городская ратуша обозначали Гейльсберг в древесных кущах. Далеко впереди, за убегающими волнами лугов и пажитей, за островками сосновых рощ, кое-где подымавшихся на холмах, переливалась россыпь рубиновых огней. Казалось, их неяркое свечение охватывало всю землю от края до края. Там — французы. И мерцающая россыпь — огонь их бивуаков и сторожевых постов.

Батюшков задумчиво рассматривал эти мерцавшие огни, пока не услышал за спиной отчетливый цокот копыт. Казачий разъезд — он узнал казаков по папахам и длинным пикам — уходил в ночной поиск. Этот торопливый цокот, стихавший в отдалении, заставил Батюшкова действовать: он решил обойти ночью своих стрелков.

Лунный свет поблескивал на ружьях, составленных в пирамиды, на штыках часовых, медленно расхаживающих вдоль пирамид и зарядных ящиков. У костров, которые в предрассветный час едва дымились и постепенно замирали совсем, завернувшись в шинели и плащи, спали егеря. Вперемежку с ними, укрывшись кафтанами, спали стрелки милиционного батальона. Но иные продолжали стоять, опершись на ружье с узким прикладом, и завороченно смотрели на синие змейки, пробегающие по углям.

Батюшков обходил спящих, узнавал стрелков сотни и поражался странности поз людей, сраженных глубоким сном. Но более всего он поражался тишине — тишине и благодати, напоенной запахами летней ночи: горьковатым и сладким дымом костров, запахом травы и сырой земли. Он шел долго, пока впереди не заблестела Алле. На другом берегу ее тоже горели костры, и их багровые огни просвечивали сквозь ку-

старник, отражались в речной глади. Батюшков остановился. Он беззвучно шевелил губами: вновь на какое-то мгновение в кустах заблестела родная Ижина, а солдатские костры на правом берегу Алле обернулись кострами даниловских рыбаей.

...Ударила вестовая пушка. Эхо выстрела покати-лось по дальним сосновым рощам и полям, и вместе с ним покати-лась с высокого небосвода сверкающая колесница Селены.

Грохот боевых барабанов сотрясал тела и души предчувствием скорой битвы. Топот множества ног — пехота строилась и перемещалась беглым шагом — бодрил сердца. Храп взвивавшихся на дыбы коней, скачка адъютантов, скрежет обозных фур, выкрики команд — вся неразбериха, порожденная огромным скоплением войск, веселила солдат, будоражила их яростным воодушевлением. И без промедленья, перекрывая грохот, топот, скрежет и крик, лязгнул медной челюстью бог войны Марс — редуты окутались пороховым дымом, пушкар-и припали к флешам, чтобы проследить за полетом ядра.

На склонах дальних холмов, укрытых утренней прозрачной дымкой, наметилось какое-то движение; пронзительный свист флейт донесся оттуда.

— Гренадеры... — негромко сказал егерь, стоявший впереди других. Константин Батюшков быстро оглянулся на него, успел приметить прищуренные глаза, седые усы и кивер с латунной бляхой «За отличие». Оглянулся, чтобы вновь обратить внимание на холмы, уже ярко освещенные лучами солнца. Его стрел-

ки, стоявшие бок о бок с егерями графа Сен-При, как и егеря, обязаны были действовать независимо от сомкнутого строя. Те и другие помещались за ложе-ментами меж боевых колонн Шлиссельбургского мушкетерского полка. На этот полк да еще на Московский гренадерский, занимавший центр русской армии, и был направлен первый удар французов... Мимо егерей прошел легкоартиллерийский полк. Он развернулся у второго редута — солдаты зарядили пушки картечью, изготовившись к стрельбе прямой наводкой. Батюшков не услышал — услышать он не мог, потому что весь был поглощен видом сраженья, — но уловил сердцем короткое затишье, которое предвещало рукопашную схватку.

В ослепительно ярких лучах солнца с ближайшего холма на них надвигалась колонна французских гренадер. Да, это были гренадеры — их огромные меховые шапки с кистями и белыми султанами, их белые жилеты и белые панталоны хорошо различались из-за егерских ложементов. Флейтисты — по два на роту — пронзительно высвистывали боевой марш. Справа и слева от колонны вспыхивали пороховые дымки: гренадер сопровождали вольные стрелки-вольтижеры, которые прикрывали фланги колонн от внешних кавалерийских атак.

Охрипнув от волнения, Батюшков через равные промежутки времени выкрикивал ружейные команды: «...Товсь... Заря-я-жай... Пли!» Гладкоствольные кремневые ружья изрыгали язычки пламени, ряды стрелков пропадали в пороховом дыму, а маленький офицер вновь и вновь подымал шпагу: «...Товсь... Жай... Пли!»

Плотный ком человеческих тел накатывался на плечи и ложементы. С визгом брызнула картечь...

Французские гренадеры сомкнули строй, перешагивая через убитых и раненых товарищей, взяли ружья наперевес и этой ошетилившейся, грозно-молчаливой стеной подступали к первым укреплениям.

«Марш! Марш!» Шлиссельбургские мушкетеры сдвинулись с места и скорым шагом, тоже с прижатыми штыками, ринулись навстречу французам. Две колонны, как две набежавшие друг на друга волны, сшиблись, всплеснули до небес скрежет оружия, человеческие вопли и крики и растеклись мелкими ручейками, оставив после себя груды окровавленных человеческих тел...

А за ближайшей сосновой рощей уже снова скапливались ударные полки маршала Ланна, и снова пошвист флейт и дробь барабанов возвещали, что французы идут в штыковую атаку. Подскакавший адъютант графа Сен-При передал приказ: егерям и стрелкам милиционного батальона занять сосновую рощу. Теперь Батюшков кричал своим ополченцам: «Марш! Марш!» И, перепрыгивая через убитых, загромождавших ложементы, размахивая над головой тоненькой шпагой, бежал впереди рассыпавшихся шеренг милиционеров. За вторым редутот, окутанным пороховым дымом, грохот пушечной пальбы был сильнее, дым — летучее, земля — тяжелее для бега. Но и в нестерпимом грохоте и летучем дыму сознание Батюшкова отмечало все происходившее вокруг него с какой-то вдохновенной ясностью и силой: он никогда не мог забыть, как в луже крови бешено закрутилось чугунное ядро и как у него похолодело в груди и сердце подступило к горлу. А роща — вот она! Сосны взметнули вершины в небо. Легкие тени легли на траву. Стволы источали запах смолы, золотились чешуйчатой корой.

Перебегая от сосны к сосне, егеря и стрелки милиционного батальона углублялись все дальше в рощу, пока не наткнулись на лесной овраг. На противоположном склоне этого оврага французские вольтижеры своротили сосны корнями вверх так, что коренья, как огромные щиты, сохраняли их от русских пуль, а сучья и вершины, обращенные вниз, делали подступы к позициям невозможными. Взять приступом овраг оказалось немислимым.

Не успел Батюшков с отчаяньем подумать, что им не очистить рощу от французов, как справа от него в овраг стал стремительно спускаться какой-то егерский офицер, за ним, покидая удобные позиции, сбегали его солдаты. В том, как офицер сделал пол-оборота влево, как он взмахнул пистолетом, Батюшкову почудилось что-то знакомое. «Петин!» — окрик замер у него на губах. Он с силой оторвал себя от теплого ствола сосны и бросился вслед за поручиком Петиным, увлекая милиционных стрелков...

Когда Батюшков достиг противоположного склона, когда он, хватаясь за ветви, стал переваливаться через ствол, его с силой швырнуло назад, ударило затылком о сучья и погрузило в огненно-кромешную тьму...

Обстреляв из рощи французских гренадер, стоявших на опушке рощи, русские стремительно откатывались назад. Лесной овраг теперь они обходили с двух сторон. И только два стрелка почему-то решили пересечь его напрямки... На стволах и кореньях поваленных сосен в причудливых, страшных позах висели убитые вольтижеры и русские егеря. Синий дым сложился в овраге. Было тихо. Неожиданно стрелки услышали слабый стон. Нагнувшись, они вытащили из-под

ветвей раненого русского офицера. Сорвав плащ с убитого вольтижера, стрелки положили на него Батюшкова, пребывавшего в беспамятстве, и быстрым шагом стали выбираться из этого мрачного логовища смерти и тлена. Плащ сразу же намок кровью...

Батюшков очнулся от нестерпимой боли, когда возница гнал лошадей по настилу наплавного моста через Алле. Это был мост во Фридлянде: двое суток раненный не приходил в себя в полевом лазарете и был после перевязки отправлен дальше во Фридлянд. Этот фридляндский мост через несколько часов стал страшной ловушкой для русских войск.

Оттеснив армию Беннигсена на правый берег Алле и принудив его двигаться вдоль реки по направлению к Фридлянду, Наполеон произвел смелый маневр: он бросил к Фридлянду корпус генерала Удино, к Кенигсбергу — корпуса Сульта и Даву, а сам пошел к Прейсиш-Эйлау, откуда, смотря по обстоятельствам, он мог двигаться и к Фридлянду и к Кенигсбергу. Ожидать пришлось недолго. Генерал Беннигсен повторил ошибку, совершенную в гейльсбергском сражении, — часть армии он перевел на левый берег Алле и выстроил в боевой порядок, а часть оставил на правом... Наполеон мгновенно воспользовался роковой ошибкой Беннигсена. Он собрал все корпуса в ядро и стремительно бросил это ядро на позиции русских. Его тяжелая артиллерия зажгла понтонные и городские мосты через Алле. Его колонны с боем ворвались в город. Напрасно Багратион со шпагой в руках, окруженный остатками Московского гренадер-

ского полка, призывал к стойкости и порядку: армия отступала, пехота гибла на горящих мостах, тонула в реке, конница переправлялась вплавь. Обозы с тяжелоранеными, провиантские фуры, запасы пороха, пушки — все осталось в руках победителя. Это была катастрофа. Часть корпусов, сдерживая натиск французского авангарда, медленно отходила к старой русской границе, к Неману...

Лекарская фура плыла среди сотен повозок и подвод отступающей русской армии... Она плыла среди зеленевших нив, плыла по улицам чистеньких немецких городов, спускалась в низины и подымалась на холмы, а Батюшков лежал, обмирая от приступов боли. Волны этой боли захлестывали его внезапно — темнели зеленые рощи и луга, небо расплывалось в оранжевые, звенящие круги, а сам он падал в эту многоцветную бездну. Когда боль немного стихала, в его глазах плескались белые крылья лебединых стай. Он смутно догадывался, что это были облака, что они летели на север, летели к гнездовьям на Мологе и Шексне, дальше, дальше — к Ледовитому океану, где никогда не меркнет полуночное солнце. Иногда, очнувшись, леденея в ожидании смерти, с отвращением глядя на гребни черепичных крыш, на готические шпили костелов, на весь этот чуждый ему мир, он собирал остатки сил: он не хотел умирать здесь, среди красных черепиц и готик, не хотел быть зарытым на обочине дороги, как зарывали умерших от ран солдат и офицеров русской армии... Он взывал к облачным стаям, плавно взмахивавшим крыльями в полете, молил унести его на родину и там, если такова его судьба, позволить спокойно умереть.

...Лекарская фура медленно въехала на дощатый настил. В борта плашкоута заплескалась неманская волна.

«НАКОНЕЦ, МЫ В ПАРИЖЕ...»¹

*16—18 января 1814 года. Старый Эльзас,
у крепости Белфора.*

«...Итак, мой милый друг, мы перешли Рейн, мы во Франции. Вот как это случилось: в виду Базеля и гор, его окружающих, мы построили мост, отслужили молебен со всем корпусом гренадер, закричали «ура!» и перешли за Рейн. Я несколько раз оборачивался и дружественно прощался с Германией, которую мы оставляли, может быть, и надолго, с жадностью смотрел на предметы, меня окружающие, и несколько раз повторял с товарищами: наконец, мы во Франции! Эти слова — «мы во Франции» — возбуждают в моей голове тысячу мыслей, результат которых есть тот, что я горжусь моей родиной в земле ее безрассудных врагов. В этой стороне Эльзаса жители говорят по-французски. Вообрази себе их удивление: они думали, по невежеству — разумеется, что русские их будут жечь, грабить, резать, а русские, напротив того, соблюдают строгий порядок и обращаются с ними ласково и дружелюбно... Надобно видеть, с каким любопытством они смотрят на наших гренадер, а особливо на

¹ К. Н. Батюшков. Сочинения. Редакция, статья и комментарии Д. Д. Благого. Аcaademia, 1934, стр. 404—416.

К. Батюшков. Сочинения в 2-х томах под редакцией Л. М. Майкова. СПб., 1885—1887.

казаков, как замечают их малейшие движения, их разговоры.

Все так, любезный друг, но сердце не лежит у меня к этой стороне: революция, всемирная война, пожар Москвы и опустошения России меня навсегда поссорили с отчизной Генриха IV, великого Расина и Монтеня... Я сижу в теплой избе и курю табак. На дворе метель и снегу по колено: это напоминает Россию и несколько приятных минут в моей жизни... О, матушка-Россия! Когда увидим тебя?..

27 марта 1814 года, в окрестностях Парижа.

...С высоты Montreuil я увидел Париж, покрытый густым туманом, бесконечный ряд зданий, над которыми господствует Notre-Dame* с высокими башнями. Признаюсь, сердце затрепетало от радости! Сколько воспоминаний!.. Но ружейная пальба час от часу становилась сильнее и сильнее. Мы продвигались с большим уроном через Баньолет к Бельвилю, предместью Парижа. Все высоты заняты артиллерией; еще минута, и Париж будет засыпан ядрами! Желать ли сего? Французы выслали офицера с переговорами, и пушки замолчали...

«Слава богу! Мы увидели Париж со шпагою в руках! Мы отомстили за Москву!» — повторяли солдаты, перевязывая раны свои.

...Солнце было на закате, по той стороне Парижа; кругом раздавалось «ура» победителей и на правой стороне несколько пушечных ударов, которые через несколько минут замолчали. Мы еще раз взглянули на столицу Франции, проезжая через Монтрель, и воз-

* Собор Парижской богородицы.

вратились в Noisy отдыхать, только не на розах: деревня была разорена.

...Наконец, мы в Париже. Теперь вообрази себе море народа на улицах. Окна, заборы, кровли, деревья бульвара — все, все покрыто людьми обоих полов. Все машет руками, кивает головой, все в конвульзии, все кричит: «Vive Alexandre! vivent les Russes! Vive Guillaume! vive l'empereur d'Autriche, vive Louis, vive le roi, vive la paix!»* — Кричит, нет, воет, ревет. «Montrez nous le beau, le magnanime Alexandre!» — «Messieurs, le voilà en habit vert, avec le roi de Prusse». — «Vous êtes bien obligeant, mon officier»**.

...Я сошел с лошади, и народ обступил и меня, и лошадь, начал рассматривать и меня, и лошадь. В числе народа были и порядочные люди, и прекрасные женщины, которые взапуски делали мне странные вопросы: отчего у меня белокурые волосы, отчего они длинные? «В Париже их носят короче. Артист Dulong вас обстрижет по моде». — «И так хорошо», — говорили другие женщины. «Посмотри, у него кольцо на руке. Видно, и в России носят кольца!» — «Мундир очень прост! C'est le bon genre!»*** Какая у него длинная ло-

* «Да здравствует Александр! Да здравствуют русские! Да здравствует Вильгельм! Да здравствует австрийский император! Да здравствует Людовик, да здравствует король, да здравствует мир!»

** «Покажите нам прекрасного, великодушного Александра!» — «Вот он, господа, в зеленом мундире рядом с прусским королем». — «Вы очень обязательны, господин офицер».

*** Это хороший тон.

шадь! Степная, верно, степная! Cheval du désert»* «Посторонитесь, господа, артиллерия! Какие длинные пушки, длиннее наших. Ah, bon Dieu, quel Calmouk!»** И после того: «Vive le roi, la paix! Mais avouez, mon officier, que Paris est beau?»*** «Какие у него белые волосы!» — «От снега», — сказал старик, пожимая плечами.

..Мы поворотили влево к place Vandôme****, где толпа час от часу становилась сильнее. На этой площади поставлен монумент большой армии. Славная Троянова колонна! Я ее увидел в первый раз, и в какую минуту! Народ, окружив ее со всех сторон, кричал беспрестанно: «A bas le tyran!»*****

Один смельчак влез наверх и надел веревку на ноги Наполеона, бронзовая статуя которого венчает столб. «Надень на шею тирану!» — кричал народ.

«Зачем вы это делаете?»

«Высоко залез!» — отвечали мне.

«Хорошо! прекрасно! Теперь тяните вниз: мы его вдребезги разобьем, а барельефы останутся. Мы кровью их купили, кровью гренадер наших. Пусть ими любуются потомки наши!» Но в первый день не могли сломать медного Наполеона: мы поставили часового у колонны. На доске внизу я прочитал: Napolio Imp. Aug. monumentum***** и прочее.

Суета сует! Суета, мой друг! Из рук его выпали и

* Лошадь пустыни!

** Ах, боже милостивый, что за калмык!

*** Да здравствует король, мир! Но признайтесь, господин офицер, что Париж очень красив?

**** Вандомской площади.

***** Долой тирана!

***** Памятник августейшему императору Наполеону.

меч, и победа! И та самая чернь, которая приветствовала победителя на сей площади, та же самая чернь и ветреная, и неблагодарная, часто неблагодарная! накинула веревку на голову Napolio Imp. Aug., и тот самый неистовый, который кричал несколько лет назад тому: «Задавите короля кишками попов», тот самый неистовый кричит теперь: «Русские, спасители наши, дайте нам Бурбунов! Низложите тирана! Что нам в победах? — Торговлю, торговлю!»

25 апреля 1814 года. Париж.

...Бродить по бульвару, обедать у Beauvilliers, посещать театр, удивляться искусству, необыкновенному искусству Тальмы, смеяться во все горло проказам Брюнета, стоять в изумлении перед Аполлоном Бельведерским, перед картинами Рафаэля в великолепной галерее Музеума, зевать на площади Людовика XV или на новом мосту, на поприще народных дурачеств, гулять в великолепном Тюльери, в Ботаническом саду или в окрестностях Парижа, среди необозримой толпы парижских граждан, жриц венериных, старых роялистов, республиканцев, бонопартистов и проч. и пр., и пр. — теперь все это мы делаем и можем делать, ибо мы отдохнули и телом и душою. Заметьте, что мы имеем важное преимущество над прежними путешественниками: мы — путешественники вооруженные.

Я часто с удовольствием смотрю, как наши казаки беспечно проезжают через Аустерлицкий мост, любясь его удивительным строением; с удовольствием неизъяснимым вижу русских гренадер перед Трояновой колонной или у решетки Тюльери, перед Триумфальной аркой, где изображены и Уильм, и Аустер-

лиц, и Иена, и Фридланд... Французы дорого заплатили за свою славу, любезный друг!

17 мая 1814 года. Париж.

Милый, добрый, любезный друг, ты имеешь право сердиться на меня за мое молчание; я имею маленькое право, но простим великодушно друг другу лень и беззаботность нашу. Дай себя обнять, и все забыто... И виноват ли я в самом деле? С тех пор, как оставил Петербург, и еще более, с тех пор, как мы переступили за Рейн,—ни одного дня истинно покойного не имел. Беспрестанные марши, биваки, сражения, ретирады, усталость телесная и душевная, одним словом,—вечное беспокойство: вот моя история. Заметь однако же, что при всяком отдыхе я думал о тебе и о России...

Прости, будь счастлив и помни *Батюшкова*».

«И ЧАШУ ГОРЕСТИ ДО КАПЛИ ВЫПИЛ ОН...»

Немаловажные причины заставили Константина Батюшкова покинуть Петербург в 1815 году и еще по зимнему следу приехать в Хантоново, а затем в Даниловское, к своему отцу Николаю Львовичу. Всего шесть дней провел поэт в Даниловском, но, по собственному признанию, и эти шесть дней измучили его. Отец, вступивший во второй брак, затеявший перестройку усадьбы, был обескуражен расстройством денежных дел и не особенно задерживал сына: они уже давно чувствовали взаимное отчуждение. Батюшков снова едет в Хантоново, к старшей сестре Александре, где в былые годы ему неплохо писалось

и где во время долгих северных зим он прежде бывал и счастлив и весел. Но в «земле клюквы и брусники», как шутливо именовал он череповецкое имение, душевная неустроенность и тоска с еще бóльшей силой охватили его. Подобное с ним случалось прежде, когда он, устав от вынужденного — из-за малых доходов и безденежья — уединения, жаловался друзьям на одиночество, на деревенскую скуку, на гробовую тишину, царившую в доме, такую тишину, что «каждое биение маятника карманных часов ясно и звучно повторялось» в его «услышании». Однако тогда, «сидя в своем углу, — писал он Николаю Гнедичу, — с головной болью, с красными от чтения глазами, с длинной трубкой», он нередко брался за переводы или собственные сочинения, он умел находить скромные радости, ценить тепло и уют старой горницы, служившей ему рабочим кабинетом, воспетой им в стихотворном послании «Мои пенаты». Правда, и сейчас скромный домик, расположенный на берегу Шексны, с балконом, прелестным видом на реку, летней беседкой и запущенным парком, за все время, что он провел в заграничных походах, нисколько не переменился. Даже письменный стол, стоявший под окнами, был все тот же — с изодранным и проеденным молью сукном. Да и книги, заполнявшие горницу, рассыпанные когда-то на подоконниках, на креслах, на жесткой постели, были ему знакомы и памяты. Особенно этот том стихотворений Державина. Однажды глухой ночью в ноябре он читал описание потемкинского праздника: тишина, безмолвие ночи, сильное устремление мыслей, пораженное воображение — все произвело на него необыкновенное действие. «Я вдруг увидел перед собой людей, — рассказывал он Николаю Гнедичу в письме от 1 ноября 1809 года, — толпу

людей, свечи, апельсины, бриллианты, царицу, Потемкина, рыб, и бог знает что не увидел: так был поражен мною прочитанным. Вне себя побежал к сестре... «Что с тобой?».. О н о, о н и!.. «Перекрестись, голубчик!»... Тут-то я насилу опомнился».

Очевидно, в тот раз случился с ним нервический припадок или, может быть, усилились странные «ревматические» боли в голове, которые его мучили после ранения, полученного в деле под Гейльсбергом. Но об этом не хотелось ни думать, ни вспоминать... Как не хотелось вспоминать Вологду, в которой Батюшков бывал по самым неотложным делам в опекуновском совете и которую он не любил ни раньше, ни теперь. Любил — не любил?!. Разве он мог в чем-то руководствоваться своими чувствами, разве не был он во власти злых и чуждых ему стихий?.. Вот и теперь в Хантонове ничего не переменилось, только он стал совсем другим.

...Едва дождавшись конца отпуска, Батюшков выехал из Хантонова в Каменец-Подольск по месту нахождения штаб-квартиры генерала Бахметьева, при котором он проходил военную службу. И там, в отдаленной крепости, среди сослуживцев, поглощенных мелочными заботами, оторванный, как он заранее и предвидел, от изящной словесности, от привычек, от своих друзей, он пребывал в самом мрачном оцепенении, какое когда-либо знал прежде. И все-таки музы спасли его вновь: он стал писать. Из-под его пера в Каменце вышло немало стихотворений, среди них — «Мой гений», стихотворная пьеса, отличающаяся просветленностью образов, трепетностью чувств и гармонией звуков русской речи...

О память сердца! ты сильнее
Рассудка памяти печальной

И часто сладостью своей
Меня в стране пленяешь дальней.
Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны златые
Небрежно выющихся власов.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль — приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.

Чей образ был так дорог поэту в странствиях? Кто пленил его воображение?

Предметом радостей и грустных раздумий поэта была Анна Федоровна Фурман. Именно ей Константин Батюшков посвятил «Гения», «Воспоминания», «Разлуку», «Тавриду» и некоторые другие стихи и элегии. С этой юной воспитанницей Олениных Батюшков был знаком давно. Но впервые он упоминает ее лишь в 1809 году: Батюшков служил тогда в Финляндии и из писем знал о всех новостях в оленинском доме. «Не летай вокруг свечи — обожжешься!» — добродушно-иронически писал он знакомому петербуржцу, увлекшемуся своей ученицей, которой и была Анна Фурман. Батюшков не только знал, что Анна Федоровна хороша собой, он знал, что она скромна, застенчива и неохоча до ухаживаний и комплиментов молодых людей. Сам Батюшков к воспитаннице Олениных в то время не проявлял интереса. Понятен и его шутивно-покровительственный тон — после семьи Михаила Никитича Муравьева, в которой Батюшков жил на правах родственника, дом Олениных был для

него вторым родным домом в Петербурге. Алексей Николаевич Оленин, знаток и любитель искусства и литературы, археолог и художник, неизменно покровительствовал Батюшкову и выручал его в трудные минуты жизни. Вообще оленинский салон славился в Петербурге: там можно было встретить многих известных в ту пору литераторов — Жуковского, Крылова, Озерова, Гнедича. Воспитанница Олениных «пленила многих, сама того не подозревая», как писал о ней современник. Например, романтическую привязанность к ней испытывал В. А. Жуковский. Однако вскоре в семье Олениных не стало секретом, что сердце Константина Батюшкова отнюдь не свободно от восторженного чувства к Анне. В июле 1813 г. Батюшков уехал на театр военных действий. Разлука и превратности бивуачной жизни придали в глазах Батюшкова особое очарование их встречам в доме на Фонтанке. Позднее в «Элегии» он писал: «Я с именем твоим летел под знамя брани искать гибели иль славного венца». Образ возлюбленной витал перед ним на полях за Рейном, в прохладных рощах старой Англии, у развалин рыцарских замков в Швеции — всюду, где довелось побывать поэту, возвращавшемуся из Франции в Петербург морским путем. Ему думалось, что его положение дворянина из обедневшего рода, стесненного в средствах и не чиновного, во всем подобно зависимому положению Анны Фурман в семье Олениных. Как и поэт, Анна Федоровна рано лишилась матери. Ее отец, по происхождению саксонец, состоявший на русской службе, не оставил дочери наследства. Вот почему, обращаясь к возлюбленной, поэт говорил, что они, «отверженные роком, равны несчастьем, любовию равны...» В том, что они равны несчастьем, — в этом Константин Батюшков не сомневался. Но равны ли

они любовью?.. Припоминая Анну и встречи у Олениных, поэт пытался убедить себя в этом.

И вот он в кругу родных людей и близких ему лиц, он — в Петербурге! Екатерина Федоровна, вдова Михаила Никитича Муравьева, принимает живейшее участие в устройстве судьбы племянника. В доме Олениных также благосклонно смотрят на их союз. Все внушает Батюшкову счастливые и радужные надежды. Следует решительное объяснение с Анной — и что же? Согласие на брак получено!.. Но именно тогда в семье Олениных, в семье Муравьевых, среди ближайших друзей Батюшкова прокатился ропот недоумения — поэт отказался официально просить руки Анны Федоровны у ее приемных родителей. Да, он получил согласие на брак, но как он получил его?! От влюбленного взгляда поэта даже в эту решительную минуту ничто не ускользнуло ни в ее поведении, ни в интонациях ее голоса. Тайные надежды Батюшкова рухнули в один миг.

Есть странствиям конец — печалам никогда!
В твоём присутствии страдания и муки
Я сердцем новые познал.
Они ужаснее разлуки,
Всего ужаснее! Я видел, я читал
В твоём молчании, в прерывном разговоре,
В твоём унылом взоре,
В сей тайной горести потупленных очей,
В улыбке и в самой веселости твоей
Следы сердечного терзанья...

Батюшков не поимел силы воли немедленно оставить дом Олениных: он все еще на что-то надеялся, колебался, сомневался в своих наблюдениях, он угрюмо выслушивал увещания Екатерины Федоровны Муравьевой и Алексея Николаевича Оленина, что,

мол, «стерпится — слюбится», что, мол, девушка слишком неопытна и наивна, чтобы разобраться в своих чувствах... Нет, он все понял — и с какой-то отчаянной решимостью продолжал ходить в дом на Фонтанке, пока переживания и сомнения не сломили его, не привели к сильнейшему нервному расстройству... Батюшков покинул Петербург. Он уезжал на берега Шексны и Мологи, в родные с детства места, в леса севера, с одной мыслью — излечиться в уединении, в уюте старого дома, в общении с книгами и природой от безответной и несчастной любви... Ведь он знал: «Какие радости в чужбине? Они в родных краях!»

Однако вскоре, поражая друзей странной противоречивостью натуры, он бросился в Каменец-Подольск. Может быть, он хотел убедиться, что человек может жить одними воспоминаниями о прошлом? Что настоящее, которое давило сердце, как свинец, покроется дымкой забвения там, на краю Российского государства?

Часами стоял Батюшков на стенах старой полуразрушенной каменецкой крепости, облокотившись на башенные зубцы, и смотрел вдаль: на домики с цветущими садами, на стада, идущие к водопою, на жителей городка, на детей, игравших в придорожной пыли... И в его сознании складывались строки стихотворного послания — одного из лучших в допущинской лирике: «О память сердца! ты сильней рассудка памяти печальной».

Екатерина Федоровна по-прежнему находила в его поведении лишь безрассудство и явные противоречия. А их не было — ни безрассудства, ни этих противоречий. «Не иметь отвращения и любить — большая разница. Кто любит, тот горд», — так отвечал он Екатерине Федоровне. Да, Батюшков любил — и был горд, был

честен перед самим собой, перед Анной, перед читателями своих элегий: ведь он утверждал, что надо писать так, как живешь, и жить, как пишешь; он был уверен, что жертвовать собою позволено каждому человеку, но жертвовать другими могут только злые сердца. «Жизнь — не вечность, к счастью нашему, и терпению есть конец!» И он сознательно жертвовал собой, ибо в молчаливом согласии Анны на брак он увидел лишь подчинение чужой воле, а вот тайная горечь, просквозившая в ее улыбке, была искренна...

Но время брало свое. Все чаще глубокое уныние, в котором находился поэт, сменялось проблесками надежды — эти проблески даровали ему минуты религиозного самопознания и несравненные минуты творческого экстаза. Поэт ощущал освободительную силу вдохновения, которое позволяло ему прозревать нечто большее, чем собственная участь. Нет, «гордый ум не победит любви холодными словами» — холодные слова бессильны перед страстью, они не излечат от мук ревности или отчаяния, но поэтическое озарение способно поднять на какую-то иную ступень, раскрепостить, освободить от безысходности и душевного мрака. Он прозревал не один лишь свой жребий, но и жребий тех, кто на поле чести сохранил «души возвышенной свободу», кто перед лицом смерти был с ним дружен и, как и он, доверялся провидению. Батюшков не скрывал ни от себя, ни от других, что печальный жизненный опыт открыл ему новую пустыню, но в этой пустыне, в этом бедственном и трагическом одиночестве он уповал отныне как на якорь спасения на дружество, на то «святое дружество», культ которого он воспринял с отроческих лет в семье Муравьевых, в которое верил отныне он как в единственную духовную ценность и отраду.

Вот почему, бродя по развалинам старой крепости в Каменце, часами простаивая у башенных зубцов, он невольно забывался и мысленно уносился в леса Севера, а то и совсем в иной край, в Богемию, к иным крепостным стенам, заросшим мохом, обвитым плющом, к развалинам Бергшлосса — возле этих развалин стоял лагерь русских войск после Кульмской победы...

Тысячи подробностей оживали в его воображении: бутылка богемского вина стоит на походном барабане, здесь же кусок черствого хлеба и плоды. Вдвоем с Иваном Петиным они сидят на склонах высокой горы, откуда им открывается вид на армию, раскинувшую стан в долине. Разговор друзей сбивчив и тороплив: о многом надо поведать друг другу, рассказать о пережитом и увиденном, помечтать о Москве, о путешествии на Кавказ, да мало ли о чем могут мечтать друзья, оторванные от родины, но не забывшие ее: над их головами в богемском небе светит любезное светило Севера — Полярная звезда. Среди сердечных излияний и дружеских признаний время летит стремглав. К несчастью, встреча при Кульме была их последней встречей. Наблюдательный и чуткий к переживаниям других, Батюшков не мог не уловить в поведении приятеля какой-то тревоги — смутное предчувствие волновало Петина, лишало привычной веселости и оживления. И вот теперь, на развалинах старой крепости Каменца, вспоминая последние минуты, проведенные вместе с Петиным, вспоминая его могильный холм под Лейпцигом, Батюшков понял, что образ святого дружества станет его путеводной звездой, что, неразлучный с этим образом, он не поbledнеет под ядрами, не изменит чести, не оставит ее знамена.

Через полгода пребывание в Каменце стало для поэта невыносимым: усиленные занятия литературным творчеством — только оно одно приносило утешение от душевной тоски — показали ему, что поэзия «требуется всего человека», что без литературных друзей, без близкого окружения невозможно исполнить и самой незначительной части задуманного им. Военная служба в глухом и отдаленном гарнизоне казалась теперь тяжелым ярмом: это ярмо можно было влачить дальше, но в мирное время лучше было освободиться от него.

Постоянную нравственную поддержку Батюшкову оказывал В. А. Жуковский — новые стихотворения, написанные поэтом, были еще не известны в столице, однако Жуковский неизменно поощрял поэтические и прозаические начинания автора «Пенатов». «Святое дружество», к которому он взывал в воспоминаниях о Петине, которое было ему якорем спасения, поддерживало его и в этот мучительно трудный период жизни. Но главное, в Батюшкове произошел глубокий внутренний переворот. Получив письмо от своей сестры с намеком «на известное дело», он почти спокойно ответил: «Невозможное не возможно. Я знал это давно и все предвидел». Тогда же, из Каменца-Подольского, другому адресату он признавался: «Теперь дело кончено... Я три года мучился, долг исполнил и хочу быть совершенно свободен».

Вот почему он просил ближайших друзей и родственников не напоминать ему «про некоторую особу» и письма его с упоминанием имени Анны Фурман сжечь, «чтобы и следов не осталось».

Поэт подает в отставку и, получив долгосрочный отпуск, в декабре 1815 года уезжает к своим друзьям в Москву.

Анна Федоровна через некоторое время покинула дом Олениных в Петербурге и переехала вначале в Дерпт, а затем в Ревель. Их жизненные пути навсегда разошлись.

Пожалуй, никто другой с такой определенностью не предвидел свой тяжкий жребий, как сам Батюшков. «Я могу служить примером несчастья во всем», — писал он старшей сестре Александре. И это была правда. Выход в отставку не принес ему ни заслуженного ордена, ни повышения в чине, который он должен был получить. Правда, поэт был доволен уже тем, что снял военный мундир и целиком отдался служению музам. Но если сопоставить другие, более значительные факты его биографии, то нельзя не поразиться какому-то упорному противодействию обстоятельств всем его мечтам, начинаниям и замыслам, как будто поэта действительно преследовал «мститель-бог», о котором он упомянул в одном из писем.

Батюшков мечтал о славе, скромной славе стихотворца, который умеет писать исполненные поэтического изящества и совершенства стихи — и был при жизни «обруган хвалами». Вдали он страстно мечтал об уюте и тишине сельской жизни, но когда приезжал на родину, то погибал от одиночества, скуки, попов и раскольников, которых только и видел в окрестных деревнях. В череповецком имении Батюшков страдал от постоянной мысли, что его достояние может быть отнято за долги, а его единственный приют — усадьба в Хантонове — «убогая хижина», «смирренная хата», как он называл старый господский дом на берегу Шексны, — может быть продан с молотка. После смерти отца в 1817 году Батюшков

предпринимает лихорадочные поиски средств, чтобы спасти родовое Даниловское от продажи с торгов, чтобы воспитать младшего брата Помпея и сестру Юлию. Но денег он не нашел, имение продали за долги (и только спустя несколько лет его выкупил муж сестры Александры А. И. Гревенс). Все это усиливало мрачное настроение Батюшкова, усугубляло его душевные муки.

...Италия была мечтой поэта всю жизнь, камни Рима были для него священны, по ним ступали Тибулл и Торквато Тассо, но когда Батюшков, наконец, получает назначение в русскую дипломатическую миссию в Неаполь, состояние здоровья его настолько ухудшается, что он «вовсе не может писать стихов». Под пламенным небом Италии Батюшков, как он и ожидал, закрутил о снегах России...

Изустаная молва нарекла Батюшкова беспечным ленивцем, а он всю жизнь «бледнел над стихами», много переводил, читал и признавался в письме князю Вяземскому, что «беспрестанное уединение, и дурная погода, и усиленные труды и последнее здоровье уносят».

После войны, когда за ним прочно утвердилось слава «русского Тибулла» и «русского Парни», он замыслил написать поэмы «Рюрик» и «Русалку», заинтересовался русскими сказками, просил у Гнедича прислать ему «Древние русские стихотворения» в издании Ключарева, пробовал силы в жанре народной песни, дорожил сюжетом для элегии «Овидий в Скифии», который был для него счастливее «самого Тасса» (Батюшков имел в виду элегию «Умиравший Тасс», над которой он упорно работал). В конце концов ни одному из этих замыслов не суждено было осуществиться. И только его воспреемником Пушкиным была написана и драма

«Русалка», и русские народные сказки, и элегия «К Овидию», в которой воскрешался образ изгнанника-поэта «на скифских берегах».

Составляя «Опыты в стихах и прозе» (изданные в 1817 году Николаем Гнедичем), подытоживая все написанное за двенадцать лет, Батюшков увидел, как слабы его начинания, над которыми он «бледнел весь свой век». «Но могло ли быть лучше? — думал он. — Какую жизнь я вел для стихов? Три войны, все на коне и в мире — на большой дороге. Спрашиваю себя: в такой бурной, непостоянной жизни можно ли написать что-нибудь совершеннее? Совесть отвечает: нет».

Сомнения в истинности избранного пути не оставляли поэта и позднее. Примечательны строки, приведенные им однажды:

Меня преследует судьба,
Как будто я талант имею.

Да, Батюшков страшился своей участи и считал — не без оснований, — что его преследует рок. Из Москвы, пребывая в особенно угнетенном состоянии, он написал Жуковскому: «С рождения я имел в душе черное пятно, которое росло, росло с годами и чуть было не зачернило всю душу. Бог и рассудок спасли. На долго ли — не знаю!» Увы! Не надолго... Письмо было отправлено адресату в сентябре 1816 года, а через шесть лет, в 1822 году, Батюшков, уехавший лечиться в Крым, оказался целиком во власти тяжкого недуга. Это случилось в том самом 1822 году, когда Анна Федоровна Фурман счастливо вышла замуж за ревельского чиновника, господина Оома. А Батюшков лежал в симферопольской гостинице, перевязанный бинтами, не пришедший в себя после нервного

приступа: во время приступа он попытался зарезаться бритвой. Но попытка не удалась, как не удались и две другие попытки кончить жизнь самоубийством. С того года Батюшков «ежедневно погибал на каторге» буйного бреда. «Черное пятно», которое он носил от рождения, все-таки зачернило его душу: заболевание оказалось неизлечимым, оно было наследственным. Мать Батюшкова, Александра Григорьевна, умерла в Петербурге, заболев психическим расстройством в 1795 году, когда сыну было восемь лет. А в 1829 году такая же участь постигла и его старшую, любимую сестру Александру. Целых тридцать три года К. Н. Батюшков «был мертв для внешних впечатлений», как писал о его болезнях князь П. А. Вяземский. Какая страшная судьба! Батюшков, поэт-эпикурец, снискавший себе известность классически ясными стихами, скульптурными образами, поэт, восславивший радость бытия и упоение битвой, Батюшков, поэт-подвижник, поэт-страдалец, в безумии твердил странную сумбурную скороговорку: «это сказка в сказке об одной сказке», — такой представлялась ему собственная жизнь.

После безуспешного лечения в клиниках Германии и России больного перевезли в Вологду, где он проживал долгие годы на попечении своего племянника Г. А. Гревенса. Припадки сотрясали его все реже, в часы относительного выздоровления Батюшков любил рисовать, причем в рисунках его варьировался один и тот же сюжет: крест, луна и лошадь без всадника; могильный холм, луна и лошадь. Искаженное болезнью воспоминание о незабвенном друге Иване Петине не покидало поэта до самой смерти. В начале пятидесятых годов в Батюшкове стали обнаруживаться признаки выздоровления: он много читал, цитировал на память целые страницы Державина, стал интересоваться со-

бытиями внешнего мира, следить за русскими и иностранными газетами, сообщавшими о «Восточной войне» 1853—1855 годов. Но даже тут его «не устали карать небеса» (как в молодости он написал о вечном странствователе Одиссее): в июне 1855 года Батюшков заболел тифозной горячкой и скончался 7 (19) июня 1855 года. Похоронен он был в Спасо-Прилуцком монастыре.

Когда осенью 1970 года на могилу К. Н. Батюшкова впервые в истории Заволочья был возложен венок с надписью «От писателей России», то тем самым была отдана дань общественного уважения и признания замечательному писателю земли русской, писателю военной биографии и военной судьбы.

Перед литераторами, приехавшими в Вологду и собравшимися в Прилуках для возложения венка, выступил известный поэт Сергей Орлов. Он назвал Батюшкова в своем выступлении «поэтом-фронтовиком» — и это не было обмолвкой. Сергей Орлов выразил свое ощущение облика Батюшкова и постарался как бы на мгновение приблизить его к нам, к нашему времени. Немалую роль сыграла здесь и личная биография Орлова: в двадцатилетнем возрасте, как когда-то Батюшков, он ушел на Великую Отечественную войну 1941—1945 годов и был на войне тяжело ранен. Патриотические стихи Батюшкова, прозвучавшие в Прилуках, столь же определенно и сильно подчеркнули эту волнующую связь времен.



БАТАЖНИК ЛЯПУН



В то золотое «бабье лето» я любил вставать рано-рано, с первыми лучами солнца, когда оно едва показывалось из-за крыш новостроек, когда улицы были особенно просторны и тихи. Процокает по асфальту каблучками девушка — и снова дворы, проспекты, площади замрут в утренней дреме. Прозрачный колокол неба, голубого, холодноватого, усиливает любой звук: за квартал слышно, как, слипаясь шинами с мостовой, пройдет троллейбус, шаркнет метла дворника, загомонят, торопясь и захлебываясь, городские воробыи.

А город оживает, поеживается со сна, светлеет с каждой минутой. У остановок выстраиваются первые очереди: троллейбусы и автобусы, едва замедляя ход, всасывают пассажиров, ходко бегут дальше. И опять под легкой тенью рябинок — утреннее безлюдье.

Листва на рябинках в рыжих накрапах. От этой ржавчины деревца кажутся запыленными, уставшими от летнего зноя, — тем ярче и приметнее горят кисти рябин, тем праздничнее вид домов-новостроек, самих улиц, уходивших вдаль.

Пожалуй, ни в одном другом городе я не встречал так много лесной рябины — и не только во дворах, на улицах, но и в городском парке, который полукольцом охватил кремль, подступил к глубокому рву, одолел его и разросся под самыми краснокирпичными стенами и башнями кремля. В этом старом городском парке дорожки были утрамбованы битым кирпичом

и обсажены молодыми рябинками, согнувшимися под тяжестью кистей. Как будто кровь, обильно пролитая в прошлом, прянула из глубин земли, заставила эти гроздья пламенеть среди пожухлой листвы, пламенеть всюду, куда бы не упал взгляд приезжего человека.

Таким этот город мне и помнится — рябиновым да еще ослепительно белым, потому что рябины чаще всего оттеняли белизну известных всему миру древних новгородских церквей. С куполами, нахлобученными на барабаны, приземистые, даже вроде бы невзрачные храмы возникали всегда неожиданно, внезапно, потому что были неприметны из-за лоджий, перегородок, противопожарных лестниц, всего современного, геометрически правильного многоэтажья. Зато в асимметрии церквушек, в их приземистости, многовековой прочности было что-то незаменимое и для города в целом, и для тебя самого, как в обаялой зелени, в красноте рябинок было что-то такое, что соответствовало спокойному, чисто русскому облику города, всей его красоте.

Я смирялся с тем, что новгородские храмы — ровесники кварталов-новостроек, мимо которых я проходил каждое утро: только вылизанные огнем коробки домов, груды щебня вместо церквей да поросшие травой булыжные мостовые означали в дни войны улицы и проулки. Долгие годы памятники старины воссоздавались заново, да нет, терпеливо собирались из кирпичных обломков, из крошева штукатурки, чтобы ныне на фоне свежеотбеленных стен так безыскусно, простодушно-весело пламенели осенние рябины.

Я любил в этом городе пройти через кремль, по-летописному детинец, любил смотреть на туристов, которые всегда обгоняли меня, потому что они всегда

спешили все разом увидеть, оглядеть, зафотографировать, запомнить, а я никуда не спешил и ничего не старался запомнить — я принадлежал самому себе и находил удовольствие как раз в том, что не должен ничего запоминать, не должен был догонять группу, переживать из-за отставшего товарища, я никому ничего не был должен, и поэтому мог просто так — из отдаления — смотреть и на туристов, и на краснокирпичные стены детинца, и на памятник «Тысячелетия России».

Этот памятник очертаниями — особенно против утреннего солнца — всегда напоминал мне Царь-колокол в Московском Кремле. Но стоило приблизиться к нему, обойти его со всех сторон, как передо мной вставал великий летописный свод, отлитый в бронзе гениальным Микешиним.

Золотое многоглавие Софии при этом оставалось у меня за спиной, но я мог в конце концов завернуть и туда, пройти мимо собора, неизбежно стоявшего десятое столетие, возведенного повелением сына Ярослава Мудрого, князя Владимира, мимо музыкальной школы-десятилетки, рассыпавшей из окон первые утренние гаммы, — все это можно было сделать, ведь я был предоставлен самому себе, но меня тянуло к Волхову, к гнутым, поигрывающим солнечным бликам голховским стремнинам, к ровному дыханию Ильменя, который скорее угадывался за Юрьевым монастырем, за Перынем, чем виделся наяву.

Возле железного плашкоута, к которому приставили рейсовые «метеоры», уходившие на Перынь, на берегу краснела кирпичная щебенка. В городе ее не видно, она ровно укатана катками, залита на площадях асфальтом, застроена новыми домами, а здесь она проступила сквозь песок и темно-бурой полосой ухо-

дила влево — к высоченным опорам автодорожного моста через Волхов, а вправо — к заливным лугам, которые начинались сразу же за крепостным рвом и тянулись вплоть до Юрьева монастыря. Почти в центре города — и желтые копны сена, зеленый кустарник, остов полуразрушенной церквушки. Нет, невозможно было привыкнуть к Новгороду, как невозможно было избавиться от легкого изумления при виде его заречной Торговой стороны.

Там, за рекой, вокруг Ярославова дворища, окаймленного по берегу белой стеной с арками, — все, что осталось от гостиных рядов после войны, — возникали дивные новгородские храмы: вон — Параскевы-Пятницы, вон — Николо-Дворищинский собор, вон — Прокопия, а вон — Ивана на Опоках и Георгия. И над всей этой россыпью церквей, домов, домиков, домишек, над бывшей вечевой площадью, на которой когда-то гремел вечевой колокол, над Воротной башней гостиного двора высилась ажурная телевизионная игла.

Я сошел с плашкоута. У самых ног Волхов поплескивал мелкой зыбью, но дальше — к середине — он был стремителен, полноводен, былинен, как и подобает быть Волх-реке. Не таким ли осенним утром приходила сюда девушка-чернавуха с ведром кленовым, с коромыслом кипарисовым? Или, расталкивая народ, тащили под руки мужика-смутьяна, чтобы сбросить его с великого моста, как повелевал новгородский обычай?..

Оглянувшись, я заметил на приплеске орудийный ствол самоходки, торчавший из кирпичного щебня, словно бивень мамонта. Ствол был до блеска заелозен суконными штанами новгородских школьников:

двое из них, беспечно помахивая портфелями, шли к автодорожному мосту, шли явно от этой самой пушки, которую я только что усмотрел на берегу.

«Ну, вот и встретились!» Почему-то хотелось, чтобы самоходка была именно из нашей стрелковой дивизии, входившей в состав 59-й армии. А 59-я армия держала не вообще какой-то фронт, а Волховский, и освобождала не вообще какой-то город, а Новгород Великий. Бронетанковые корпуса немцев три года не могли одолеть волховский рубеж в районе Новгорода. Сшибалась броня с броней, взрывались боезапасы в горящих танках — черный дым плыл над заснеженными полями, изрытыми воронками, усеянными трупами вражеских солдат. 20 января 1944 года наши части перешли в наступление здесь, в Новгороде: они вышибли немцев из укреплений по всему левобережью Волх-реки. И вот теперь, возле крепостной стены, бывшее вдруг оживло, одело берег в снежные заносы, Волхов — в лед, испятнало лед польньями, залило кровью, проломило у берега самоходкой, той самой, на стволе которой я сидел, уставившись в водные струи.

...По реке, задрав алюминиевые носы, пролетали моторные лодки рыбаков — они держали курс на Перынь, древнее мольбище Перуна-громовика, а может быть, и на Ильмень-озеро. Я понял: пора идти на раскоп.

...Поскрипывает роликами, повизгивает лента транспортера; она бежит и бежит по крутой стреле, бежит неостановимо, бесконечно, но иногда кажется,

что черная земля, лежащая на ней, сама по себе течет из раскопа вверх, к отвалу, чтобы там ссыпаться со стрелы непрерывной струей.

Кроме взвизгивания роликов да уличного городского шума, который доносится из-за дощатого забора и временами то усиливается, то затихает, вернее — опадает, когда мимо проскочит переполненный троллейбус, — в котловане тихо. Солнце стоит над крышей соседнего здания; из раскопа это здание видится еще выше, а небо — еще голубее. От солнечных лучей на дно падает четкая тень, зато противоположная стенка ярко освещена. Сверху ее зазеленила плесень, но чем ниже, тем чернее грунт. Слой за слоем лежат в нем осклизшие бревна, обрубленные вровень со стенкой; их сырая, посиневшая от холода сердцевина хорошо видна из раскопа.

Дно котлована в таких же полусгнивших сваях, черных от земли, плахах мостовых, нижних венцах срубов. И повсюду на низких скамеечках сидят пожилые женщины-домохозяйки, старики в выгоревших кителях, студенты-практиканты в тренировочных брюках и кедах. Один угол раскопа заняли девочки-старшеклассницы. Все они — рабочие археологической экспедиции, ведущей изыскания на одной из самых древних, но и поныне одной из самых оживленных улиц Новгорода.

Пожилые женщины привычно, словно они пересаживают комнатные цветы, берут комья влажной черной земли, тщательно разминают их в ладонях, рассматривают, что-то откладывают в сторону, в маленький ящик, но чаще ссыпают землю рядом с собой. Старики пенсионеры, перебирая комки, покуривают, поглядывают вверх. Старшеклассницы в резиновых перчатках поднимают грунт осторожно и крошат его

с явной неприязнью: им скучна, неинтересна эта работа, и, если бы не родители — какой-никакой, а все-таки заработок, — они бы давно сбежали в кино или в сад, к Волхову. Но все-таки каждый слой раскопа — сантиметр за сантиметром, пядь за пядью — прежде, чем попасть в отвал, проходит через человеческие руки. Любой предмет — будь то кость, обренок черно-угольной кожи, трубочка бересты — предварительно ощупан, осмотрен, отложен в ящик, потому что — кто знает! — может быть, именно эта трубочка окажется берестяной грамотой, а кость — искусно вырезанной рукоятью ножа.

...Холодны комья земли, ох, как холодны даже в сентябрьскую теплынь. Ведь недаром и в песне поется «мать — сыра земля» да еще «мать — сыра земля холодная». Только, пожалуй, на раскопе до конца и поймешь вещую силу слов песни: столетиями веет от этого холода.

«...Первая грамота на бересте была найдена как раз под злополучной бровкой. Нашла ее спустя ровно две недели после начала раскопок — 26 июля 1951 года — молодая работница Нина Федоровна Акулова. Запомните это имя. Оно навсегда вошло в историю науки. Грамота была найдена прямо на мостовой XIV века в щели между двумя плитами.

Акулова передала свою находку Гайде Андреевне Авдусиной, начальнику своего участка, а та окликнула Артемия Владимировича (Арциховского. — В. Д.).

Оклик застал его стоящим на расчищаемой древней вымостке, которая вела с мостовой Холопьевой улицы во двор усадьбы. И вот, стоя на этой вымостке, как на пьедестале, с поднятым пальцем, он в течение

минуты на виду у всего раскопа не мог, задохнувшись, произнести ни единого слова, издавая лишь нечленораздельные звуки, потом срывающимся голосом выкрикнул: «Премия—сто рублей!» Наконец выдохнул: «Я этой находки ждал двадцать лет!»

Вероятно, тогда, 26 июля, он был единственным человеком, в какой-то степени предвидевшим будущее находки».

Дословный отрывок из книги «Я послал тебе бересту...» профессора В. Л. Янина лучше всего, вероятно, передает незабываемый момент научного открытия, подлинного чуда наших дней, которое вначале, в полной мере было оценено лишь А. В. Арциховским, но которое позднее взволновало научную общественность всей страны, отозвалось далеко за ее пределами. А сколько таких сокровищ открылось с той поры — переписка с Корелой, отчеты управляющих усадьбами, жалобы крестьян, деловые депеши, любовные записки, детские рисунки, молитвы — томá и томá берестяных грамот, зазвучавших голосами жителей древнего Новгорода. И это чудо случилось в наши дни!..

...Однообразно поскрипывал ленточный транспортер. Солнце из-за высоких крыш заглядывало в раскоп, в котором уже многое мне было привычно и знакомо. Я сидел на железобетонных плитах, сложенных на краю котлована, и ждал, что вот сейчас, в этот самый момент, будет найдено берестяное письмо. Неодолимая сила не давала мне встать и уйти на розыски других материалов. Правда, временами думалось: а не лучше ли сходить в архитектурную мастер-

скую — там составляются проекты реставрации разрушенных храмов. Нет, не лучше! Берестяная грамота должна быть найдена на моих глазах — ведь их в Новгороде раскопали более четырехсот! Почему бы не быть еще одной? Почему бы мне не поддержать в руках трубочку бересты, пахнувшую сырой землей, хранившую человеческое Слово?..

Но чуда не было! Вернее, оно было, но без меня. Вчера, к концу рабочего дня, когда я все-таки ушел с котлована, была найдена берестяная грамота, одна из первых за весь сезон. «И оженивоя ту...» — начертал на бересте новгородец. Каково?! И женился здесь, где по окончании полевых работ строители воздвигнут ничто иное, как... нет, вы вникните в поразительное совпадение... Ни что иное, как дворец бракосочетаний! Строители уже завезли железобетонные плиты, они ждут не дождутся, чтобы приступить к закладке фундамента, чтобы через какое-то время сюда пришли молодожены, и один из них подумал, а может и написал: «И женился я здесь...»

Я сидел на бетонных плитах, сложенных строителями на краю раскопа, и размышлял обо всем этом, задаваясь бесчисленным числом вопросов. Как расценивать три слова: «...И оженивоя ту...» Что могло стоять в продолжении письма? Да и что это вообще такое? Предупреждение судьбы? Историческая случайность? Неизбежный и вечный круговорот событий?..

Солнце ушло за дома, и теперь в раскопе стало не то чтобы темнее, но как-то сумеречней, глуше, таинственней. Нижние концы бревенчатых срубов, дере-

вянная мостовая, склоненные над ящиками женщины, студенты-практиканты с белыми рейками — все потеряло отчетливость и резкость.

Долгое и, чудилось, бесцельное ожидание все-таки утомило меня. От нечего делать я стал изучать стенку раскопа, озаренную по верхней бровке закатным солнцем. Археологические пласты были отмечены остатками бревен, древесной трухой, углем, пеплом. Они сливались, перекрещивались, спрессовывались в столетия... Первый... Второй... Десятый... Одиннадцатый...

Из рассказов археологов мне было известно, что новгородская «мать — сыра земля» обладает удивительной особенностью — во влажной среде, без доступа воздуха она сохраняет на многие века дерево, ткани, бересту, кожу, рыбу чешую, орехи, даже клюкву, которая и после раскопок, пролежав в земле сотни лет, бывает съедобна.

Вот почему остатки всех мостовых, пристаней, зданий, выстроенных в древности на берегах Волхова, лежат под современным Новгородом. Столетиями они подымали город над «материком», пока не стали его многовековым культурным слоем, который, по словам В. Л. Янина, можно и должно считать «памятником национального значения».

И чем упорнее я вглядывался в древние слои, тем фантастичнее было виденье, которое возникло передо мной: древние усадьбы, терема, частоколы прорастали еще более древними усадьбами и частоколами, но в них прорастали еще и еще более древнейшие — они срастались, как срастаются друг с другом кристаллы гигантского горного хрусталя.

Мое «я» терялось в этом чудовищном лесу частоколов, в этом хаотическом нагромождении умерших,

но существующих теремов-хоромин, в этих мостовых, висящих друг над другом, перекрывающих друг друга сотни раз. Город был многолик, но он был един, он жил тысячелетие, но и одно мгновение тоже! Миг растягивался на столетия, оставаясь мигом, город был реальностью, оставаясь фантазией, домыслом, мечтой...

Таинственное виденье настолько захватило меня, что я не слышал, как окликнули из котлована.

Звала практикантка Рая, опекавшая меня на раскопе и вводившая «в науку», как она шутя говорила друзьям-студентам. Склонившись к водоотводной канавке так, что светлые волосы, рассыпавшись, закрыли лицо, девушка прополаскивала какой-то предмет. Медленно очнувшись от видений, — вот оно, первое берестяное письмо! — я сбежал по трапу в котлован и ступил на заляпанные грязью вымостки, не зная, что иду на этот раз не в глубину веков, а в собственное детство. Ведь мне не представлялось ничего особенного в том, что я иду по настилу, похожему на дощатые настилы в стране моего детства, — у нас, на Севере, куда ни ступишь, всюду гармоникой по улицам мостки. Мне следовало бы помнить о них...

А девушка, отводя волосы тыльной стороной ладони, растерянно рассматривала короткую палочку, заостренную с двух сторон. Из-за ее спины я заглянул на этот мокрый обломок, хранивший следы ножа. Рая, так и не поняв назначения находки, передала ее мне. Преодолев невольное разочарование — опять не берестяное письмо! — я стал мучительно соображать — что бы это такое могло быть? Что бы это...

«Чижик!» — верчу палочку так и сяк и уже больше не сомневаюсь: передо мной самый что ни на есть настоящий «чижик».

— Это — «чиж»... — пояснил я наконец, но дога-

дался, что мое пояснение ничего не дало Рае. Да и откуда ей, московской студентке, было знать о нашей самой любимой, самой азартной игре.

...За бревенчатым амбаром, на лужайке, вытоптанной босыми пятками всего «конца», всего деревенского проулка, я бью битой по «чижику» — и он, стремительно кувыркаясь, летит к амбару. С радостным визгом, с хохотом разбегается деревенская братия, кто куда может. А «чиж» ударяется о стенку амбара и отскакивает в сторону — тем труднее будет его найти, тем беспомощнее и озабоченней будет лицо водящего...

С кем это было? Со мной или с моим тезкой, новгородским глуздырем, который забросил «чижик» не к деревянному амбару, нет, он забросил чудесную палочку так далеко, что она пролетела пять с половиной веков и упала в этот вечеряющий час ко мне в руки.

Только теперь наступило прозрение. Только теперь я по-настоящему разглядел те находки, которыми ежечасно одаряла новгородская «мать — сыра земля», но которые я, захваченный жаждой поиска грамот на бересте, — одних грамот! — не замечал, вернее, которыми раньше не придавал никакого значения. А ведь все эти находки археологи откладывали в отдельный ящик и каждый вечер уносили на базу экспедиции — там, на базе, их подвергали тщательному осмотру.

Постороннему человеку, обладающему практиче-

ской жилкой и здравым смыслом, содержимое ящика могло показаться если не странным, то, во всяком случае, не заслуживающим столь пристального внимания ученых. В самом деле, достаточно порыться среди мусора, который скапливается за избами хотя бы в наших северных деревнях, чтобы найти эти обрезки кожи, обломки горшков и корчаг, это круглое донышко от жбана, черенок ложки, расщепленную лопасть прялки — да мало ли чего выбрасывают хозяйки за частокол, где в горячей пыли роются куры и неистово орут петухи. В общем-то раньше я и была на положении этого постороннего человека. Но теперь с какой-то странной отрадой я угадывал предмет за предметом.

...Беру из ящика и разглядываю витой черенок ложки, которую как будто вчера вырезал соседский сапожник Ероха, верчу в руках мутовку — такой мутовкой орудовала по утрам Евлаша, бережно держу на ладони обломок деревянной рыбацкой иглы — мне самому довелось в детстве выстрогать такую иглу и даже ухитриться сплести маленький бредешок.

Подумать только! За тысячелетие приемы и навыки северного крестьянина-ремесленника не претерпели заметных изменений. Нельзя было не удивляться верности однажды выбранной форме — «как скажет мера и красота», говорили в народе, — с которыми была вырезана ложка или сплетен хотя бы вот этот берестяной туесок: древний новгородец на его донышке начертал «Ждань» — значит, это был жданов туес, значит, грамотеи соседи могли прочесть, кому принадлежал этот нехитрый сосуд. Но ведь в сенях у тетки Евлаши всегда стоял такой же туес и такое же лукошко, правда, без подписи, потому что тетка не умела писать.

...Я шел в свое детство, а пришел к истокам художественной жизни народа, к тому крестьянскому ремеслу, которое меня окружало с детских лет, которое я впитал в себя, даже помимо воли и желания, но которое забыл с годами. Здесь, на новгородском раскопе, я стоял у истоков родной земли Заволоцкой: отсюда пошла и есть земля северная!..

Однако то, что я познал на археологических раскопках, чудом было, вероятно, для меня одного. Узнавание, угадывание предметов деревенского обихода настолько увлекло меня, что на какой-то миг во мне утратилось представление об огромной — в сотни и сотни лет! — временной дистанции, которая все-таки была и которую мне вскоре пришлось ощущать.

В то золотое «бабье лето» Новгород одарил археологов одним поразительным научным открытием. Это открытие заставило меня по-новому понять и почувствовать изначальную Русь.

...Нижние венцы истлевшего сруба, который был раскопан на следующий день, мало чем отличались от ему подобных, расчищенных в более верхних слоях и давно отправленных в отвал. В срубе были найдены угли, обрезки кожи, деревянная крышка от жбана, «писало» — костяная палочка, которой в древнем Новгороде пользовались вместо гусиного пера: человек брал «писало», вдавливал буквы по внутреннему слою бересты, смягченному жидкостью, возможно, рыбьим клеем, и получался оттиск этих букв. Но в общем-то сруб был малоинтересен, и его уже начали разбирать, когда под одним венцом нашли довольно странный предмет.

Начальник участка — медлительный, не по возрасту грузный лаборант исторического факультета — взял этот предмет и по обычаю прополоскал его в водоотводной канавке.

Хотя я и сидел, как всегда, на бетонных плитах, у края раскопа, он ничего не сказал мне, простодушно полагая: берестяные грамоты для меня важнее. А находка между тем была необыкновенной, и уж если я хотел заполучить «гвоздевой» материал, то в первую очередь должен был поинтересоваться ею. Ирония судьбы! И на этот раз я видел сруб, видел, как начальник участка с особой тщательностью измерял его, фотографировал, вновь и вновь исследовал каждую пядь сруба, пока наконец не решился его разобрать.

Тут-то бы мне и полюбопытствовать — чем озабочен начальник участка? Однако я не подошел, не спросил его — и по сей день сожалею об этом.

Случайно оказавшись на базе, в дощатом бараке, разгороженном на тесные комнаты (в одной проходили производственные совещания, в другой был склад археологических находок, в третьей сидели художники-реставраторы), я узнал, что за предмет унес с собой начальник участка.

Это был перунов оберег!

«А тот камень падает и стреляет сверху от грома, — можно прочесть в древнем рукописном «Травнике». — Он же громовая стрела называем... Того же камня демоны боятся, а носящий его не убоится напасти и беды и одолеет противников своих. Аще кто и стрелу громовую с собой носит, тот может всех одолеть силою своею, и против его никто не устоит, хотя бы сильнее его был».

В языческие времена поверье о «громовых стре-

лах»¹ было распространено среди народностей Европы и Азии. Да и в средние века на Руси «громовые стрелы» считались талисманами, амулетами или, по-древнерусски, оберегами, которые якобы обладают чудесной силой, оберегают человека от ударов грозы, от пожара, от меча, от «дурного глаза».

Вот почему сама по себе находка «громовой стрелы» на новгородском раскопе не представляла бы собою ничего примечательного, если бы эта «громовая стрела» не была окована в серебряный футляр. И даже это не было самым поразительным в находке. Нет, другое взволновало маститых археологов: в серебряный футляр был вдавлен восьмиугольный новгородский крест.

Сочетание двух, казалось бы, несовместимых символов — языческого и христианского — делало новгородскую находку, обнаруженную в слоях XIV века, когда, казалось бы, христианство распространилось и утвердилось по всем русским землям, поистине необыкновенной. Это было окаменевшее двуверие — две мировоззренческие стихии, противоборствуя, не могли одолеть друг друга.

Я попросил практикантку Раю принести мне «громовую стрелу», потому что все рассказанное разожгло мое любопытство. Ведь не случайно руководители археологической партии тот мирный полдень сочли наиболее счастливым, наиболее удачливым за весь сезон.

...Был обеденный перерыв. В тесной комнатке, в которой художники-реставраторы делали прориси бере-

¹ Сигарообразные, закаменевшие тела вымерших моллюсков-белемнитов.

стяных грамот, я остался совершенно один. Стол художников, заваленный листами бумаги, перьями, пособиями по археологии, томами «Материалов и исследований», освещало жидкое сентябрьское солнце. На чистом листе ватмана передо мной лежала «громовая стрела». Серебряная оковка ее была изрыта, измята, исцарапана многотонной тяжестью земли, но, измятая, изрытая, исцарапанная, она посвечивала матовым светом. Разглядел я и крест, и серебряное ушко, в которое продевалась серебряная же цепочка. И хотя в комнате было жарко, душно от застоявшегося табачного дыма, мне почудилось: от «громовой стрелы» тянет ледяным холодом, как от безмолвных земных глубин, в которых она была найдена несколько часов назад. В черной исторической мгле, что погребла и бревенчатый сруб, и владельца перунова оберега, и сам оберег,— царил этот космический холод.



Неделю назад я буквально увязался за Виктором Корёгиным, этим бородатым мазилой, отправившимся на этюды в низовья Сухоны. Этюды этюдами, но была у Корёгина одна страсть, которая заставляла его довольно пренебрежительно отзываться об этюдах, о своих выставочных композициях, увлекаться новыми замыслами, забрасывать их и не жалеть об этом. Вероятно, и самому себе Корёгин не всегда признавался в истинном призвании, потому что призвание, в котором ты не утвердился смолоду, вернее, не нашел в нем самого себя, в зрелом возрасте может обернуться бедой: нет тяжелее беды, чем однажды осознанная мысль,— не то ты делал до сих пор, не по тому руслу пошла прожитая жизнь. И счастлив тот, кто никогда не узнает об этом. А ты будешь носить свою беду в себе, скрывать ее от других, говорить о ней стеснительно или нарочито небрежно. И я понимал Виктора, который в дружеском застольи любил повторять:

Боюсь души моей двуликой
И осторожно хороню
Свой образ дьявольский и дикий
В сию священную броню.

...Корёгин был, как говорится, милостью божей художник-реставратор. Но понял он это поздно, когда собирательство древних икон, в чем-то похожее на поиски древнего клада, захватило его целиком, захва-

тило, пожалуй, не меньше, чем работы по реставрации найденных «досок» — так в обиходе, между собою, художники называют иконы, выисканные по деревням. Свою страсть к собирательству он таил от других — стеснялся ее, что ли, — и пребывал в том постоянном внутреннем напряжении, которое, по моему, присуще всем кладоискателям. Родившись на Севере, где в старину обитала чужь заволоцкая, Виктор Корёгин мог пофамильно называть мужиков, которые из поколения в поколение мечтали найти клад, захороненный на старых городищах, но весьма неохотно говорили об этом с чужими.

Пока мы ехали поездом до Котласа, а затем «ракетой» до Великого Устюга, пока мы на перекладных добирались до Устья-Федоровского, Виктор, разоткровенничавшись, немало порассказал мне о реставраторах старого и нового времени — о Гурьянове, вернувшем миру гениальную «Троицу» Рублева, о Чирикове, Юркине, Баранове, Брягине, Перцеве, о земляке-вологодчанине Федышине. Корёгин превосходно разбирался в искусствоведческих работах и, увлекшись, мог часами говорить о том, чем отличается русская школа иконографии от византийской живописи или новгородские «письма» от икон «северного письма». Но только тогда, когда мы добрались до Устья-Федоровского и поселились в избе Ивана Григорьевича Селезнева, сторожа нефтебазы, он открылся мне до конца.

В низовьях Сухоны, как и по всему Заволочью, с давних пор бытует великое множество преданий и легенд. К примеру, передают: Чудская горюшка прозвана так потому, что зарыт в ней знатный чудинин

и там по ночам «блaзнит», а в Панском болоте утонули польские паны в Смутное время и там тоже ночами «блaзнит», иначе — мерещится всякая нечисть.

Если ты местный житель, все эти слухи и побывальщины знал едва ли не с рождения — они от века живут в памяти народной и больше всего волнуют умы деревенских ребятишек, охочих до таинственных и страшных сказок.

Виктор Корёгин тоже с детства знал, что в Станке, заброшенном дворце, обитали в старину разбойники, хоронили там награбленное добро. Впрочем, он не только знал эту побывальщину, но находил на дворце — к радости и удивлению — позеленевшие медные монетки. Слышал он и предание о некой великоустюжской иконе Параскевы-Пятницы. От кого слышал? Да ни от кого! Может, от деревенских старух, а может, от пимоката, бродившего по сухонским деревням.

Слышать-то слышал, да вряд ли вспомнил бы о ней спустя столько лет, если бы не легенда, которой эта икона и была знаменита... Говорили, в старопрежнее время была она похищена каким-то новгородцем из горящего Успенского собора. Мало того, похищена — связанной, как пленная девка, увезена в Новгород. Да приплыла по воде обратно в Устюг Великий. Другие рассказывали другое. Когда Петр I соизволил отправиться в Архангельск-город, показали ему, может, ту, а может, еще какую Параскеву: стояла она в Успенском соборе особливо, и были прибиты к ней рукояти, чтобы, значит, выносить ее из собора в торжественные дни. Его величество строго приказали рукояти отнять — не приглянулась Петру ни икона, ни ее особливость. Страшась бóльшей царской немилости, начали прятать Параскеву попы, таить по при-

ходским церквям. Вот никто и не может сказать, где с того часу находится великоустюжская икона.

Виктор Корёгин, конечно, понимал, что деятели из областного отделения Союза художников, которые выдавали ему творческие командировки, на первый случай высмеяли бы его, вздумай он рассказать об этом предании. Но — поди ж ты! — каждое лето, отправляясь в низовья Сухоны, в самые отдаленные лесные деревушки, он мечтал найти именно эту легендарную Параскеву, освободить ее от многовековых записей, как от тяжелых пут, и вернуть родному городу Устюгу этот выдающийся памятник северной старины.

В Бросачиху — глухую деревеньку, состоявшую из нескольких дворов, — Корёгин возмечтал попасть, едва прослышал в Устье-Федоровском, что имеется там икона незапамятно старинного письма. Да еще, добавляли иные, бабка Харлапаниха стара и может отдать икону запросто так, если покажешься ей человеком приветливым, или, по-нашему, важеватым.

— Чего другого — важеватости хватит, — говорил Виктор, посмеиваясь и по-быстрому собираясь в дорогу. — Ежели одна важеватость нужна, все будет дело на деле. Не понял?! — удивлялся он, обращаясь ко мне. — Для таких, как ты, гаврил, переиначу: все наше дело будет в ажуре!..

Лодка-«казанка» со всего ходу громыкнула днищем, Корёгин резко сбавил обороты, потом довернул рукоять до полного: за кормой заклокотало, забурило, но широкий нос моторки поворачивало течением к берегу. Заглушив мотор, Виктор перегнулся через корму.

— Чего там?

Вместо ответа он откинул мотор на себя так, что гребной винт выступил наружу,—при этом из охладителя потекла вода.

— Тю-ю-ю... — разочарованно протянул Виктор.— «Но возможное было мечтой». — И сел против меня.

— Чего, чего?..

— Не бывать в Бросачихе,—пояснил он.— Капéц. Меня разозлили эти иносказания:

— Да говори же ты дело!..

— А я дело и говорю. Капéц, сиречь амба: шпонку сорвало!.. Понимаешь,—Виктор повторил раздельно,—шпон-ку, ту, которая крепит гребной винт на валу. Ага! Понял... До чего же ты понятливый мужик...

Пока мы перебрасывались словами, лодку относил к тихой заводи, испещренной листьями кувшинок; листья цеплялись за лодку, поворачивались боком, пропадали под днищем и всплывали, мокрые, мясистые, слегка покачивающие в темных промоинах солнечный овал.

Вскоре и это покачивание, шелестение прекратилось: лодка встала.

Ни я, ни Виктор не пошевелились, не переменили позы — переход от стремительно летящей за бортом воды, пения мотора, щегольских разворотов вдоль отмелей и нырков у камней был слишком внезапен, чтобы на какое-то время мы не отдались этой неподвижности, этой горячей слепополуденной тишине.

Охваченный неодолимой расслабленностью, я туго соображал, что делать дальше, а поэтому с детским упрямством, в котором, впрочем, скрывалось желание переложить на плечи напарника решение нашей судьбы, задавал вопрос за вопросом.

— А до Бросачихи далеко?

— Кто ее знает,— уклончиво ответил Виктор,— наверно, километров десять.

Ему тоже было лень говорить и думать. Он откинулся на локти и вытянул вперед ноги в выгоревших кедах.

— Ну, и что? — не унимался я.

— Сказано тебе, — с усмешкой ответил Виктор.— «Невозможное было возможно, но,— он подчеркнул «но» восклицанием,— возможное было мечтой»!

— Надоел же ты мне вместе с Александром Александровичем, его Мировой душой, Вечной Женственностью и Таинственной Незнакомкой...

— А ты мне со своими вопросами.

— Поговорили! — подытожил я, как всегда, первым идя на примирение.

Великое дело — прощать ближним слабости и привычки. А в дальней дороге без этой науки прощать вообще не обойтись.

Институт Корёгин кончал после войны в Ленинграде, и Ленинград дал ему не только художественное образование, но и научил скрывать под броней иронии свои неудачи, горести и обиды. В их студенческой шараге говорить вот так насмешливо, отрывисто, резко служило признаком хорошего тона. Ленинграду же Виктор был обязан и любовью к Блоку, который вначале захватил его «Скифами», а в последние годы безраздельно увлек трепетным мистицизмом стихов о Прекрасной Даме. И хотя Корёгин ни одного стихотворения Блока не помнил наизусть целиком, в разговоре он неожиданно выпаливал блоковские строфы

и строки. Не из-за этой ли неизменной приверженности к Блоку он в конце концов и согласился взять меня с собой? Не надеялся ли он найти во мне профессионального толкователя блоковских снов наяву? Не знаю. Только привычка к стихотворным цитатам меня иное раздражала, иное забавляла — в ней я усматривал некую позу, самолюбование, пока не привык к ней и не понял, что Блок в речах Корёгина возникал интуитивно, был для него внутренней потребностью и опять-таки своеобразной броней, под которой скрывались и его восторженность и его душевная деликатность.

...Виктор встал, покачал бачок с бензином, отвинтил пробку и со вздохом завинтил обратно.

Все наше предприятие — плыть по реке, на которой перекаты, по-местному, переборы, следовали один за другим, — выглядело теперь по меньшей мере блажью. Взять у хозяина, долго мявшегося, не соглашавшегося с нами, алюминиевую лодку-«казанку», разбить мотор, ну, пусть не разбить, сорвать шпонку, не доехав до Бросачихи какой-то десяток километров, — это надо было уметь. А ведь с Бросачихой нас связывало столько надежд... Воистину «невозможное было возможно»... Теперь опять приходилось на неопределенно долгий срок откладывать то, что откладывать больше не было никаких сил.

— Давай-ка, паря, берись за весла... — Виктор, прищурившись, смотрел против солнца. — Пристанем во-о-он к той круче.

— И что?

— Там увидим!

Нехотя я снял алюминиевые весла, лежавшие вдоль

бортов, уперся ногами в рейку: лодка, такая легкая на ходу с мотором, оказалась неповоротливой и тяжелой, едва был сделан первый гребок. Я поддевал мокрые листья и змеевидные стебли на весла, рывками продвигал лодку вперед и особенно ясно понимал, что без мотора нам не пройти не то что вверх к Бросачихе, но и не спуститься обратно к устью, к селу Федоровскому, откуда мы выехали на рассвете, преисполненные лучших надежд.

Виктор достал из-под сиденья промасленный сверток, в котором хранились запасные свечи, отвертки, гаечные ключи, разложил все это добро на коленях и теперь задумчиво почесывал заросшую щеку, перебирая инструментарий... Когда общими усилиями мы вытащили лодку и сняли мотор, он раскрыл план действий. Перво-наперво, надо пробиться через лес на шоссе, его проложили в здешних местах строители газопровода «Северное сияние». После — попутной машиной — до ближайшей деревни, где есть какая-никакая мастерская или, на худой конец, мужики, разбирающиеся в моторах. А такие нынче везде есть! Мне же пребывать при лодке, ловить рыбу и, поймав, оную, варить из нее уху.

Закинув за плечо аэрофлотовскую сумку, Виктор пошел вдоль обрыва. Издали была видна его худоба. При черной бороде, которая делала загорелые пролысины на лбу еще заметнее, а щеки еще более впалыми, походил он на странника, случайно забредшего в наше время. Впрочем, и худоба, и сутулость, и прямая черная борода, которая в пору студенческой юности была модной шкиперской бородкой, и нос уточкой — все на первый взгляд довольно унылое обличие его явно не соответствовало этой живой и деятельной натуре: пожалуй, вернее всего о ней говорили серые,

глубоко посаженные глаза да пальцы художника, постоянно что-то трогающие, как будто ласкающие предмет, к которому они прикасались.

...Из носового отсека «казанки» я извлек удилище спиннинга, коробку с блеснами и катушку. Попыхивая сигаретой, отгоняя назойливых оводов, привычно свинтил удилище, помахал им, проверяя гибкость, потом долго перебирал блесны, пока не остановился на серебряном «байкальчике», исцарапанном щучьими зубами и приносившем мне прежде неизменную удачу. Продеть леску в кольцо карабинчика, завязать ее тугим узлом — было делом одной минуты. Я встал к корме, отвел удилище назад, сделал несильный бросок — блесна описала дугу и шлепнулась метрах в двадцати от меня.

Механический треск, который издает спиннинговая катушка, когда выбираешь лесу, шлепанье блесны то в темную заводь, то в слепящую быстрину — вот все, что я мог слышать и воспринимать с того самого мгновения, как почувствовал первый рывок. Остальное в этом мире перестало для меня существовать...

Не мной сказано: долгая дорога располагает к откровенности, сближает людей. Так было и с нами. Томительны часы ожиданий — то рейсового катера, то автобуса, то самолета, опаздывающего из-за погоды, — и в эти долгие часы Виктор Корёгин раскрывал облик родного Заволочья с такой стороны, о существовании которой я и не догадывался, не подозревал раньше. Правда, рассказывая о Севере, Виктор Корёгин рассказывал и о себе, обнаруживал свою сущность, свое «верую», потому что ни в чем другом человек так полно и отчетливо не может проявиться, как

в отношении к профессии, к истинному призванию.

— Понимаешь, — говорил он, подпирая спиной скамью на автовокзале и вытянув вперед ноги, — любовь к цветному узорочью у нас, северян, в крови. Вспомни Оранту в киевском Софийском соборе, исполненную греческими мастерами. По-другому ее называют «Нерушимая стена». Она массивна и монументальна. Да иначе и быть не могло — византийцы унаследовали художественные приемы античного мира. Для древнерусских живописцев, освободившихся от византийского влияния в четырнадцатом веке, наоборот, силуэт приобрел главное значение. Почему? Была в этом своя закономерность: библейский сюжет иконник изображал описью фигуры, ритмикой линий, цветных пятен, имеющих к тому же символический смысл. И ему тем легче было обрести это чувство силуэтности, эту ритмику и гармонию цветов, что его родная мать или бабка традиционным узорочьем, по существу, выражала то же самое. Правда, была разница и в исполнении и в назначении рисунка. Красные нитки, которыми вышивалось на полотенце «дерево большое», со временем выгорали, но узор сохранялся до тех пор, пока существовало это праздничное полотенце или вышитая рубаха. Другое дело — древняя живопись. Иконник покрывал изображение олифой и тем самым как бы консервировал краски на долгий срок. Но через шестьдесят-семьдесят лет олифа темнела, лики приобретали ту сумеречность, неразличимость, с которой у нас по традиции связано представление о древних иконах. Новое поколение деревенских иконников покрывало потемневшие доски новым левкасом — меловым раствором, поновляло изображение или писало новый сюжет. Сюжет накладывался на сюжет, краска — на краску. Ты представ-

ляешь, сколько таких записей могло быть за сотни лет?

Теперь возьмем художника-реставратора. Чтобы добраться до оригинала, до «материка», ему приходится снимать все слои олифы, все записи и делать это с величайшей осторожностью и старанием. Да и снимать-то не сразу, а на крохотных участках, каждый раз изучая следы старых чинок, записей, поновлений. Вот ты и скажи — разве реставратор чем-нибудь отличается от археолога? Оба постепенно продвигаются в глубину веков, в неизвестную мглу столетий. Только реставратор сам себе и рабочий, и руководитель экспедиции, и ее научно-исследовательский центр...

Подобие улыбки пробежало по тонким губам Корёгина.

— Экономия фондов зарплаты очевидная, а результат один: и мы, художники, хотим знать все о тех, кто мог бы сказать о себе примерно такое: «Затопили нас волны времен, и была наша участь — мгновенна!..»

Как ни увлекали нас эти беседы о древнерусской живописи вообще, как ни были они для меня новы, в конце концов мы возвращались все к тому же — к легенде о великоустюжской Параскеве-Пятнице, покровительнице торговли на Руси. На мой взгляд, в легенде было много таинственного и неясного.

— Ага,— охотно отзывался Корёгин,— на то она и легенда, а не справка из управления архивов.

— Но ты-то в нее веришь?..

— Верю! А что? Тебе не нравится? Мистицизмом отдает?..

— Да нет, я не об этом... Меня волнует в данном случае психологический феномен...

— Хвати-ил,— протянул насмешливо Корёгин.— Какие слова еще знаешь — сикамбр, органон, феномен...

Когда Виктор не хотел говорить всерьез, почти невозможно было пробить броню его иронических замечаний. Но я не отступал и твердил про психологический феномен, предопределивший — по неведомым мне причинам — поступок новгородца: ведь на такое мог решиться не каждый!..

Во всем остальном я гроша ломаного не дал бы за достоверность легенды. Известно, что в старой России существовала целая промышленность, изготовлявшая жития местных святых, явления чудотворных икон, что в каждой второй избе можно было найти подобные брошюры, что воскрешать это религиозное чтиво...

Пока я рассуждал на этот предмет, Виктор все поглаживал щеку, опершись на колено и уставившись прямо перед собой.

— Та-ак,— подытожил он.— Но феномен ты все-таки признаешь...

Он разогнулся, вцепился тонкими пальцами в край скамьи и, обратившись ко мне, заговорил:

— Да пойми ты, гаврила. Существует великолепная древнерусская литература — летописи, апокрифы, сказания, поучения — и существуют церковные подделки под нее, о которых ты только что соизволил говорить. Существует история, но существует и подделка под историю. Легенда о сухонской Параскеве — наша история, а не подделка. В прошлом веке — его ты имеешь в виду? — икону бы просто выкрали, ободрали с нее оклад — и дело с концом. В легенде же она — военная добыча. Это — иная материя. Это — неоспоримая примета времени. Пойми меня, я имею

в виду не время вообще, а предполагаемое время написания иконы. Это — время жесточайших междоусобиц, тем более жестоких и страшных, что Русь изнемогала под игом татар. Время Мамаева побоища и позорной сдачи Москвы ордам Тохтомыша. Время Дмитрия Донского и застарелых распрей между князьями. Время расцвета христианства и заката язычества... Да что там говорить! Целая эпоха, кровавая, жестокая, таинственная, как и сама легенда, чудится мне в ненайденной Параскеве. Хотим ли мы узнать о ней больше того, что знаем?.. Это — решать тебе.

— Хорошо!.. Ты убежден в художественной ценности Параскевы. Но почему тогда так болезненно скрываешь поиски от других?

Вопрос заставил Виктора задуматься.

— Слаб человек, — ответил он спокойно. — Боюсь показаться смешным. Жизненный опыт мне говорит: предубеждение — сила. А я не преодолел его в самом себе. В чем оно? Хотя бы в том, что я верю и не верю в Параскеву. Погоди, погоди! — перебил он меня, видя, что я собираюсь возразить. — Ты лучше спроси: «В какую?» В какую? — Виктор помедлил. — А в такую, как изображение богородицы с младенцем Христом, называемое «Сикстинской мадонной». Всего-навсего! Чтобы во мне раз и навсегда умерло: одна пресвятая дева — предмет величайшего эстетического наслаждения, а другая... Ага! — Виктор даже хлопнул себя по колену. — Вот он — психологический феномен, разгадать который доведется — да и доведется ли? — будущим историкам и искусствоведам. Вот оно — предубеждение против своего искусства, своей истории, своего бытия, неискоренимое в нас... Теперь представь: я разыскиваю святую Магдалину работы

неизвестного умбрийского мастера XIV—XV веков, чудом оказавшуюся здесь. Да никому и в голову не придет подозревать меня в блажи. А святая Параскева из Великого Устюга — не таё, нет, не таё,— Виктор презрительно пожевал губами.— А что таё?! Другой-то живописи в раннем средневековье не было!

Он сделал длинную, длинную паузу. Потом взорвался:

— Найти! Найти что-то такое, что встало бы в один ряд с «Троицей» Рублева, с ферапонтовскими фресками Дионисия. Найти. Доказать. Еще раз доказать. И еще раз доказать самому себе... Поразиться гениальности... Возопить от восторга...

Серые, глубоко запавшие глаза Корёгина были темны от возбуждения. Многодневный загар не мог скрыть бледности, покрывавшей лоб и щеки. Я молчал...

Почти весь вечер мы провели в молчании. Больше за всю поездку мы ни разу не возвращались к легенде о великоустюжской Параскеве.

Остатки ухи я выплеснул в костер, который зачал, зашипел, заklubился белым парком. Виктор лежал недалеко от костра, выставив углом бороду, устало закрыв глаза,— он приходил в себя после дальней дороги. Пока я надраивал эмалированное ведро, сносил в лодку рыболовные снасти и укладывал все это хозяйство в носовом отсеке, он не шевелился — лежал, сложив руки на груди, неприятно поражая меня своей неподвижностью, сложенными крест-накрест руками и выставленной вперед бородой. Я окликнул его.

— Сейчас, сейчас,— отозвался он сквозь дрему и поднялся, всполошно оглядываясь.

...Снова я часто бухал веслами в золотистую гладь реки, и снова Виктор рывком дергал привод мотора: от этих рывков лодка слабо раскачивалась, зыбь пробегала по реке до темных раkit и медвяно желтевших над ними косогуrow.

Высокое небо испятнал разлохматившийся след самолета. Я пошел глазами по этому следу и неожиданно увидел перевалку, белоснежную гряду облаков, набухавшую над лесом зловещей синью.

...Мотор взревел, окутав Виктора бензиным дымом, за бортом прынула назад, понеслась вода. Я лег животом на теплый алюминиевый нос лодки, чтобы издали предупредить Виктора о подводном камневалуне.

— Пересядь на скамейку,— крикнул он через некоторое время.— Добавим газку.

Мотор запел регистром выше, стремительно потекли по берегам наволоки — низкие прибрежные луга и заросли ольхи.

Клубящаяся гора застыла над лесом — это наступил миг странной неопределенности в природе, когда близкая гроза может разойтись, рассеяться по безбрежному небосклону и внезапно осветить землю закатным ярко-алым солнцем.

Мы уходили от перевалки, вернее, замороженные скоростью, думали, что мы уходим от нее, но чем быстрее мы от нее уходили, тем быстрее река из темно-синей становилась сизой, глянцево-маслянистой, зловещий вид приобретали окрестные луга и пашни. Только на севере может опахнуть этой дикостью и жутью, этой предгрозовой тоской, таящейся в извечном противоборстве стихий.

Из перевалки хватил порыв ветра, реку заморщило, зарябило, погнало вперед лодки крупной зыбью: лодка запрыгала по кочкастому полю, разбрасывая в обе стороны каскады брызг. Поворот за поворотом мы проходили в густеющей мгле, а дождя не было, и отлегало от сердца, развеивалось предгрозовое томление.

Сухой электрический треск пробежал в недоступной глазу вышине; был он слаб и нестрашен. В потемневшей бездне проросло ослепительно-белое корневище, и тут же небо раскололось с таким оглушительным грохотом, что я вобрал голову в плечи.

Порывы ветра становились все чаще, «казанку» водило на высокой скорости, как водит в воздушных струях самолет; громовые разряды прокатывались по небосклону, а дождя все не было, хотя первая ледяная капля с размаху ударила мне в лицо. Вновь на мгновение осветило и прибрежные кусты, и лодку, и напряженное лицо Виктора. Оглянувшись на вспышку, я увидел, как тысячи гвоздиков запрыгали по воде: впереди лодки хватил ливень.

Виктор, закрывая грудь и плечи плащом, добавил оборотов.

— ...жии-ись,— донеслось до меня.

Треск грозового разряда, почти одновременного с вспышкой молнии, заглушил слова и надсадный вой мотора.

— Держись, говорю, паря,— прокричал снова Корёгин и жестом показал, чтобы я ложился на дно лодки: при вспышках молнии он отыскивал фарватер.

Закутавшись плащом с головой, скорчившись так, что колени упирались в грудь, я лежал меж скамеек, а лодка раскачивалась в пространстве, соткан-

ном из дождевых струй, и сходство с самолетной болтанкой было еще неотступней, острее.

Довольно долго мне пришлось лежать под проливным дождем, вздрагивать от озноба, от прикосновений мокрой одежды к телу, но когда мне осточертели и эта болтанка, и темнота, и сырость и когда я встал на колени — впереди прорезались золотистые огоньки Устья...

Тысячи дождинок покалывают в драночную крышу. От этого покалывания наметанное в угол сено кажется особенно хрупким и сухим, а повесть Ивана Григорьевича, погруженная в непроглядный мрак, особенно теплой, обжитой. Отдавшись этому теплу, этой обжитости старого деревенского дома, Виктор раздумывал о том, что занимало его сильнее всего: он думал об иконе из Бросачихи, досадовал, сожалел и снова надеялся на что-то, надеялся неопределенно, томительно-грустно. Он припоминал прежние находки — они приносили ему немало восторженных минут, но все-таки в нем неотступно жило беспокойство, которое заставляло его покидать семью, городскую квартиру, ночевать в горкомхозовских гостиницах, месяцами не видеть друзей и, главное, раздраженно относиться к самому себе, к своим композициям, к тому миру линий и красок, в котором другие по-прежнему чувствовали себя столь же тепло, как он на повети сторожа Ивана Григорьевича.

Виктор вспоминал доски древних живописцев, мысленно проходил по залам знаменитых музеев, припоминал росписи в соборах и монастырях и поражался тому, что главного-то он и не заметил. А главным было чудо искусства, то бесконечно длящееся состояние, запечатлеть которое стремились старые живописцы, — нет, не краткий момент, не четкий вре-

менной отрезок... ну, как в его картинах, а именно состояние...

Пожалуй, Корёгин не сумел бы развить или как-то истолковать свое открытие, но он чувствовал, что подошел к нему вплотную.

Как жаль, что в студенческие годы он не знал слов, сказанных Анри Матиссом: современный художник должен черпать вдохновение в живописи древнерусских мастеров. Народность, яркость, большая сила чувств — вот первоисточник художественных исканий! И еще: в Италии больше делать нечего, французские художники должны ездить в Россию.

Почему он не знал этого? Почему так поздно пришло к нему прозрение, ведь он мог бы увидеть тусклые краски своих картин, не создавая их?

Почему он не сделал этого?..

Торопливее забарабанил по дранкам дождь. В углах между бревенчатым срубом и скатом крыши оказались щели, оттуда полыхнул огненно-белый свет: на Устье-Федоровское накатывалась еще одна перевалка.

Виктор лежал с открытыми глазами; белые отсветы выхватывали из темноты бревенчатые стропила, ниже — под скатом — какие-то бутылки, банки, картонные коробки, сложенные на широкую доску — торец ее виднелся из-под рухляди, отслужившей свой век, но прибранной бережливым Селезневым.

Виктор так и не мог понять, что это такое: старая столешница или, возможно, крышка от сундука?..

Засыпая, он вспомнил себя, лежащего пластом на нарах в блиндаже, вырытом невдалеке от Волхова. Тяжелые немецкие «пантеры» — бронированные чудища — упорно бьют по нашим позициям. От каждого взрыва в блиндаж осыпается, шурша, песок, и просветы между накатом и срубом начинают багрово светиться...

Блеяние овец, кудахтанье кур, устраивавшихся на гнездо, прервалось таким оглушительным криком петуха, что стало ясно: пытаться снова заснуть — бесполезно.

Топот овечьих копытцев, густое, нетерпеливое меканье матки, крик петуха — все было удивительно согласно с утренним холодком, с запахом сена, с солнечными лучами, которые пробивались в щели чердака и кружили рой пылинок.

От неистового кукареканья мы проснулись одновременно, и Виктор, как будто повинувшись внезапному толчку, пошел в дальний угол повети, где на картонных коробках поблескивали банки, бутылки, лежали овчины и старые зипуны.

Мне не хотелось вылезать из спального мешка. Густые паутины, развешенные под гребнем крыши, кудахтанье кур, блеяние овцы-матки — все это откровенно занимало и радовало меня, а больше всего радовало предчувствие скорого подъема, сырость трав, туманец над рекой и вся непередаваемо яркая полнота жизни, которую несет с собой послегрозовое утро в деревне.

Пыль в солнечных просветах завилась гуще — Виктор возился в углу, скидывал мережки, ватники, овчины, снимал пустые банки — пытался вытащить

из-под картонных коробок выгнутую крышку старого сундука.

— Да помоги ты мне! — окликнул он меня. Вдвоем мы поднесли черную доску, заляпанную засохшим куриным пометом, к воротцам, через которые подают на повесть сено. Протяжно проскрипел отводок, солнце брызнуло в полумрак чердака, сильнее запахло навозом, мокрым деревом, травой. В мареве загорелась, как голубой спирт, река: утро было тихим, солнечным, умиротворенным. Но Корёгин, присев перед крышкой на корточки, не обращал никакого внимания на эту утреннюю благодать. Он изучал еле приметные затесы и врезные планки, которыми крепилась крышка: ее вогнутая поверхность заросла бугорчатым слоем пыли, что-либо разглядеть на ней, по-моему, было невозможно. Но эту вогнутую сторону и рассматривал художник. Кое-где он смахнул пыль — доска зажелтела старым-престарым деревом, как матица в избе, где потолок еще не заклеен бумагой.

— Понятно? — это Виктор обратился ко мне, подытожив свои наблюдения. И запел: — «Я вас открыл, святые письма. Я вас храню с улыбкой на рас-
путьях...».

— Хоть убей, не понимаю, — признался я.

— Так и следовало ожидать! — скрытое ликование прорвалось в голосе Корёгина. Однако причиной его ликования была не моя растерянность... нет, а доска, которая стоймя стояла перед нами.

— Смотри и запоминай, — наставительно начал Корёгин. — Это не столешница. Это не крышка от сундука, это старая храмовая икона. Видишь, липовые доски вытесаны топором. И врезные шпонки тоже обтесаны и обработаны топором.

Возбуждение Виктора передавалось мне.

— Это углубление называется ковчегом, или, по-деревенски, корытцем: оно — неперменная особенность древней иконы. Доходит? — Тонкие губы его расплзлись в улыбке. — Доходит до тебя, гаврила?!

Он живо потянулся к воротцам, вдохнул утреннюю свежесть и счастливо сказал:

— А теперь спустим это чудо-пречудное, диво-предивное вниз.

Мы прислонили тяжелую доску к крыльцу. При ярком солнечном свете она выглядела еще запущеннее, грязнее. Однако Виктор хлопотал возле нее в том радостно-сосредоточенном состоянии, которое мгновенно преображает человека и которое невозможно скрыть от посторонних глаз. Он сбегал на поветь, принес обрывок мережки и стал протирать доску, вроде бы даже не протирать, а ласкать ее бугристую, пыльную поверхность.

С крыльца спустился хозяин. Он смотрел на наши хлопоты и заботы, щурясь от дыма папиросы: ни тени удивления не было на его лице.

— А что, ребята, видно, сгодится вѣка¹ в вашем хозяйстве?

— Сгодится, Иван Григорьевич, — с готовностью отозвался я. Но Виктор, протирая руки мережкой, подошел к Селезневу и, глядя ему куда-то в переносицу, хмуро спросил: — Иван Григорьевич, откуда у вас это? — он показал на доску.

— У хлеба не без крох, — посмеиваясь, ответил хозяин. Потом подумал и пояснил: — Это мой тесть

¹ Вѣка — крышка от короба, вообще крышка.

Николай Константинович забагрил у запани. Давно дело-то было, не упомяну и когда.— Селезнев ввинтил окурок в землю.— В Бросачихе разбирали на дрова церковь Вознесенья, лесу-то у нас мало, девать некуда, кто-то из тамошних и спустил ее в реку. Преже обычай был — спускать иконы на воду, ежели церковь порушат.

— Иван Григорьевич, а вы не отдали бы эту доску?..— Корёгин замер в ожидании.

— Почему не отдать,— спокойно рассудил Селезнев.— Ежели по совести, дак она мне вовсе без надобности...— Хозяин почему-то замолчал.

— Да мы, Иван Григорьич...

— О чем разговор, ребята,— оживившись, подхватил Селезнев.— Ежели люди просят, ежели им нужда приспела...

Виктор весело подмигнул мне и, не прерывая, дослушал Селезнева до конца.

В Заволочье судоходные реки многолюднее иных прибрежных поселений. По реке тянутся плоты, разворачиваются у пристаней трамвайчики, снуют моторки, набегают и, оставляя бурунный след, тут же исчезают «ракеты», а на окраинных улицах дремотно, пустынно, тихо. Редко-редко пропылит совхозный грузовичок, покачивая бортами, проедет легковушка, сопровождаемая лаем собак и взглядами одиночных прохожих. Обочины дороги от весны до осени зеленеют травой, на них пасутся коровы, ребятишки играют в мяч, старшие чинят лодки или пилят бензопилой дрова. Деревянные мостки на бревнах-подкладках гулко и весело отвечают на шаги прохожих. За домами повсюду виднеются сараи, поленницы дров

и старые тополя — выше этих тополей и сараев только купола церквей да мачты высоковольтных линий.

В таком прибрежном поселении, называемом Дымковская слобода, мы и жили с Виктором после возвращения из Устья, жили в начальной школе, в пустом, а поэтому неуютном и безмолвном классе. Парты были вынесены и сложены громоздкой кучей на дворе, коридоры школы залиты известкой, двери зашпаклеваны — пахло краской, мелом, тесом и пылью давно не проветриваемого старого здания. Но в просторные окна голубела Сухона, а за Сухоней — бетонная набережная города Великий Устюг. Эта набережная со старинными особняками, соборами, зелеными кущами деревьев отсюда — из-за реки — была изумительно красива; особенно в центральной части, где в окружении крыш, куполов подымал вверх многоярусные, вычурные главы Успенский собор, — филиал местного историко-художественного музея. Хороша была и двухэтажная пристань: возле нее — борт о борт — стояли двинские теплоходы, «ракеты», работяги-буксиры, щеголеватые катера.

В город из этой Дымковской слободы мы переезжали на пароме с брезентовым верхом и старым, чадящим мотором, снятым с трактора ЧТЗ.

Нетерпение Виктора приступить к расчистке иконы, найденной в Устье-Федоровском, было настолько велико, что вскоре мне пришлось одному ездить в город за разными хозяйственными мелочами и покупками. И сколько бы раз я не возвращался из таких поездок, всегда заставал одно и то же: Виктор сидел перед черной доской на расшатанном стуле, облокотившись на колени, подперев ладонями обеих рук бороду, и в упор смотрел на безмолвную доску.

Однажды я застал его деятельным и возбужденным. Подпоясавшись полотенцем, Виктор кипятил на электроплитке медицинские шприцы. В этот день я никуда не поехал, а лежал поверх спального мешка, читая какую-то «давид-копперфильдовскую муть», как сказал бы Холден Колфилд, герой романа Сэлинджера. Мне хорошо было видно, что делал Корёгин.

Набрав в шприц слабо разведенный рыбий клей и заранее положив доску на учительский столик, Виктор осторожно прокалывал иглою красочный слой по краям ковчега, где краска охлупла и пошла от сырости пузырями. Он питал левкас столько, сколько тот ебл.

Был Корёгин похож в этот момент на «брата милосердия» — настолько бережно, морщась, будто от боли, он прокалывал черные пузыри и бугры. Затем с предельной тщательностью размягчил рыбьим клеем верхний слой и стал заклеивать каждый кусок полосками папиросной бумаги. Бумага плотно-плотно прилипала к доске, и все-таки Виктор сходил к сторожке школы, выпросил у нее чугунный утюжок, нагрел его и сквозь газету стал легонько проглаживать всю поверхность иконы.

Несколько дней мы не виделись — я уехал в Котлас, а оттуда в Сольвычегодск. Когда же вернулся и первым делом бросился к учительскому столу, в классе ничего не переменилось: бугристая поверхность доски была заклеена латками полупрозрачной бумаги.

Все чаще, томясь вынужденным ничегонеделаньем, мы уезжали в город или уходили к Троице-Гледенскому монастырю, где с берегового обрыва — Гледёна,

образовавшегося от слияния Юга и Сухоны, смотрели на даль и ширь, расстилавшуюся перед нами. Гора Гleden вместе с Соколиной горой, что в самом Устюге Великом, образует здесь ворота — и дальше шли наволоки, красноглинныя угоры, гребни лесов, но пойменное раздолье вроде бы синело, суровело, дышало близостью Ледовитого океана.

И казалось тогда: эти ворота в старину открывали путь новгородским корабельщикам, позднее — устюжанам-мореходам, идущим встречъ солнца в Беломорье, Мангазею, Сибирь и — через Тихий океан — на Алеутские острова.

Истекло ярко-алым сиянием солнце. Оно садилось за нашими спинами, а мы, свесив ноги с обрыва, отдавались безмолвному северному закату.

Как-то само собой вспоминались, возникали стихи, словно гладкое зеркало родника бугрили подземные ключи.

На глади бесконечных вод,
Закатом в пурпур облаченных,
Она вещает и поет,
Не в силах крыл поднять смятенных...
Вещает иго злых татар,
Вещает казней ряд кровавых,
И трус, и голод, и пожар,
Злодеев силу, гибель правых...

Интонация стихотворения менялась, и, следуя интонации, голос начинал вибрировать:

Предвечным ужасом объят,
Прекрасный лик горит любовью,
Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

— «Прекрасный лик горит любовью», — как эхо, повторял вслед за мной Корёгин. И вздыхал, и раз-

дельно, словно вслушиваясь в каждый звук, произносил — «Горит любовью...»

После этого всегда мы говорили о Блоке. Мне казалось, что поэт шел неизведанными путями, в чем-то схожими с путями группы Батиньоль, группы импрессионистов: как те, стремясь вызвать представление о предмете тенью, категорически отвергали битую и открыли светотень, так и Блок, погружаясь в «ночь», «туман», «вьюгу», открывал в словесной живописи контрастность между тенью и светом, придавал слову неуловимую воздушность, изнутри озаряя стихи светом и его скользящими рефлексам.

— А по-моему, Блок ближе к искусству мистических цветовых символов, характерных для русских иконников, чем к устроителям Салона,— возражал Корёгин.

— Ну, не совсем...— не соглашался я.— Его Прекрасная Дама — все-таки «Мадонна» западных мастеров, а не «Одигитрия» Дионисия! И хотя у раннего Блока немало монастырских звонов, бледных иноков, красных лампад, вещей птиц и всяческой болотной чертовщины, по живописи он ближе к импрессионистам с их светящимися полутонами, чем к пылающему плащу Георгия-победоносца.

— Не скажи! — не сдавался Корёгин.— Вспомни «Россию», «Опять над полем Куликовым», вспомни «Скифов» — какая в них четкая гамма алого и золотого!..— Спор разгорался.

В возбуждении мы вскакивали, прохаживались вдоль обрыва, снова садились. Трава начинала тяжелесть от росы, и туман подымался из зарослей, темневших под Гледенем. Там, на отмели, дети иногда разво-

дили костер — их лица странно краснели от огня, да и весь костер с детьми, с их красными лицами, с их неподвижностью был языческим виденьем, случайно возникшим и готовым немедленно исчезнуть вновь.

Долгожданное утро оказалось пасмурным — это мы поняли, не вылезая из спальных мешков, но погода превзошла худшие ожидания. Мокрый блеск крыш, цинково-рифленая гладь Сухоны, обложное небо — вот что виднелось сквозь меловые капли. В классе было прохладно, сильнее отдавало застарелой сыростью и пылью.

Позавтракали мы на скорую руку. Виктор, подпоясываясь полотенцем, на ходу дожевывая хлеб, придирчиво осмотрел склянки с химическими растворителями, что стояли на всех подоконниках, пододвинул ближе к свету учительский столик. Кроме черной доски, на столике лежали вороха ваты. Виктор помедлил, осмотрел и ощупал весь ковчег, с которого была смыта папиросная бумага, и только после этого стал растирать квадрат сантиметров десять на десять. Растирал он его в верхнем правом углу ковчега, поминутно меняя тампоны, — постепенно под ваткой проступила тускло-желтая охра.

Виктор уменьшил квадрат и начал смывать это охристое пятно. Его костистая спина привычно гнулась над столиком, его цепкие пальцы как будто машинально брали тампон, макали его в растворитель и мягкими кругообразными движками ходили по поверхности ковчега. Лицо было серьезно, Виктор не отвлекался, не поглаживал по привычке заросшую щеку — он весь был в работе. Росла куча отброшенных тампонов — росло и мое нетерпение. Наконец —

и это было все-таки совершенно неожиданно — среди темно-охристой поверхности квадрата что-то слабо замерцало, засветилось. Виктор чаще разгибался, отходил, вглядывался в это мерцание. Но теперь и мне было видно: в том месте, где он смывал один красочный слой за другим, проглянула зелень, нежная и прозрачная, как травинка, которая вмерзает в глыбу черного льда и не может оттаять до водополя. Зеленое пятно постепенно расширялось — и уже проступило изображение надписи, красное с золотым.

Корёгин побледнел, внутренне напрягся: он пытался разобрать полустершиеся титлы и буквы.

— Пятница! — в растерянности он поднял на меня глаза.

Он опять впился в красную с золотым надпись. Потом сел на стул, захватил голову руками и так сидел довольно долго. Вскочил. Заорал:

— Пятница! Параскева-Пятница!

Доведись заглянуть к нам сторожихе, она бы обеспамятовала от изумления: Виктор вылягивал худыми ногами в обе стороны, кричал какую-то восторженную чушь.

Да и я не мог прийти в себя от мысли, что тогда на чердаке Ивана Григорьевича мы нашли легендарную великоустюжскую Параскеву.

...Шел конец марта.

Возле двери, обитой черным дерматином, я долго топал ногами, стряхивая мокрый снег, и лишь потом нажал кнопку звонка. Открыл дверь Корёгин. Он несколько не удивился моему появлению, как будто расстались мы с ним не полгода назад, а только вчера.

— Давай проходи, проходи...— сказал он, легонько похлопывая меня по спине и пропуская вперед.

Из прихожей, в которой я оставил пальто и дорожный чемодан, мы прошли в комнату; здесь все было, как и летом, перед нашим отъездом,— немного безалаберно и ярко-ало.

Этот алый свет струился от новых, неоконченных картин самого художника, от плащей воинов и головных покрывал богородиц на иконах, от расписных прялок, от тахты, придвинутой к стене и покрытой темно-красной, с черными полосами тканью.

Жена Виктора — милая худощавая женщина в очках — поздоровалась с тем провинциальным радушием, которое, увы, теперь встретишь не часто. Я знал, она немедленно уйдет на кухню собирать чай для неожиданного гостя.

Мы сели на тахту. Поглаживая левой рукой висок, Виктор обрадованно смотрел на меня, пока я рассказывал столичные новости.

— Ну, где она! — сказал я, не выдержав.

И Виктор, как будто он давно ожидал этот возглас, сорвался с тахты, скрылся в темной кладовке. Но вынес оттуда не икону, а новгородский восьмиугольный крест, найденный, как пояснил мне художник, прямо на пашне вблизи опокского переката. Потом стал расставлять дивные тотемские прялки, потом выскользнул на кухню узнать, скоро ли будет чай.

— Не томи! — крикнул я ему вслед. И Корёгин смилостивился: он втащил в комнату тяжелую доску, держа ее двумя руками. Это была Пятница из Броса-чихи!

Трудно передать, с каким жадным интересом вглядывался я в древнюю живопись,— ведь мне пришлось уехать сразу же после расчистки первых бук-

виц иконы. Для меня, привыкшего к темной поверхности, не забывшего ни вздутых пузырей, ни пятен птичьего помета, ни пыли на обратной стороне, увиденное явилось подлинным откровением.

Это было диво-дивное!

Пятница стояла в фас с распростертыми руками, своей позой напоминая Великую Панагею, Оранту, приписываемую кисти первого русского живописца, таинственного Алимпия Печерского.

Киноварный мафорий — головное покрывало — горел столь ярко, что, пожалуй, затмевал собою и расписные пряжки, и плащи древнерусских воинов, и картины самого художника. Этот мафорий, распахнутый на груди, изукрашен был золотистой каймой и убран крупными жемчугами. Фон иконы — светло-зеленый, точнее — прозрачно-зеленый очевидно гармонировал с дорогим и красочным одеянием Параскевы.

Древний живописец разворачивал композицию не вглубь, а ввысь, он подчинял изображение плоскости доски, смело располагал всей плоскостью, заставлял подымать взор к лицу Параскевы, которое было не то чтобы грубоватым, но простым, может быть, просто-народным. Удлиненный овал лица, плотно сжатые губы, темно-карие зрачки, усталые подглазья — все говорило о том, что художественная трактовка здесь слилась с живописной: простота, лаконизм, строгость и некоторая тяжеловесность убеждали в том, что перед нами была икона «северного письма».

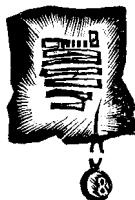
— Какой век? — спросил я, заставив себя отвлечься от созерцания Параскевы.

— Нет, только не четырнадцатый... — задумчиво ответил Корёгин. — Ты обрати внимание на киноварь мафория: на нем заложены четкие и тонкие линии складок, складки бегут сверху вниз, а все-таки воз-

вращают взгляд к лицу Параскевы. Эти линейные приемы были присущи мастерам шестнадцатого века, но никак не более ранним эпохам — тогда иконники любили сочные блики. В этих бликах ощущался былинный размах, а здесь все лирично, изысканно и, что греха таить, суховато. Однако, — словно спохватившись, добавил Виктор, — работа прекрасная: ей в наше время и цены нет.

— И что же дальше? — спросил я, поняв только одно: найденная в Устье Параскева Пятница вовсе не та Пятница, о которой бредил художник.

— «Невозможное будет возможным...» — грустно улыбаясь, ответил Виктор и принялся накрывать обеденный стол: из кухни шла жена. Начиналось вечернее чаепитие.



...Никогда бы не подумал, что мне еще придется встретиться с Параскевой Пятницей, и не только встретиться с ней, но и заняться настоящими архивными изысканиями, стать в чем-то похожим на моего друга, бородатого мазилу, увлеченного реставраторством, забывающего из-за своей страсти обо всем на свете. Как и ему, многие месяцы мне пришлось снимать слой за слоем, чтобы добраться до подлинника, до «материка», подолгу рассматривать следы чинков и поновлений — их я чувствовал, видел, но не мог доказать, что это были чинки и позднейшие поновления. Короче, мне самому пришлось заняться работами, чем-то похожими одновременно и на археологические раскопки и на труд реставратора-живописца.

Впрочем, расскажу обо всем по порядку.

Как-то рылся я в институтской библиотеке и случайно попал на книгу, вышедшую в конце прошлого века в Москве. Это была «Летопись Великоустюжская», изданная А. А. Титовым и написанная, по словам издателя, священником Львом Вологдиным. Пролистав книгу, я обнаружил страницу, на которой было написано: «старый вой, названием Ляпун, от злосердия своего взявши убрус, подскочил бесчинно к образу святому, и тем убрусом связал образ, а потом говорил: пленник, де, на чужую сторону не связанный никогда не ходит. И тако, двигнувшись с места, поплыл и тот насад, яко же прочие».

«Вот так совпадение! Да совпадение ли это? — тут

же спохватился я.— А может, народная молва и летописец из Устюга говорят об одном и том же...» Нет, нет, скорее случай, рассказанный летописцем, и породил в народе говор, предание, которое и услышал в родной деревне Виктор Корёгин. Значит, необходимо убедиться, что «Летопись Великоустюжская» создавалась значительно раньше, а уже потом к ней приложил руку Лев Вологдин и еще позднее А. А. Титов, перепечатавший эту летопись с дополнениями, подчерпнутыми из других собраний.

Но есть ли у меня уверенность, что страница, описывающая похищение иконы, принадлежит свидетелю разорения Успенского собора, древнему летописцу? Не подделка ли это?

Чем больше я вчитывался в это сообщение, тем сильнее начинал сомневаться во всем: мне казалось, что вставка непомерно обширна, что во всем тексте есть какая-то обновленность... Мои сомнения усилились после того, как я узнал, что в археографии — так называется научная дисциплина, которая занимается описанием и изучением древних памятников словесности,— «Летопись Великоустюжская» не значилась вообще, а следовательно, не была признана достоверной.

И все-таки чем больше я вчитывался в этот эпизод, тем сильнее он захватывал меня, волновал и драматизмом и необыкновенной судьбой новгородского воина — воя Ляпуна: человек безвестный, безродный, человек толпы — «един Ляпун», так его постоянно именует летописец, — дерзнул связать легендарную икону!.. Это ли не психологический феномен, о котором мы спорили с Корёгиным?

Чтобы хоть что-то доподлинно узнать о его судьбе, я должен был узнать все о великоустюжской иконе,

судьба которой сама по себе была интересной, но которая для меня приобретала особый интерес, особое значение: ведь благодаря ей ватажник Ляпун вошел в летопись.

В дальнейшем мне удалось напасть на след похищенной иконы — она действительно затерялась в послепетровскую эпоху. Но свою основную задачу я видел в том, чтобы дойти до «материка», до протографа, то есть до первоначальной рукописи, легшей в основу всех позднейших списков. «Летопись Великостужская» ни в коем случае не была таким первоначальным памятником древней литературы. А мне нужна была прочная документальная основа, ибо известна наша современная страсть к документализму. И вот чтобы почерпнуть эти факты и дополнительные сведения, я обратился к Патриаршей, или Никоновской, летописи как наиболее полному русскому летописному своду: о старом вое, иначе, о бывавшем новгородском воине Ляпуне там не было ни строчки!..

Первая неудача не обескуражила, а подхлестнула меня. Я решил перечитать Вологодско-Пермскую летопись, резонно полагая, что здесь-то должны быть подробности заинтересовавшей меня истории — как-никак произошла она на древней Заволоцкой земле. И опять безрезультатно!

Для успокоения совести я раскрыл Владимирскую летопись: под 1398 годом там вообще ничего не значилось. Для летописцев соседнего владимирского княжества из всего, что случилось в этом злополучном году, вероятно, ничто — повторяю, ничто! — не заслуживало быть занесенным в летопись.

После такого открытия мне очевиднее стала горечь летописца из «Повести временных лет», который ска-

зал: изначально среди славян не было ладу, и «быша в них усобица, и воевати почаша сами на ся».

Но все-таки я не прекращал изыскания, хотя и без прежней веры в успех. Когда же и Ипатьевский летописный свод не дал мне решительно ничего нового, я окончательно зашел в тупик. Даже подумалось: не обманулся ли я в тот первый раз, когда прочитал «Летопись Великоустюжскую»?

Между тем поиски протографа дали свои неоценимые результаты. Неприметно для самого себя я с головой ушел в стихию древнерусской словесности: чтение летописей стало доставлять само по себе, самоценно, неизъяснимое эстетические и художественное наслаждение.

В летописи включались и народные предания, и поразительные бытовые подробности, в них рядом с «виденьями» и «чудесами» соседствовали деловые грамоты, речи послов и дружинных князей. При всем том в летописях была своеобразная ритмика, приближающаяся к ритмике народных сказов. Незаметно я поддавался под влияние этой ритмики, зачаровывался ею, был переполнен гулами летописных строк даже тогда, когда хотел изложить свои ощущения и мысли на бумаге. Впрочем, я не вижу в том особого греха: припасть к летописному истоку, зачерпнуть из него горсть живительной влаги, обновить в нем современный глагол — это, по-моему, счастье!

По мере того, как оживали древние письмена, по мере того, как я погружался в раздумья о мужестве безвестных воинов, о неправых властителях, междоусобицах, о бесчисленных жертвах, которые несли русские земли, когда русичи «воевати почаша сами на ся», меня не покидало чувство, которое довелось испытать раньше, читая берестяные грамоты: это ко

мне, именно ко мне доходят сквозь века голоса далеких предков, доходят, доносятся в поучение и назидание, ибо,— что там не говори,—

Но вещей правдою звучат
Уста, запекшиеся кровью!..

Ну, а как же с поисками первоисточника «Летописи Великоустюжской»?

Не найдя следов Ляпуна в летописях, я решил обратиться к трудам отечественных историографов. И радость! В пятом томе «Истории государства Российского» Н. М. Карамзина мне сразу же попало знакомое имя. В дальнейшем тот же текст я нашел в «Повествовании о России» Н. О. Арцыбашева, а затем — в пятнадцатитомной «Истории России» крупнейшего историографа прошлого века С. М. Соловьева, который назвал сказ о Ляпуне прелюбопытным и в комментариях сделал сноску на Архангелогородскую летопись.

Я бросился к ящикам генерального каталога Библиотеки имени В. И. Ленина... Увы! Там был «Архангелогородский драгунский полк», снова «полк» — далее «Архангельск».

Оказалось, «Архангелогородский летописец» в современной археографии значится под названием «Устюжского летописного свода», или «Устюжского летописца»; оказалось, что этот летописец почти полтора столетия не переиздавался и переиздан был только в 1950 году под редакцией К. Н. Сербиной и с ее предисловием. А самый первый список свода еще в конце XVIII века использовал Н. М. Карамзин, равно как и другие историографы прошлого времени. Вероятно, был с ним знаком и Лев Вологдин, который по-своему изукрасил вставной сказ о Ляпуне.

Решающее мнение о несомненной исторической ценности «Устюжского летописца» принадлежит академику А. А. Шахматову. На основе тщательного изучения этого выдающегося письменного памятника Северной Руси он безоговорочно признал: «Устюжские известия восходят к XIII веку».

Таким образом, легенда о великоустюжской иконе, похищенной Ляпуном, подтверждалась документально, а драматические события, разыгравшиеся в Заволочье и Двинской земле летом 1398 года, послужившие основой повествования, были описаны или коренным устюжанином, или ростовским летописцем, при всем том, несомненным современником событий.

Почему же в таком случае сказ о Ляпуне оказался в одном хронографе и не попал в другие? Все дело опять-таки не в безвестном новгородце, а в иконе — магическом фетише. Сказ о ватажнике-иконоборце в невыгодном свете рисовал новгородскую вольницу, а поэтому не мог попасть ни в Новгородскую первую летопись, ни в Новгородский Софийский свод, ни в какой-либо другой хронограф, создававшийся в ту пору в Новгороде. В Вологодско-Пермский летописец он не мог попасть по совершенно иной причине. А причина эта проста: только с конца XV века этот летописец стал самостоятельным, оригинальным произведением, только с конца XV века он не имеет в тексте аналогий, а до того времени он попросту переписан с новгородских летописных сказаний.

Ростов же Великий со времен Калиты был «примыслом» московских князей, — московские интересы учитывались при написании Устюжского летописного свода и Ростовского владычного свода, к сожалению, не дошедшего до нас, но — по всему — известного устюжанам, которые издавна тяготели к Ростову.

Впрочем, о том, как складывались отношения между Новгородом, Ростовом Великим и московскими князьями, в исторической литературе сказано неизмеримо больше, неизмеримо подробнее и неизмеримо обстоятельнее, чем о «едном Ляпуне».

...Наконец-то я обрел документальную основу и понял, что должен рассказать историю Ляпуна так, как эта история представилась мне в книгохранилищах Устюга, Вологды и Москвы.

Сказание о походе новгородцев
в Заволоцкую землю в 1398 году



В лето 1398 Июля 28 дня в остатощном часу ночи новгородцы сняли осаду Гледена. Три недели стояли они под стенами городка. Его заборалы — боевые площадки, терема, маковицы церквей грозно высились на горе, того ради названной Гледеном, что удобно с нее оглядывать окрестные страны: луга, сенокосы, речные отмели и обрывы, весь окаем, синий от лесных дебрей.

Приплыли новгородцы с верховьев Сухоны в насадах или ушкуях — рыбачьих лодках, в коих исстари привыкли ходить по Волхову и Ильмень-озеру. Звали их по-своему соймами, и были те соймы весельны и парусны — добро бежали по водным хлябям. Видимо-невидимо стояло их под горой Гледен. Да и выше к Черной прилуке подымались новгородцы, где в трех верстах от Гледена был торговый город Устюг. Бороздили насады быстрины прямь Черного прилука. Поглядывали ватажники на тын устюжского посада, соскакивали на отмелях, уходили добывать плена.

Пожгли они в ту пору слободки Козью, Песью, Ямскую, разорили сельцо Леонтьевское, многие волости повоевали, только Устюг до поры не тронули, не взяли на щит. Ждали с города копейщины — откупа, дани. Но устюжане держались один за одного, копейщины не платили, надеялись на меньших братьев — гледенских ратников. А те не покидали сторожевых башен, страшась приступа и разора.

В ночь, когда отступили новгородцы от Гledenской крепостицы, шумно было в их стане. Под горой, среди ракитовых кустов, горели костры. Краснели лица. Качались длинные тени. Буйные ватаги собрались у огней: пели песни, били в бубны, гуслирили на гусях, гудощничали на гудках. А в тот час держали совет их воеводы.

Собрались они в ладье Тимофея Юрьевича, посадника от Людина конца. Ладья с кормы до носа вся изукрашена резьбой. По стланям свалены подушки, шитые шелком; по бортам — изголовья, убранные бисером. Играет пламя костров на резьбе, на шитье, на дорогом платье, на воинском, позлащенном убранстве. Почестен пир идет у боярина Тимофея Юрьевича. Боярин телом обилен, грудью широк, возрастом велик быше. Он жестокосерд на пролитие крови, на убие — дерзостен и неумолим. По праву руку от него сидит Юрий Дмитриевич, старый посадник, поставленный на степень от Славенского конца. Юрий Дмитриевич ростом мал, образом своим постен и скромн, но в рассуждении ума благоречив. По левую руку — сторожевой голова Василий Борисович Синец, муж не без храбрости и воинского умения. А поодаль — уличанские старосты, сотские, люди именитые, житьни. Служки обносят гостей медом хмельным, романей, пивом. И чем полнее братины, тем громче и грознее речи.

— Не можем обиды, насилья терпеть от великого князя московского. Не можем! — посадник Юрий Дмитриевич держит слово. — Князь Василий отнял у господина Великого Новгорода нашу отчину и дедину — Заволочье и всю Двинскую землю. Повоевал у нас Волок Ламский, Вологду да Бежицкий Верх. Сольстил двинян хитростью: хочу, мол, от Новеграда вас

оборонить, мир вам даровать. А к Новгороду целование сложил и крестную грамоту скинул.

Посадник Юрий Дмитриевич был гораздо по-книжному говорить, гораздо доброгласно изъясняться:

— Ныне пришли мы поискать святой Софии пригороды и волости, посчитаться с двинянами.

Отхлебнул из серебряной чаши Юрий Дмитриевич, утер ус. Потом выкрикнул:

— Или добудем достояние наше, или сложим головы за своего господина, за Великий Новгород!

Загудела ладь:

— За Великий Новгород! За святую Софию! За отчину и дедину нашу!

Но перекрыл все возгласы, все крики громовой голос посадника Тимофея Юрьевича:

— Люди вольные, мужи новгородские! В Орлеце засели Иван Никитин с братьями да с князем Федором Ростовским, москвитянином. Волости наши поделили себе на части. Суд там держат. Откупа берут. На Орлец двинем ратью. Орлец возьмем на копье! А еще я скажу вам, братья мои, мужи вольные: ныне дарую вам посад Устюг на поток и разграбление!

Повскакивали гости боярские, выхватили острые мечи, вскричали воеводам великую славу.

Когда за поздним часом, за немалым хмелем разошлись гости, повелели воеводы позвать Ляпуна, воина, сведущего в ратном деле. Заскрипели сходни: копейщики боярские осветили дорогу. В метущемся пламени сверкнула броня — в лодью сошел Ляпун. Был он телом высок, плечист, седат: это значит, бороду и виски имел жесткие, с густой проседью. Снизив голос до шепота, молвил ему какое-то слово боярин Юрий, поднял руку, подал знак, служба из-за плеча вынес золоченую чарку — протянул ее посадский Ляпуну.

И тот выпил романею одним дыханием, поклонился в пояс хозяину, исчез в предрассветных сумерках.

А по берегу, как и прежде, трещали костры, выжмевая языки огня, рассыпая снопы искр; как и прежде, гремели бубны, гундосили гудки, сопели сопельницы. Только меркли ночные звезды да вставали по краю неба облака светлые, багряновидные. Сырой мрак расплзался по побережью.

Брать устюжский посад внезапным налетом, изгоним — так решили воеводы. В тихое летнее утро одна за другой снимались соймы и выбегали на простор Сухоны-реки. Ватажники гребли враз, сильно откидываясь назад, без всплеска опуская весла в паровитую воду. Сидели они на скамьях по двое, но гребли так, словно это был один человек. А за гребцами ряд в ряд торчали копыя-рогатины, холодно отсвечивали железом шеломы-шишаки.

Корму каждой соймы держал старшый. И не было, я думаю, хитрее кормщика Ивашки Ляпунова во всем стане. Он лежал на корме, откинувшись на локти, прижимая к себе кормило, а левой рукой выверял ход ладьи. Сухона в этих местах всегда многоводна, многоструйна, небезопасна для плавания. Чуть ниже сливается она с рекою Югом и далее уже течет малой Двиной. Две реки сдвинулись, стало быть, в третью и потекли в океан-море, в самую Соловецкую пучину. Да и Устюг-посад зовут Устюгом потому, что стоит он прямым устьем Юга, на Черном прилуке, на левом сухонском берегу. Когда устюжане при виде силы новгородской затворились за тыном, сели в осаду, не могли они уразуметь, что нет у них круч гledenских, нет ряжей, забитых камнями, нет стражи надежной. Вы-

глядел Ляпун мужиков-сермяжников, нацепивших на себя воинскую справу. Высмотрел все их удалство-молодечество. Вот и кривит он губы в усмешке, поглядывает на ватажников зорко, ведет сойму прямо к причальному берегу.

Врезались насады в берег, замирали враз, а следом за ними шла волна, поднятая гребцами. И вóлнами кинулись новгородцы на приступ городка. Тащили на плечах осадные лестницы, ставили их стоймя, карабкались вверх. И первым среди осаждающих был Ивашка Ляпунов. Он соскочил на заборало возле Пречистинских ворот, метнул сулицу, как в то время называли короткое копье, в стражника, не мешкая, стал спускаться по узкой лесенке внутрь ограды. Ляпун не оглядывался — он знал: ватага следует за старшим. На бревенчатом настиле остановился и, боясь заплутать среди хоромин, глянул вверх — там за тесовыми кровлями, за замшелыми скатами виднелись главы Успенского собора. Были крыты главы осиновым лемехом: серебристые, чешуйчатые, они, казалось, плыли в светлом небе. Отчаянный трезвон колоколов, удары клинков, крики, вопли пораженных насмерть людей — ничто не трогало их покоя. Ивашка кинулся к собору. Он грузно бежал по настилу, осторожно поглядывая по сторонам. Из-за угла какой-то избы выскочил устюжанин и бросился наутек. В два прыжка догнал его Ляпун. Устюжанин оглянулся, железная мисюрка с бармицей сползла ему на глаза. Лицо, обросшее русым пушком, было бледно и потно. Ляпун подкинул боевой топор-чекан, который держал в левой руке, ловко перехватил его правой и, вытянувшись всем туловом, ударил клевцом-чеканом по

бармице. Страшный удар пришелся по виску. Устюжанин заплелся, пятная кровью подол холщовой застиранной рубахи, повалился на мостовую. Ляпун перепрыгнул через падающее тело.

И все-таки он опоздал, да, все-таки он опоздал. Ворота в собор были уже сорваны. Они лежали поперек тропы, ведущей к приделу. Ляпун подскочил к стене, притаился, глянул во внутрь. В соборе слышались чьи-то голоса. Ивашка узнал их: то были голоса Прокши-водолея и Репёхи — ватажников с его соймы. Ляпун вошел в собор. В соборе, сквозь волны дыма, он увидел, как те вязали в узлы церковную утварь. На селонь — поповское облачение — со звоном падали сосуды серебряные, диски, кресты наперстные, цепи золотые. Сверху бросали иконки, украшенные окладами, унизанные жемчугами.

Взвалив на спину узел, Репёха бросился на волю, к причальному берегу. Надо было спешить — собор все более наполнялся дымом, все вокруг плыло в синем угаре. Лучи солнца, упавшие наискось из оконного проема, пробили эти синие волны — и тут-то Ляпун с Прокшей-водолеем увидели главную устюженскую святыню — образ Параскевы Пятницы. Не в пример другим был образ велик — один аршин с четвертью, — и стоял он особливо по левую сторону от царских ворот. Из-под убрусов, холщовых полотенец, которыми прихожане убирают чудотворные иконы, в солнечном луче засияла риза чеканной работы. Прокша раскидал убрусы — перед ватажниками загорелись венцы, украшенные алмазами, жемчугами, дорогими бурмитскими зернами. Кроваво-красное пламя великого рубина обожгло Ивашке глаза.

— Ай, да полон! — только и молвил Прокша.

Был он ростом невелик, но схватил тяжелую доску

обеими руками, словно столешницу, поднял высоко над головой и рысью кинулся вон. Ляпунов, задыхаясь от дыма, слыша нарастающий гул пожара, метнулся следом.

Заградные решетки Пречистинских ворот были взломаны. Порубленная стража лежала вповалку: новгородцы успели снять с убитых доспехи, с иных — стащить сапоги. Сиро торчали желтые ступни ног. Чернели залитые кровью лица. Мимо по одному, по два пробегали ватажники, сгибаясь под тяжестью нош. Они тащили вороха рухляди, шубы собольи, беличьи, кожуха, опашни, сорочки, убрους, сурожские шелка и немецкие сукна. Иные катили бочки с вином, иные волокли пленных на арканах, толкали их, запутанных веревьем, в спину. Добежав до берега, сваливали рухлядь в насады, отчаливали, роняли добро в воду, гребли вразнобой. Но вот засверкали на солнце дружно вскинутые весла, зарябил ветер речную даль, поползли вверх отпоры — паруса надулись, и насады, подхваченные ветром, стремительно побежали вниз по течению.

Причальный берег опустел на глазах.

Ляпун покрикивал на гребцов, которые тщетно пытались сдвинуть с мелководья тяжелую лодку: сойма была перегружена награбленным добром. Не выдержав, он схватил длинный шест, воткнул его в дно, навалился всем телом, но шест, как сухая тростина, переломился, и Ивашка грузно повалился на корму. Он ударился лицом об икону, брошенную Прокшей-водолеем поверх рухляди. Медленно встал, стер кровь с рассеченной губы, поискал что-то глазами и вдруг вырвал конец убруса, торчавший изо всего добра.

Сноровисто связал он Параскеву мертвым, двойным узлом. Оглянувшись на ватагу: гребы опустили весла. Копейщики со страхом и недоумением смотрели на старшего: отродясь они не видели такого дивья.

— Да еще никои полонянин не связан на чужую землю не идет! — зло и весело выкрикнул Ляпунов. Хотел что-то добавить, но мимо просвистела стреласрезень, вонзившись в бортовую тесину. Ивашка знал: самые кровавые, резаные раны наносит эта стрела, когда попадает в цель. И другое знал: опомнившись от изгона, устюжане вот-вот накроют их тучами таких стрел.

Он спрыгнул в воду, навалился плечом на корму.

— Взяли!

Лицо его побагровело от натуги. Черный туман залил глаза. Под ногами запузырилось илистое дно.

— Взяли! — рывкнул старшой. И внезапно, словно оторвавшись от корня, перегруженная сойма заскользила по воде, увлекая за собой Ивашку, которого подхватили и втащили в сойму Прокша с Репёхой.

...Так избавилась ватага от неминуемого плена. Избавиться-то избавилась, да не знала, сколько слухов породит их бегство и в Устюге, и в окрестных селах, и среди самих новгородцев. Толковали люди о чуде. Иные говорили: дескать, связанная Параскева подчинилась вражьей силе, смирилась с бусой-судьбой — супротив дерзости да силы ничто устоять не может. Другие гнули свое: дескать, дерзость Ляпуна оскорбила Параскеву, лишила ее святости, а посему и стронулась тяжелая сойма с места. Третьи ждали возмездия за тяжкий грех, боязливо вздыхали. Так ли, не

так ли — смута пошла в народе, и зачинщик той смуты был Ивашка Ляпун. Да сам он не ведал того, а если бы и ведал, то удивился: эко диво, связать полотенцем доску? Когда был помоложе, вязал десятками малые образа, чтоб сподручнее было тащить их после лихих набегов на прибрежные села. Боязлив стал народ на Руси, все страшится чего-то, чего — и сам, пожалуй, не знает.

А тут медлить некогда было. Вот и стронулась сойма с места.

Ляпун схватился за кормовое весло. Репёха потянул за тоньки — отпор пополз вверх. Холстина хлопнула, развернулась. Наклонившись на правый борт, лодка пошла пенить ослепительно сиявшую гладь Сухоны-реки.

Последнее, что увидали уплывавшие новгородцы, был великий столб дыма: это рухнула кровля Успенского собора.

Забубенное веселье родилось вместе с попутным ветром, который гнал вперед лодью, оставляя за кормой вспененный след. Прокша-водолей скоморошничал, нацепив на кольчугу бабью паневу. Братило бил в бубен. Репёха корчил рожи. Один старшой лениво и спокойно держал корму, положив грязные, мокрые поршни на солнцегрев, на пеструю кучу рухляди, взятую в устюжском посаде. И в ногах у него сверкала драгоценной ризой связанная Параскева — его, Ивашки, полон и победа.

Как видно, не верил Ивашка Ляпунов ни в сон, ни в чох, ни в змеиный шип, а верил в некий оберег.

который всегда был при нем. Под броней дощатой, под кафтаном стеганым, под рубахой нательной носил Ивашка громовую стрелу, окованную серебром на серебряной же — кольцом — цепке. Та громовая перунова стрела была его отчиной и дединой, его единым достоянием.

Случилось это в предавнюю пору, когда снег лежал до Яковлева дня, а на осень побил хлеб, и зимой был голод великий. Люди ели лист липовый, кору березовую, мох, солому, конину. Падали мертвыми от голода. Трупы валялись на улицах, на подворьях, на торгу, на великом мосту через Волхов. Печаль, беда на всех! А весной, едва сошел снег и растолкало льды на Ильмене, вынесло за Рюриково городище лодку-долбенку. Случаем нашли ее ильменские рыбаки. И был в той лодке-долбенке младенец. Разглядел его старый Кулотка, принял на руки — понял ильменский ведун, чей это знак, чье предзнаменование. Вот и рос при нем глуздырь, иначе сказать, птенец несмышленный. По малолетству ляпался часто, падал на бегу — потому и назвал его Кулотка Ляпуном. И не было бойчее Ляпуна в рыбацком поселении — в чижа да в лапту гонял он добрее всех в округе. А старый Кулотка промышлял не столько рыбой, сколько целебными травами и диким медом. Баяли рыбаки промежду собой, будто в волховании он горазд, — так ли, нет ли, никто въявь молвить не смел. Один малый Ляпун ведал: был Кулотка потай, потайно он поклонялся идолам изваянным, издобленным, вырезом вырезанным.

...Весь день сияло в небе солнце. Весь день плескалась под днищем лодки вода. Дед Кулотка в белой холщовой рубахе ниже колен, в поршнях — кожаной

обутели — правил веслами. Седая борода его развева-
лась на ветерке. Солнце вначале стояло над его голо-
вой, потом сползло куда-то вбок, потом стало припе-
кать Ивашке плечи и затылок. И когда малому птенцу
стало невмочь, лодка проскребла днищем по песку и
остановилась. Стих шум озерной воды. Зеленая трава-
мурава бросилась путникам под ноги. Развесистые
старые ивы редко разошлись по луговине. А за ива-
ми, за луговиной, высоко-превысоко росла старая сос-
новая роща. Вороний грай доносился оттуда: воронье
металось меж сосен, падало на вершины и вновь взмы-
вало, кружась над рощей черной метелью.

Кулотка споро зашагал к соснам по едва примет-
ной тропинке — за ним, вприпрыжку, маленький
Иванко. Когда они вступили в заросли калины —
гроздья адели, как капли крови, — ведун пошел тише.
Он не то чтобы сгорбился, но вроде бы стал меньше,
как-то сжался, ушел в себя. Ляпун тоже притих, с ис-
пугом глядя на заплечный короб Кулотки.

Через несколько шагов кусты калины кончились:
там и тут на шестах зажелтели конские черепа, забе-
лели медвежьи и волчьи челюсти. По кустам была
развешена ветошь: рубахи, убрусы, мотки пряжи,
цветные лоскутки. И стих вороний грай. И пропало
солнце. Только синий дым, клубясь, медленно восхо-
дил к небесам. Деревянные боги стояли, покосившись,
в глухом и тайном безмолвии. А поодаль, посреди
круга, отмеченного дымными огнями, высился камен-
ный бог-громовик Перун. Лик его был узок. Крохот-
ные глазки буравили Ивашку, который не смел
стронуться с места, оставшись возле кустов ка-
лины.

Кулотка домовито достал из заплечного короба де-
ревянные чашки, налил в них прозрачный мед, насы-

пал пригоршнями жита и медленно, согнувшись едва не до земли, тронулся к священным огням Перуна...

Назад они возвращались на закате. Потемнело вечернее небо. Забелели барашками волны. Кулотка, поглядывая вверх, отчаянно выгребал к берегу, который был невдалеке. Тяжелый громовой раскат расколол небесную твердь. Перун-громовик взмахнул боевым топором, и небо низверглось водами. Громовик возжигал в облаках огонь, он даровал смертным быстрые, падающие с небесных высей молнии. И молнии били в пучину озерную, били в твердь земную, чтобы, закаменев, стать стрелами Перуна-громовика.

И то, что при вспышках небесной сечи не закричал от страха маленький Иванко, что счастливо вынесло их ладью на отмель, поразило, как молнией, в ту ночь старого Кулотку. Тогда-то и одарил он приемыша серебряным берегом — перуновой громовой стрелой.

Осенью по людскому навету свели старика на Ярославово дворище и сожгли его там заживо как идолопоклонника и языческого волхва.

...Гонит сойму ветер-свежак, поскрипывает мачтой, посвистывает в тоньках — веревье, коим корабельщики владеют парусом носовым и средним. Падает с размаху нос соймы, рубит волны, как топором-чеканом, но из-за кормы, вдоль просмоленных бортов, набегают новые валы, поднимают сойму выше и выше, и снова она рубит волну по белому гребню. Держит кор-

му Ивашка Ляпунов, смотрит на бегущие вперед волны. И бегут его думы, догоняя друг друга, долгой-долгой чередой. Резкие крики чаек-вьюш, хлесткие удары волн о борта ладьи не могут ни прервать, ни остановить их бега.

В молодости пристал Ляпунов к вольным ватагам, к новгородским охочим ратям. Воевал с ними великокняжеские волости, ходил Волгой и Камою, брал Жукотин и Казань, добывал плена за Вяткою. И немало вечников, как нарекли в иных землях новгородцев, полегло под стенами крепостиц, захлебнулось водой во рвах, полегло порубленных мечами, пронзенных копьями. И в Залесье, и на Низу, и за Волоком, и под самим Пермским камнем сложили содруги-сотоварищи головы за святую Софию, за своего господина, за Великий Новгород.

Пробегая мимо, шипя вспененным гребнем, двинская волна вздымает сойму, обдает брызгами ватажников. Смотрит Ляпунов на волны, думу думает, вспоминает.

...Подались они как-то из Болгар в Астрахань. Астраханский князек Сальчей заманил воеводу Прокопия с новгородцами в острог, воровски заманил, обманом, опоил каким-то зельем, порубил всех до единого. И его, Ивашки, пробил бы смертный час, если бы не перунов оберег. Спал он в сойме. Но грянул гром, и разразилась буря страшная: сорвало сойму с причала, вынесло в камышевое гирло. Нашли Ивашку рыбаки, продали персиянам, плывшим то ли в Москву, то ли в Ярославль,— Ивашка ныне не упом-

нит. Бежал Ляпун по дороге. Наг, нищ и сир вернулся он в Новгород. Но повлекла его пуще прежнего вольная воля, и по весне ушел он с новой ватагой добывать славу Великому Новгороду, себе — полон и кормление.

И каждый раз, возвращаясь к зиме на берега Волхова, примечал Ляпун, как богатеет его господин: то церковь новая выстроена, то гостиный ряд поставлен, то высоченные — в тридцать венцов — хоромы воздвигнуты. Волхов у моста забит шнеками, насадами, карбусами: с торговой стороны на Софийскую можно по тем кораблям пройти, как по суху. И речь на тех кораблях слышалась нездешняя: немецкая, фряжская, персидская. И все трудами Ивашки со товарищи, все их доблестью ратной, кровью обильной...

Только не много ли той крови пролито на веку? Ивашка не думал об этом смолоду, кипел духом ратным, устремляясь на брань с единокровными братьями. Не ведал он ни страха, ни жалости, ни туги, горя-печали. А злое отчаяние вызнал. Под Нарвой, когда врубались новгородцы в железный строй немецких латников, довелось ему вызнать бессильную ярость. Если бы не заветный топор-чекан да не серебряный оберег, не выйти бы ему живым из сечи. Грудь в грудь бились они. Броня в броню. Ивашка чуял на лице прерывистое дыхание немецкого воя, видел его зрачки, потемневшие от бешенства и гнева. Без устали перекидывал Ляпун боевой топор-чекан из правой руки в левую, потому что с рождения мог кидать битую и другую рукою, но все не мог свалить с ног железного кнехта.

А когда затрубили рога с той, с немецкой, стороны и отбежали латники к шатру магистра, увидал Ивашка, сколь жестока была сеча: не бурелом прошелся

по лесу — острые мечи повалили воев гряда за грядой. Попадали друг на друга пешие и конники, залили кровью землю, и нельзя было познать, где поятый, порубленный новгородец, где заколотый немецкий копейщик...

Снял боевую рукавицу Ивашка с левой руки, вытер испарину со лба и долго и пристально смотрел на шатер, на стоявшие перед шатром магистра железные полки немецкого воинства.

...Соймы ватажников затолкались в устье лесной речки ни парусом, ни веслами нельзя было плыть к Орлецу. Воеводы охочей рати порешили: будет сила терпенья — переждем непогоду. И тогда за откосом, в затишье, новгородцы раскинули стан. Порывы ветра, налетавшие с Двины, пластали огонь по земле, метали искры, мчали клочья дыма вдоль берега, где у костров, у иных лодок, вытащенных на отмель, стояли гребцы. Другие ушли в лес поискать удачи, сбить стрелой-томарой тетерку, пособирать голубицы.

Ивашка Ляпунов с Прокшей-водолеем остались в сойме. Они играли в кости. Прокше везло — после каждого броска руки его приметно дрожали: не одна чаша золоченая, не один дискос серебряный перекочевал в его короб. И все же Прокша первым заметил боярина Юрия Дмитриевича — тот шел по приплеску, минуя костры, минуя ватажников, прямо к их сойме. Прокша ударил челом, но боярин только повел бровью: Прокша неохотно вылез из лодки.

— Ай, не за полоном ли боярин? — спросил Ляпун, кивнув в сторону Параскевы-Пятницы. Униженная жемчугами и дорогими камнями, икона высилась среди рухляди: была она прислонена к борту и хоро-

шо видна посадскому. Но Юрий Дмитриевич все-таки подошел поближе,— вельми чуден был образ. Он выласкал глазами убранство иконы, высмотрел кроваво-красный рубин, врезанный в ризу, потом остановил похолодевший, недобрый взгляд на холстине, перехватившей доску.

— Нет, Ляпун. Твой полон, ты им и владей,— проговорил наконец боярин.

— Почто, господине, такая немилость?

Юрий Дмитриевич нахмурился. Он стоял, опираясь на золотое навершие меча, поигрывая пальцами по рукояти.

— А почто, Ляпун, было вязать чудотворный образ?

— Несвязанной-то Параскева не шла. И сойму не пускала. А сопротив силы, боярин, одна сила выстоит.

— Велику силу имеющему и ум велик подобает иметь,— обронил посадский.

— Богатого всяк мнит мудрым,— откликнулся Ляпунов.— Это ли не богатство?— И с вызовом повел рукой над лодкой, заваленной узлами с рухлядью.

— Не то молвил, Ляпун. Твое богатство — до первого кабака,— пальцы посадского, украшенные перстнями, нетерпеливо выстукивали по рукояти.

— Во всяком деле охочие люди вольны,— не скрывая насмешки, сказал ватажник.

— Ай-яй-яй,— Юрий Дмитриевич покачал головою.— Окаянные речи твои я слышать не слышал. Наши вольности зиждются на повеленьях Софии...— Юрий Дмитриевич бегло перекрестился.

— Наши вольности и права на крови, боярин,— разъярился Ляпун. Лицо его стало темным, напряженной — пригнутая выя.

Поперхнулся посадский от неслыханной дерзости, замолчал, испытующе глядя в глаза Ивашке. А помедлив, с угрозой изрек:

— Мутен ум твой, Ляпун, злоязычен язык твой... Да не лаяться шел я к тебе, а с миром, по делу.

Стало ведомо им, новгородским боярам, пояснил Юрий Дмитриевич, будто где-то в верховьях речки скрывается заволоцкая чудь. И надобно выведать, где она обитает и где таится. А выведать повелевают ему, Ляпунову, с ватагой, чтоб обсказал он потом все, как есть.

— Добро, господине,— охолонув от злобы, ответил Ляпун. И еще повторил: — Добро!

Юрий Дмитриевич повернул от соймы. При порывах ветра, налетавших с Двины, казался он еще меньше, ибо клонил голову, придерживая шапку, убрannую дорогим мехом, запахивая полы кафтана, которые раздувал ветер. Но как ни старался боярин сберечь степенность, встречный ветер клонил его ниже: он спотыкался, брел по приплеску едва-едва.

«Лучше ногами спотыкнуться, нежели языком,— вспомнил Ивашка, глядя ему вслед.— Уж ты-то языком не спотыкнешься. Нет, воевода, не спотыкнешься».

В ту ночь ватага Ляпунова ушла к верховьям речки поискать народец, затаившийся в дебрях лесных.

Плыли они и день, и второй, и третий... Речка петляла, бросалась из стороны в сторону, глухо рокотала на перекатах, заманивала в синюю глушь. Дика, своенравна была река. То вздымала до поднебесья береговые откосы, то терялась, пропадала среди болотной

осоки. Под обрывами она чернела, словно деготь. Но зачерпни в ладонь воды, и прозрачная влага скатится с ладони: пей до дна — ни соринки не найдешь в чистой струе.

День за днем шли новгородцы по той реке, где парусом, где веслами, где шестами. И чем дальше, тем каменистее были перекааты, грознее рев воды, глуше лесные дебри. Ночевали ватажники в сойме. Огня не жгли. Стражу держали надежную. Но однажды в полночь проснулись от страшного шума: вода под берегом клокотала, взлетала вверх, обдавала ватажников тучами брызг. Красная луна стыла над обрывом, который трещал валежником, осыпался комьями глины... Вот с той-то самой поры и прозвали гору Бросачихой: бросала чужь заволоцкая камни и бревна на пришлецов, замыслила погубить их в омуте, черном, как ночной мрак. А многим позднее возникла там деревенька, которая прозвалась, как и гора, Бросачихой.

Огородились новгородцы щитами. Подняли пикирогатины. Глаз не сомкнули до рассвета. А едва посветлело небо, двинулись снова в путь: крепок наказ воеводы, но покрепче того наказа рука у старшего.

В одном месте стиснули речку берега, сжали ее крутыми откосами. Белая пена медленно крутилась у камней-валунов, поднявших — сколько хватает глаз — мокрые, бугристые хребтины. Ляпун с Прокшей-водолеем соскочили на камни: надобно было осмотреть, велик ли перекаат. Хватаясь за низкорослые сосенки, нащупывая поршнями опоры, они стали подыматься вверх, к ельнику, стеной стоявшему над обрывом. Одолев подъем, они пошли вдоль обрыва,

поглядывая вниз: река шумела глухо и ровно, как рощенье в непогоду. Берег заметно снижался. Ватажники шли след в след, ступая по мягкому мху, прислушиваясь к писку лесных птиц, к глухому ворчанью переката.

Внезапно Ляпун замедлил шаг, отвел от глаз еловую лапу, замер. Перед ним была солнечная поляна. Сплошным покровом белели ромашки. Гудели шмели. На поваленной ветром березе посреди поляны сидела девка-чудинка. Была она вся в белом одеянии. И такие же белые, почти пепельные волосы ее схватывала красная повязка с височными кольцами. В мочках ушей позванивали подвески с колокольцами. На груди — ряд за рядом — лежали серебряные гривны, янтарные ожерелья. Девка манила к себе дитя. Растопырив ручонки, смешно топоча, иное ляпаясь на траву, глуздырь шел к матери.

— Ма... -а... а, Райда,— повторял он.

Лесная девка вскочила, подхватила дитя, подкинула его, прижала к груди, закружилась и, счастливо и тихо смеясь, села на поваленную березу и, лаская, снова стала манить к себе сына: она учила его ходить. Качнувшись, тот схватился за головку ромашки, сорвал ее, стиснул в кулачке, потом разжал кулачишко и протянул матери:

— Ма-а... Райда,— лепетал он.

Они гнали ее, как гонят ловцы олениху. Гнали по частоте леса, по дебрию, по березовому рощенью, по топкой болотине. Гнали, уязвленные жаждой полона и яростью.

Утекала Райда от ватажников, изнемогая от страшной ловитвы, утекала, не давалась им в руки, как не

дается ловцам олениха, пока не запутывается сама в охотничьи сети.

В некоем месте вскричала Райда — полетел тот человеческий вопль отчаянья и ужаса вдаль, двоясь, троясь в лесной гущине. Через какое-то время ватажники поняли, кому дала знак лесная девка, — они побежали к жердевой ограде. По всему — за жердями было чудское селище. Они перемахнули через ограду. И вот здесь-то... Как зеницы не выпали у них из глаз, как сердце не оторвалось от корня своего?

В облаках пыли перед ними оседала земля. Она шевелилась, как живая, она вздымалась буграми, свивалась воронками. Тяжелые камни проваливались вниз, и оттуда — из глубины шевелящейся, живой земли — доносились предсмертные хрипы и стоны: чужь уходила в землю!..

Колючие мураши пробежали по спине Ляпунова. Он и прежде слышал от бывалых людей, как погибала в подземных жилищах заволоцкая чужь. Почуввав роковую опасность, чудские старшины подрубали в жилых погребках опоры и хоронили себя и соплеменников своих заживо со всем своим имением и скарбом.

Но зреть наяву земляную кровлю, оседавшую в прахе, слышать своими ушами подземные стоны — такое Ивашка не мог помыслить в самом дурном сне.

Очнулся он, когда Прокша-водолей выволок к жердевой ограде Райду. Поймал-таки ватажник лесную девку. Белые одеяния ее были изодраны в клочья, красная повязка сорвана с головы, и волосы, рассыпавшись, захлестнули спину и грудь. Девка царапала мох, хваталась за коренья, билась в судорожном плаче, но Прокша ловко накиннул на горло сыро-

мятную удавку — Райда задохнулась, побледнела, сникла, теряя последние силы. До хруста завернув ей за спину руки, Прокша той же удавкой стал вязать полонянку.

— Оставь! — хрипло выдохнул Ляпунов. — Оставь девку! — Сгорбившись, почернев от гнева, он двигался к водолею, который, бегло глянув на него, продолжал вязать узлы.

— Девка нынч без роду, без племени... Душу сиротскую — не шалыгу¹ пленишь! — Ивашка зашелся от ярости. Видя такое, Прокша медленно встал с колен и, не спуская глаз с топора-чекана, блеснувшего в руке старшего, попятился к лесу.

— И сам горазд путы-то вязать. Сам лют до плена, — шипел, отступая шаг за шагом, Прокша.

Но Ивашка не слышал его. Наклонившись над Райдой, он полоснул лезвием топора по сыромятным ремням. Затем, не оглядываясь, пошел от чудского селища прочь. Он шел к береговому обрыву, к своей сойме, шел, всей спиной ожидая: вот-вот вонзится ему меж лопаток острая сулица Прокши-водолея.

Впереди на перекатах шумела река.

На златоверхом тереме великого князя московского сияло солнце. Меж прочих хоромин, крытых тесом, замшелой дранью, соломой, кровли великокняжеского терема слепили глаза — лишь золоченые кресты Архангельского и Успенского соборов да церкви Иоанна Листвичника, что высилась на самой вершине кремлевского холма, могли соперничать с ними.

На Большой кремлевской улице, стиснутой хоро-

¹ Сухая лесяна.

мами, крыльцами, переходами, амбарами, толпился народ; в людском потоке тарахтели подводы, осторожно пробирались всадники, над головами плыли короба со снедью.

Возле Боровицких ворот, ведущих в Занеглименье, возле Фроловских, Никольских, Константино-Еленинских ворот, ведущих в Великий посад, толчея была еще пуще — кто шел в Кремль, кто проталкивался в Посад на Варварку, Ильинскую, Никольскую — к торговым рядам, к купеческим лабазам. Крики зазывал, пение нищих, детский плач — слитный разноголосый гул толпы прорывался в хоромы: по случаю жары слюдяные оконца были открыты.

И только набережные сени великокняжеского терема не затрагивала уличная суета. Набережные сени спускались к Москве-реке крытыми лестницами с рундуками, с решетчатыми слюдяными оконцами. Сквозь оконца виднелись торговые причалы, паруса и мачты кораблей, наплавной мост в Заречье, Васильевский луг.

Великий князь Василий Дмитриевич похаживал по сеням. Заложив руки за спину, потирая перстень на безымянном пальце правой руки, он подходил к оконцу и подолгу, углубившись в себя, смотрел на Москву-реку. Был он коренаст, неширок в кости, белес.

Если бы не златотканое платье, походил бы великий князь на гостинорядца: не было в нем ни отцовской стати, ни дородности, ни густой черноты волоса отца, великого князя Дмитрия Ивановича Донского. Но ступал князь Василий по половицам вкрадчиво, поворачивался на острых каблуках легко.

Ждал князь Василий митрополита Киприана и, пока ждал, обдумывал, что молвит при встрече со святейшем.

Решили новгородцы, что он, князь Василий, примыслил себе земли Заволоцкие и Двинские. А надо бы им знать, что еще прадедом его Иваном Калитой был предназначен ему сей путь.

Прадед Калита получил великокняжеский стол за многие злато и серебро, не чинился, ездил на поклон к хану ордынскому, тряс мошной, одаривал агарян дорогими дарами. И прикупил, между прочих дел, Галич да Белозерск, открыл угожья необозримые: меду, воску, соли, рухляди мягкой, серебра закамского там не перечислить, не пересчитать. Вот кто первым примыслил княжеству московскому Заволочье! Вот кто первым наострил глаз на Двинскую землю, на неизвестных народцев, что живут за Камнем в Стране Мраков! Все он — Иван Данилович Калита! И примысел сей передал он молодым князьям московским. Дмитрий Иванович Донской, в свой черед, благословил на старший путь его, князя Василия, наказав другим братьям: «Чтите и слушайте своего брата старшего, князя Василия, вместо меня». Он же, Донской, к московскому княжеству присовокупил Серпухов, Верею, Каширу, Боровск, половину Волока Ламского и целое Нижегородское княжество.

А когда повел отец с братом князем Владимиром Андреевичем русское воинство против Мамаю, кто помог ему разбить татарские полчища? Русь Северная — князья Белозерские, Ярославские, Ростовские, бояре Галичские, Костромские, Серпуховские, Муромские, Звенигородские... Князь белозерский Федор и сын его Иван пали в той великой сече. Ратники галичские полегли там костями.

Вот и помнит князь Василий крепче крепкого наказ отца своего Дмитрия Ивановича Донского: жити всем за один! Вот и промыслил он к Москве новые волости

Муромские и Торусские. Вот и повелел меньшому брату своему Юрию воевать все Заволочье.

...Однако нет и нет владыки Киприана. Живет он в селе Голенищеве меж Воробьевыми горами, любит уединение, премудрость книжную: искателен, хитер да малоречив сербиянин.

Князь Василий подошел к окну. По наплывному мосту проходила, сверкая сбруей и злачеными доспехами, княжеская дружина. Сзади тянули тюфяк: невиданное доселе огнестрельное оружие. На грубо сколоченных колесах помещалось тулово пушки, окоеванное обручами. Народ расступился перед ратью, потеснился к краю моста, загляделся на огнедышащее чудище, перед которым не устоит ни каменная стена крепостная, ни броня дощатая, ни кольчуга железная.

Из внутренних покоев терема наконец-то вышел митрополит Киприан. Вслед за ним служки внесли кресло. С медлительной важностью владыка присел на седалище, обратил горбоносое худое лицо к великому князю. Его борода стекала на фелонь белыми волнами, брови были густы и черны. Под бровями светились черносмородинные глазки, являвшие ум и быстроту соображения.

— Отче! — обратился к нему князь Василий. — Не добро творит владыка Иоанн с новгородцами: посылает их за Волок. А те дани емлют и людей отчины моей пужают, сольщают к себе, понуждают к верности Софии новгородской. — Князь говорил ровно, однако по тому, как потирал он перстень, было видно, какого труда стоит ему эта ровность голоса. — Вы, святой отец, поставлены миру и любви учить, мне же, князю московскому, имение собирать и возноситься!..

Что мог ответить ему Киприан? Что вздумали новгородцы — посадники, и тысяцкие, и лепшие люди, и черный люд — не ходить в Москву на суд к митрополиту, а судиться у своих владык? Не много, не мало — две недели уговаривал их Киприан разорвать те грамоты, снять с себя крестное целование. Да что ответили ему вечники: «Целовали мы крест заодно, грамоты пописали и попечатали и души свои заодно запечатали». Уехал Киприан с большим гневом. Да в другой раз прибыл он в Новгород вместе с послом патриаршим и снова запросил суда, а новгородцы ему суда не дали. Во всем том гораздо сведущ князь Василий, а гнет свое: надо, вишь, ему прибрать к рукам Заволочье и Двинскую землю, лишить новгородских купцов пушных промыслов, мехов драгоценных: те меха по городам и весям заморским, по дворам королевским превыше всего ценятся. Могли ли новгородцы, гости торговые, люди хваткие, смириться с утратой Заволочья? Никак не могли! Митрополит вздохнул: от века в сей обширной земле господарят смуты, и по любому навету брат восстает на брата, а сын на отца.

Князь Василий чутьем уловил размышления Киприана.

— Ведомо ли тебе, отец святой,— спросил он, остановившись прямо митрополита,— как ответили новгородцы мне, князю своему, когда я потребовал через посла разорвать мир с немцами? Неведомо, говоришь? Так слушай: «Князь Василий,— ответили мне крамольники.— С тобой у нас мир, с Витовтом — другой, с немцами — третий!» Однако есть у меня вероятное известие: склоняет их Витовт податься ему, встать под его руку. И быть тогда разору русской земле, гибели княжеству московскому. Приведут новгородцы литву

и немцев на Заволочье, на земли Двинские, как привел татарву князь рязанский Олег на Московию. Нам же, Москве, не можно допустить сие, никак не можно!

Киприан смотрел из-под нависших бровей на князя Василия, который вновь забежал по сеним, смотрел черносморозинными старыми очами и понимал: есть правда в словах князя, да не вся.

Называют ныне новгородцы литовского князя Семена Лугвеня Ольгердовича мужем-опекальником и себя и господина Великого Новгорода. Да ведь сие не более, как противовес на безмене: Москва-то — она все одно перетянет. Рано иль поздно, а перетянет! Своим безменом новгородцы норовят сохранить древние вольности и права. Да сами не меньше князя Василия страшатся Витовта: непременно пойдут они на попятный, отложат нелюбие к московскому князю. Уж на что слаб духом, невелик разумом архиепископ Иоанн, да и тот однажды сказал: последнее, мол, время для господина Великого Новгорода наступает. Последнее время!

Только сейчас разомкнул уста митрополит Киприан:

— Поелико владыка Иоанн благословил охочие рати на разбой, ему и ответ держать перед святой церковью и перед тобой, великим князем московским. И держать ответ он должен честно и грозно.

Вскоре был отправлен в Новгород посол митрополита стольник Яков Юрьевич Новосилец, чтобы разведать там все доброе и без промедления звать в Москву владыку новгородского Иоанна о святительских делах.

Беет ветер, задувает с полудня, качает сойму на двинской волне, побрасывает: плывет к Орлецу Ивашка Ляпунов с сотоварищи.

Облака да синь — над ними, леса дремучие — по берегу, а впереди — даль и даль неоглядная, солнечным светом напоенная. Буй-ветерок треплет волосы. Синева обволакивает сладкой дремой, укачивает. И думается ватажникам каждому свое: иному о жнитве, иному о матери, иному о женке, о детях малых, оставленных дома на Волхове.

Но встал на корме старшой, заслонил глаза ладонью, вгляделся в речной поворот: там, за лесом, вспухало черное облако дыма. Кучно клубясь, оно растекалось по небосводу, застилало августовскую синь. И чем быстрее бежала сойма, тем больше тускнело солнце. На него смотрели ватажники не щурясь, как не щурясь они смотрели на воду, потерявшую блеск и голубизну.

Орлец горел. День и ночь, снося заборы, сметая заборальников, били по городу пороки — старинные камнемётные орудия, шибалы. Издали они походили на качели: те же сосновые кряжи с перекалиной. Только выметывали орудия не веселье, не смех, а смерть и горе с отчаяньем. Порочных дел мастера оттягивали длинную слегу, взваливали в ременный корман ядро или горшки с греческим огнем — и пускали сей заряд на город. Заряд летел, рассекая воздух, сметая все на своем пути. Сыпалось каменье, как дождь, на крепостные стены и внутрь града, где множество людей мертвых лежало в канавах, валялось на пепелищах, на улицах, у дымных развалин, у дощатых оград.

Со всеми градоемными хитростями вел осаду воевода Тимофей Юрьевич.

За обрытьем, которым огородили новгородцы свой стан, за деревянными щитами, за турами, плетеными корзинами с песком и камнями, там, где высились пороки, где без усталости трудились камнемётные мастера,— толпились копейщики, прятались лучники, высматривая цель, осыпая стрелами двинян: все ждали приступа-осады. А по Двине-реке, против стен и башен Орлеца, выстроил воевода Тимофей Юрьевич лодейный караван: соймы стояли борт о борт, впритык друг к другу. И на носу каждой — тяжелые самострелы и камнемётные пращи. День и ночь засылали они на город бронебойные стрелы, закидывали большое и малое камень. В кольцо зажал Тимофей Юрьевич град, взбунтовавшийся против господина Великого Новгорода и святой Софии. Был Орлец новгородским поселением, да поважнее того — был ключом к Беломорью, ключом к самояди, к торговле пушным товаром, рыбьим зубом, иначе, драгоценной моржовою костью.

«Давить переметчиков-двинян,— сказал на совете охочей рати воевода Тимофей Юрьевич и стиснул тяжелый кулак.— Чтобы кровь и сукровица из них потекла! Чтобы псам на съеденье достались их трупы!»

И сыпалось на город большое и малое камень. Свистели несметные тучи стрел, немецких сулиц, пускаемых из-за укрытия. Но четвертую неделю стойко держали оборону двиняне: уповали на чудо, на подмогу великого князя Василия. Да напрасно уповали — по всей Двинской земле, по всему Заволочью не было рати, кроме охочей рати новгородской.

Шумели под ветром боры, рокотали на перекатах быстрые реки, шурша, осыпалась переспевшая рожь...

Но нигде не слышался цокот московской дружины, не грохотали колеса огнедышащих пушек, не звенела доспехами рать московского князя.

Только, щема сердце, курлыкали по утрам косяки журавлей да гоготали гуси-гуменники: ведали вольные стаи, собираясь в отлет,— в северских странах близок листобой, близки изморозь и метели.

Рев боевой трубы огласил побережье. Протяжно и гулко повис он в знобком туманце. На тот внезапный глас наострили слух и новгородские ратники и двиняне. Лишь порочных дел мастера в усталом безразличии присаживались к смертоносным билам, утирали лбы да потные лица подолами пестрядинных рубах. Боевая труба проревела и смолкла. И сразу мохноногие кони, на которых восседали биричи посадника Тимофея Юрьевича, проскакали за обрытье. Всадники приблизились к стенам Орлеца, стали кричать осажденным. Один из них размахивал над головой пергаменным свитком — то была милостивая грамота двинянам. Биричи то подъезжали к стенам, то возвращались назад, крича вперебивку, заламывая свои колпаки. На заборах, заваленных бревнами, истыканных стрелами, мелькнули первые шишаки и шеломы: двиняне слушали биричей. Не дождавшись ответа, всадники круто повернули коней и россыпью помчались к становищу новгородцев.

На берег навалилась тягостная тишина. Мнилось: прислушайся — и треск сухого дерева различишь за башнями Орлеца. Оттуда медлительно подымались дымы ночного пожара.

Сойма Ивашки стояла близь левого берега, заросшего сонной ольхой. Обтекая сойму, прищептывала

вода, слабо подрагивали снасти. Сорока, сорвавшись с ольхи, стрекоча, пролетела над соймой. «К новостям»,— подумал Ивашка, как и все, не спускавший глаз с двинской крепостицы. Ожидание обострило зрение, слух, истомило невнятной тревогой. Ивашка нетерпеливо сдвинул на затылок войлочный, заломленный лихо колпак. И тут-то ощутил позади себя ненавидящий взгляд. Он оглянулся. Из рухляди, сваленной возле кормы, блестела окладом плененная им Параскева. Как раскаленный уголь горел на окладе рубин. Лицо было желто, слепо. Прислонившийся было к иконе Прокша-водолей отпрянул, свесился за корму и начал грабастать горстями воду. Он пил кряхтя, шумно вздыхая. Ляпун досадливо отвернулся от Прокши.

Чуял Ивашка: что-то свершится. Но что? А в это время внутри Воздвиженской башни закрипел подъемный вóрот, заградная решетка дрогнула и поползла вверх.

Не гром прокатился по Двине и Придвинью—вскричали ватажники славу своим воеводам... Из Воздвиженской башни повалил валом черный народ. Спешили старухи, путаясь в долгополых одеждах; бредли, понутив головы, изможденные старики; женки с плачем толкали перед собой ребятишек; молодухи, кричаньем молясь, рвали волосы, голосили.

В том человечьем потоке более всего мелькала рвань домотканых рубах, пестрели заплаты азямов, торчали худые треухи, белели паневы. Последними вышли из башни торговые гости в суконных кафтанах, служилые люди. Новгородцы с повистом, с бранью, с криком оттеснили двинян за обрывье. Там, в многоголовой толпе, рыскали, словно серые волки, биричи, выискивали зачинщиков смуты.

Первым меч с перевязью сорвали они с воеводы Ивана Никитина. Переметчик-двинянин не шелохнулся, не дрогнул, лишь нахмурил чело в ссадинах, в кровоподтеках. За спиной Ивана тяжело дышал его брат Анфал Никитин, детина рослый, вельми красивый. Он исподлобья смотрел на охочую рать. Едино днище, иначе, на расстоянии единого дня пути, сбежит от новгородцев Анфал, непременно сбежит и еще немало беды учинит.

Возопил некий двинянин, когда навалилась на него стража: «Не дейте мене, братия милая, не дейте!» Он боролся крепко, крича, захлипая, пока не ткнулся ничком, подплыв кровавою лужей. От того сырорезанья трепет великий охватил двинян. Даже московский наместник Федор Ростовский, из отдаленья взиравший на смерть человека, размашисто перекрестился, отвел в сторону взгляд. Вооруженная челядь окружила своо господина — с той челядью и отбудет наместник Федор Ростовский в Москву, лишенный, однако, конной sprawy, почестей и богатой казны.

А ватажники ловили в Орлеце остатных людишек, добывали по избам, по амбарам, по лавкам купцов полон и кормление. Пойманных гнали к лодейному каравану — там, на главном насаде, был воздвигнут помост. Среди служилого люда грозно высился боярин Тимофей Юрьевич и другие начальники новгородского войска. Туда же взобрались и биричи. Один из них выступил первым, развернул пергаменный свиток со свинцовой печатью, зычным голосом возвестил:

«Посадники новгородские Тимофей Юрьевич, и Юрий Дмитриевич, и сторожевой голова Василий Борисович челобитье у вас, двиняне, принимают, а нелюбье вам отдают...»

Дрогнули ряды побежденных — иные повалились

на колени, крестясь, рыдая, иные, кто ранен, остались стоять, подпирая плечом друг друга. Читавший грамоту оглядел побережье, продолжил:

«А Ивана Никитина и братьев его Анфала, да Герасима, да Родивона, кто водил двинскую землю на зло, в железо ковать...»

Кинулись в гущу людей копейщики, потащили изродцев тут же ковать в железные узы.

«...А вам, двиняне, за ваши преступления и вашу вину перед господином нашим Великим Новгородом платить плен в две тыщи рублей да еще коней три тыщи...»

На пожарище шаяли головешки. Дым пластался по переулкам в безветрии. Воронье висело роями на тополях. А где-то за башнями крепостицы, за лесным океаном шаял и шаял такой же, как головни на пожарище, тихий закат. Багряные отблески падали на облака, неподвижно стоявшие над головой, на тополя с черно-красными гроздьями птиц.

Ивашка Ляпун проходил по Орлецу последним дозором. Смотрел на пожарище, смотрел на небо, горевшее скрытым рубиновым светом. И словно облачной багряницей, встававшей от окоема гряда за грядой, вставала в глубинах души его горькая стынь и тоска.

В долгих скитаниях, в трудах, в ратном или хмельном забытье Ивашка пощады не знал ни к себе, ни к другим. Жил он как будто в кровавом дыму — часом единым. Но там, на поляне, у старой-престарой березы, явилось ему сострадание в образе девки лесной, в образе Райды. И все помутилось в Ивашке — впервые он убоился неведомой кары, ибо разумел Ляпунов: пе-

реступил он некий предел, который не должен был век преступать.

Ивашка ускорил шаги. Впереди, у ограды, что-то белело. Заспешила ватага вслед за старшим. Райда?! Волосы расплескались, рассыпались светлой волной по лицу, по руке, откинутой напрочь. Убиенная, словно споткнулась, упала неловко, хотела бы встать, да не смогла, застыла в смертной истоме.

Постоял Ивашкин дозор возле ограды, тронулся дальше в тревожном безлюдье...

Разворачивались насады — от плеса до плеса — по вздыбленной ветром Двине, ныряли, как утицы в волны, чертили мачтами небо, хлопали парусиной. Припадали к левому борту копейщики и гребцы, правый — пенил студёные хляби. Разворачивались насады, утекали на полдень, и вперегонки с караваном бежали на полдень низкие тучи. Далеко до верховьев Двины, а за верховьями быть еще малой Двине, быть озерам, рекам, волокам, зыбучим болотам. Когда-то заплещется в днище старый Онего, да выбежит Волхов, да встанут у Ильменя главы Софии.

А горы твои, Заволочье, — лесисты, перекаты — опасны, дожди — многодневны, трущобы — дики.

Птица устанет махать крылами, зверь, ослабнув, приляжет в суземе, гроза — и та истощит свою ярость, но реки твои, Заволочье, будут катить и катить седую волну к Соловецкой пучине.

Силы в тебе — непомерны, глуби в тебе — непроглядны, блага — неисчислимы твои.

Качать бы рекам твоим рыбачьи челны, поить лошадей, плескаться у сходней, на коих молодки бьют валками холсты.

Но городки твои пусты. Пашни заброшены. Народ крестьянский иное в бегах, иное в сметенье. Куда не посмотришь, чернеют одни развалы печей: ветры развеяли пепел, livни смыли золу. Запустенье, разор на все Заволочье!

Кому сосчитать напасти, протори и убытки? Кому обживать эти волости и уделы? Спрос великий с кого?

Нырjali, как серые ути, лодьи новгородцев в высоких волнах. Уплывали дальше и дальше на полдень. Мельчали. Терялись в забрызганной солнцем дали.

Кутались новгородцы кто в ветошь какую, кто в шубник, кто в купецкий кафтан — по сойме ходит-гуляет лихой сиверок, знобит новгородцев. Бякнет о днище волна, и брызги, как из пращи, взлетают выше голов. Жмутся ватажники в заветрии друг к дружке, речь-беседу негромко ведут.

При тихой погоде вровень с верхушкой мачты плывет и плывет по берегу ельник-березник да чистый сосняк. А ныне ельник то упадет, то взлетит в поднебесье; чем ближе к береговому обрыву, тем хлеще бросает сойму на вспененных гривах: «Смотришь, старшой, али нет?»

А обрывы поди как круты. Тут, по Сухоне, красноглинны они. А по Двине — меловые, словно оледенелые в зимнюю стужу. В полнолуние, как вызвездит полог небесный, мнится: плывешь не Двиной, а досто-славной Страною Мраков. Там побывали когда-то мужи-новгородцы. Ходили за самоядь, в Югорское царство, понатерпелись, понагляделись всего немало. Вечным снегом покрыта Страна Мраков. Льды в ней

вельми велики. А из туч на землю падают не хлопья снега, а звери пушные: соболя да малые оленицы...

Те разговоры вполуха слушает кормщик: небойсь, брешут мужи про соболя да беличьи тучи. Поокалели от холода — вот и брешут.

Глядит Ляпунов на откосы, погружается в думы, словно в запечатленный источник, хранимый от всех.

Что и сказать, до поднебесья на Сухоне горы. Высоки несказанно. Круты. И всюду закаменевшую глину изъели вешние воды, источили овраги. Даже при солнечном свете держится в тех оврагах беспросветная тьма. Глухо гудит в них сосняк. Тайно скачут олени.

Да и вся-то река словно мольбище деда Кулотки: краснорожих великих богов изваяли дожди и ветра. Наплывают они на сойму то справа, то слева. Пляшут под рев непогоды. Ведут нескончаемый, до помрачения ума хоровод.

Вон страшилище некое, некий лесной истукан все ближе и ближе. Может, во всем Заволочье главный Перун-громовик. Лик его узок. Чело избороздили морщины. Скошенный глаз вонзился в Ивашку. Ино сойму швыряет волна, ино качается старый Перун. Вот-вот упадет. Рухнет в бездну — взлетят выше туч каменья и брызги, до Соловецкой пучины добежит волна.

Хочет заново бусу судьбу попытать новгородец: так ли страшен заволоцкий Перун? Довернул он кормило — полетела лодья под самый обрыв. И там, где вспенены яростно воды, где визжат оглашенно стрижи, где над парусом грузно повисла утроба Перуна, там проходит Ивашкина сойма.

— Осатанел ты, Ляпун? — сквозь вой непогоды

кричит ему Прокша. Как печеное яблоко, серым от страха стало лицо водолея.

Но в ответ хохочет Ляпун. Бесовской его хохот отдается в расщелинах красной горы.

И под те громовые раскаты шибче пляшет страшилице, брюхом грузно трясет, осыпает камнем. Смотрят вверх новгородцы, молитву уста их шепчут невнятно.

...Ход ровнее у соймы. Лесной крутояр далеко. Держит кормчий корму, строго глядит на ватагу.

Диковинны красные боги в земле Заволоцкой!.. Страшен Перунов обрыв. По сравнению с ним человек — песчина одна. Но люди богов изваяли себе пострашнее речных истуканов, хоть те боги людские, как и сами люди, мелки. Но в остуд, на смертные муки идут за них человеки, живота не щадят, кровь безнаказанно льют.

Потому есть сие, что пред ликом богов Заволочья люди — мелко дрожащая тварь. Люди свергнут одних, старопрежних кумиров. Новым тут же от них — честь и хвала. Но в новых кумирнях, как в прежних, устрашаются страхом, умиляются, плачут пред живописной доской или крашенным краской холстом.

Диковинны красные боги в земле Заволоцкой, да не страшны они, а добры к малой песчине. В земном естестве все добро друг к другу — сладок мед диких пчел, доброплодна рябина, солнце греет речные откосы, ласкает волну. Лучше каменной осыпью быть, медом, спелой рябиной, чем дрожащую тварью: вечность здесь и добро, там — обитель раздора и зла.

...Ход ровнее у соймы. Спит на тланиях ватага. Только кормщик, насупившись, неотрывно глядит в завечеревшую хмарь.

Дождь сечет реку, пузырится в заводях, где кружатся осиновыe листья и древесная прель. Шум дождя поглощается грохотом переката. Нескончаемый дождь, нескончаемый сухонский перекат. Сухону-то, видеть, потому и назвали Сухоней, что за каждым извивом корабельщиков ожидает сушь — то песчаная мель, то камень, то лесные завалы. Одним словом, сухая река. А на ватажниках да на пленных двинянах нету нитки сухой. Стоят они в ледяной воде — какие тужатся в лямках, какие борта насад облепили, как мошкara. Тяжелы насады, когда их по суху тащат, когда скребут они днищем камень и встречные струи сбивают корабельщиков с ног. До ломоты в костях, до судорог холодна вода на волоках-перекатах. А люди, ватажники и двиняне, каждый день тащат лоды, засевшие средь валунов. Все едины теперь, все у коварной реки в плену, всех вольный простор и сияние небес бирюзовых неотступно влечет.

Кричать не могут, чтобы подбодрить хоть криком себя, а лучше — протяжным пением; только хрипом хрипят. Поминают старых и новых богов. Из сил выбиваются люди. Их одежда давно превратилась в зловонное, в сырое отрепье. Волдыри от лямок на спинах. Страшные язвы на босых ногах. Лихоманка многих трясет: кому лихоманка губы обмечет, кому в поясницу ударит, а кого жарой распалит. У Ляпуна — полнасада в лежку лежит. У других — того боле. А отстать в том гибельном месте, значит, принять добровольную смерть. По суземам таится заволоцкая чудь. Русские

мужики из сожженных посадов суть свирепы и злы: на рогатину могут поднять ведьмеда, не то что ватажника или отставшего воя.

Но досадней всего для Ивашки другое. Не лютый змей ползет от ватаги к ватаге, ползет шепоток: дескать, Ивашка Ляпун надругался над Параскевой, дескать, убрусом ее дерзновенно связал, полонянкой нарек.

Знать, оскорбившись за Райду, Прокша грел по ватагам тот шепоток. Водолей увертлив, как гад, что таится от ястреба под трухлявым пнем, под сырой колодой. Прокша, очи подслепы имея, на Ляпуна впрямь ни разу не глянул, ан верят ватажники злыдню и его, Ляпуна, беспричинно клянут. Да подумали б люди, пораскинули б прежде умом: могла ли сухая доска навести болезнь-ломею на целое войско? Иное известно Ивашке: пришла к новгородцам Невья — страшная трясовица. Среди сестер-познобух она всех злей и страшней. А сестер у Невьи ни много, ни мало — двенадцать. От тех сестриц-трясовиц приключилось с охочеоу ратью все зло.

Хватаясь за мокрый колючий вереск, соскальзывая с обнаженных корней, лез и лез Ляпунов на речной крутояр. Иное он замирал, смотрел на верхи: там, на обрыве, росла старая и кривая береза. К той березе и подбирался Ляпун, ее-то он заприметил, когда надумал чарами деда Кулотки содругов своих излечить.

Едва не ползком одолел ватажник последнюю гриву. Встал над обрывом. Прислушался. Лес был безлюден, тих. Одни дождевые капли стучали по листьям. Так в коморах стучат златокузнечных дел мастера; стучат они, рубят золотые оклады, и сыплется струж-

ка под ноги к ним. На обрыве, в зеленые мхи, в поникшие травы, побросал золотистую опаль златокузнец-листобой. А внизу по всему перекаату, в белопенных волнах лежали насады — какие на левом, какие на правом боку. Вразнобой торчали мачты со скатанными парусами. С полунощного берега подступал к перекаату сухонский лес.

Ляпун наломал березовый веник — от мокрых веток пахнуло банной истомой. Жадно раздул ноздри Ивашка, вздохнул томительно-сладостный дух. Потом подхватил заветный топор-чекан, всадил его в тело березы. Тем топором и рубил он березовый веник, рубил-рубил, приговаривал: «С ветру пришла да на ветер поди!»

Заклинал на речном крутояре ватажник Невею и двенадцать сестриц-трясовиц. Откуда какая пришла, туда их и гнал: синюю да белую — в реку-студеницу, красную да бурую — в жар колючий, в котел кипучий, зеленую да желтую — в темные леса, в густые вереса, на гнилые болота. Седатый мужик, матерой материк, был в тот час обличем страшен — по длинным власам, по густой бороде, по груди, по громовой стреле в серебристой оковке стекали капли дождя. Сухо блестели глаза: по всему, вселялась в него самого потягота, позевота, листопадная хворь-лихоманка.

— Поди ты, Невея, в темные леса, в густые вереса, на гнилые болота!

Ивашка очнулся: голубое глубокое небо покачивалось над ним. Крупная зыбь пошлепывала о днище. Поскрипывал средник. От косого, туго натянутого паруса падала на старшего легкая тень. Прямо Ивашки держал корму сменщик его Репёха. Густобровое, про-

каленное стужей и ветром лицо Репёхи было спокойно. Заприметив, что старшой наконец-то очнулся, сменщик легонько кивнул головой и снова устался в незримую для Ляпуна гряду облаков.

Ивашка скосил глаза и вздрогнул: прямой немигающий взгляд Параскевы был устремлен на него,— он не сразу понял, что лежит за мачтой на стланях, укрытый шубником и кожухами.

Ивашка устал. Изнутри его разжигало адское пламя. Губы спеклись. Дыхание было редким и трудным.

А когда Ляпунов разомкнул тяжелые, словно свинцом налитые веки — белоснежно громоздились над ним небесные горы: их же верха не мог Ивашка дозреть, оле взора не мог оторвать от дивного дива. Горы рушились в полном безмолвии, обдавали Ивашку прохладой — он вдыхал эту свежесть, упивался беззвучным падением снежных вершин.

Вот они обернулись лодьей — лодья паруса раздувает, плывет безбрежную синью. Вот они заимели невиданный образ... Светозарно сияя, тот образ ниже и ниже: одеянья по небу развеяв, златые волосы распустив, шла к Ивашке прекрасная дева. «Яко снег лицо у нее, а уста яко маковый цвет», — подумал ватажник. «Яко чаши, вельми велики ея очи», — в них пристрашно смотреть Ляпуноу.

— Райда!

Машет Райда красным платком, полыхает платок, кровью людской обгаренный, тьмой застилает Ивашке глаза.

Боевым топором замахнулся Ляпун на платок. Но дева коснулась тем платком чекана — с перешибленным топорщиком выпал из рук новгородца топор.

Золотой, отягченный монетами пояс снимает Ляпун, подает его Райде. Та взмахнула платком — и на поясе кровь проступает, алой кровью намок тяжелый кошель.

— Я не Райда! — гремит, отдаваясь в небесных чертогах, голос облачной девы. — Я — Берегиня!

Одеянья упали. Грудь обнажилась: из могучих сосцов брызжет теплое млеко. Пересохшими в жажде губами ловит млечные брызги Ивашка, и редет в глазах кровавая мгла, и доходит до слуха голос Репёхи.

...Вечерело. За ельник садилось багровое солнце. На приколе, близь вербы, стояла недвижимо сойма. Из-за вербы тянуло горьковатым дымком от костра, наваристой свежей ухой. И тот дымок, дух ущицы, треск поленьев, ватажников смех — все вливалось в Ивашку благодатные силы, обновляло его естество. Репёха, присев к изголовью, добродушно ругаясь, поил занемогшего друга горячим брусничным отваром. Были влажны, мокры от пота поседевшие крупно виски Ляпуна.

Владычный наместник Яков Юрьевич Новосилец подгонял жеребца, ёкавшего селезенкой. Сзади, гремя броней, неотступно скакала стража. Едва проехали мимо лепного храма Спаса, что стоит на Волотове с посадом, — и вот он сам, господин Новеград и святая София. По Торговой стороне пробирались с немалой досадой. Узкие улицы запружены народом — ни пешим пройти, ни с конем проскакать. Как котел на огне, кипит торговщице. Сурожане торгуют шелковой тканью — ткани цветасты, как луга по весне. Немцы,

те продают ганзейские сукна — для однорядок купецких сукна куда как добры. Ряды не осмотришь, купцов не упомнишь. Ряд калашный — висят крендели. Ряд рыбный — в лубяных коробах на полпуда сига. Бронный ряд — топоры, мечи, шеломы, дощатые брони, кольчуги и прочая ратная справа. В толпе не поймешь, кто глазеет, кто мошною трясет, кто татьбой промышляет себе пропитание: всякий дело знает свое.

Переступают, храпят усталые кони. Новосилец в сердцах клянет новгородцев, жеребцом теснит ротозеев, ременной плетью грозит.

Вроде стало полегче: слева храм Параскевы, покровительницы торговли на всей Руси, Ярославов двор, гридница с колоколом-вечевиком. Для бояр, золотых поясов, нету лучшего места: здесь, на вече, их власть, здесь им судьбы решать новгородских земель и пятин. Деревянные мостовые чисты, обиходны. Новгородки неспешно идут вдоль бревенчатых частоколов; за частоколами — избы, подворья, хоромы купцов, старшин купецких, бояр. Терема — высоки, окошки — малы, незаметны, ну, а крýльца, куда не посмотришь — в пребогатой резьбе.

На Софийской — башни кремля. Кострами зовут новгородцы дозорные башни, и воистину башни взметнулись к небу, словно костры. Но превыше тех башен — свинцовые главы святой Софии. Четыре года назад погорел в новгородском кремле двор владычен, а за двором — многие улицы и околотки. Огорели зело маковицы собора.

Повелением архиепископа Иоанна были заново крыты свинцом соборные главы. И сияет теперь София над кровлями и кострами — чуден храм новгородский и чудно убранство его.

Встретил владыка московского гостя с великою честью. Вышел из покоев далече, проводил во владычную комнату, там усадил на кресло с бархатным сидищем и изголовьем. Беседовал долго, любезно. Сетовал Иоанн на оскудение новгородской земли, на печаль и тугу сограждан. Буйные шайки ватажников, лиходеев, холопов смуту творят в новгородской земле и в самом Новеграде, лутчим людям грозят разорением, злобствуют на бояр, на боярских детей. Пусть уходят они по весне в Заволочье, на Каму, на Вятку и во славу святой Софии примут смерть от стрелы басурманской, от отточенных копий иных агарян. Знает, дескать, он, Новосилец, посол владыки московского Киприана, как при пожаре летят головни через Волхов. Загорится Торговая сторона, быть беде на Софийской; на Славне огонь полыхает, ушаты с водою готовит Людин конец. До Москвы белокаменной верст поменьше от Новеграда, чем от Вологды али от Вятки. А в Москве-то, дескать, своих лиходеев вдоволь, ей, Москве-то, в соседях голодников не занимать?

Ай, не так-то прост новгородский владыка. Вроде бы препростое обличье имея, он лукавым умом обладал, был в ученьи горазд. Из неизвестных игуменов Спасо-Хутынского монастыря достиг высокого сана: других преизрядней оказался не столько в святительских, сколько в мирских каждодневных трудах.

Дал понять посол Новосилец, что в речах Иоанна немалая истина есть. Да прогрешений его пред князем московским той немалой истиной-правдой не искупить. Иоанн отпустил новгородцев на разбой, благословил всенародно охочую рать. Он ответствен за спину московских князей.

...Новгородский владыка, догадавшись, что ему оп-

равдания нет перед князем Василием, перед двором Киприана, повелел в покоях поспешно собрать совет из господ — золотых поясов. Пусть посмотрит владычный наместник, сколь не просто ему, Иоанну, совладать с новгородским боярством, сколь бояре в гордыне занеслись высоко.

— Господа новгородцы, мужи вольные, лепшие люди! — говорил Новосилец боярам. — Одумайтесь, коли не поздно, посмотрите подале своей бороды: восстает язык на язык, царство на царство. Агаряне воюют вселенную. Ваши деды, отцы великим трудом и храбрством заслужили великую славу. Возлюбили они всю русскую землю, а вы хотите ее погубить!..

В суровом молчании слушали лепшие люди речь Новосильца. Недобро смотрели, распустив холеные бороды по златотканому платью, по колчугам и броням дощатым.

— Нас, мужей новгородских, — за всех отвечал посадник Богдан Обакунович, — таковыми речами при отцах и при дедах пужала Москва. Дескать, кровопролития меж нами быть не должно. Только отчичи наши и дедичи шли куда как далеко, а всегда выходили, как рыба, насухо. Так и ныне тот дедина хлеб мы едим, володеем и княжим у себя, в Новеграде. А будем мы такать да такать, так протакаем вольность и права свои, дарованные по старине. Не о том ли хлопочет наместник московский? Пусть в Москве Новосилец-посол таковы слова передаст: «Князь Василий! С тобой у нас мир, с князем Витовтом — мир другой, а с немцами — третий!» Чтoб купцам нашим всюду бывать без рубежа, без зацепки, чтобы Новгород вольным был во веки веков!

Яков Юрьевич Новосилец в раздумье покручивал бровь, облокотившись правой рукой на колено. Понял

он: надо звать немедленно в Москву для святительских дел Иоанна! Ах, нелепый, горький удел разумного мужа: видеть, как в усобицах исстрадалась земля, и не знать, чем помочь. Но куда ему, Новосильцу, достанет ума и сноровки, он препятствовать будет сему злодейству, хоть правители здешние властолюбивы: не о воле народной — о власти своей непомерной их думы.

На вольный простор, на стержень быстрого Волхова вылетали насады лодейного каравана. Тесно им было в протоке, именуемой Жилотугом: здесь истари тужили жилы новгородцы и иноземные гости, ведя бичевой корабли. Жилотуг оброс ветлами — желтая опаль плавала в тихой воде.

Шли новгородцы прямь солнца, было оно неярким, золотисто-медвяным. И так же медвяно, как в сеновале, папахивало сенцом с прибрежных лугов. Нет, не сенцом, а домом, землей новгородской, ни с чем несравнимой, пахло в том Жилотуге — и веселило сердца. Расширялось устье протоки, ветер с Ильменя, теплый, сильный, подхватил насады, развернул паруса. По Волхову, встречу каравану, бежали шнеки, дощаники, карбуса. Корабельщики, встав на корме, кричали ватажникам, махали руками. Белые стены Юрьева монастыря, а далее — сосновая роща Перыня, а далее — слюдяная озерная гладь — все осталось теперь позади. Солнце било косыми лучами в туго звеневшие паруса. Чудилось буйным сынам новгородским: не соймы бегут по реке, а сам господин Великий Новгород приближается к ним, растет на глазах, выходит навстречу охочей рати. Высокие стены и башни кремля — Глухая, Дворцовая, Спасская, Пречистинская

надвратная башня — становились все выше и выше. Справа бежал Славенский конец: рыбацьи лачуги, огороды, Варяжская божница, амбары ганзейских купцов. Слева — Людин конец. А впереди на ряжах вздыбился великий мост через Волхов. И не было места на нем от народного множества. Прямо Пречистинской башни — съезд на мост. Там встречать лодейную стаю вышел весь священный собор. Облачившись в священные ризы, со всем своим клиросом стоял впереди Иоанн, новгородский владыка, а за ним — протопопы, игумены, черноризцы, посадники, уличанские старосты, лепшие люди. Звонили в колокола. У западных врат Николо-Дворищенского собора бухал сам вечевик — главный колокол, ведомый в отдаленнейших странах.

Но иные лодьи отставали от стаи, брали правее, к торговым причалам: там, на дощатых мостках, толпилось немало простого люду. Матери стары утирали слезы, жонки, встречая мужей, по обычаю их лобызали в уста, малые дети, отроки, отроковицы бросались в объятия усталых, но безмерно счастливых воев.

Лодья Ляпунова пристала к краю причала. И как не бранился, не лютował водолей, Ивашка оставил его за старшего: в лодье короба для хранения колчуг, ратная справа, полон заволоцкий — надобно все уберечь от татбы.

Однако едва Ивашка с Репёхой и прочей ватагой исчезли в водовороте людском, Прокша тут же утек через мост. Церковную службу вельми возлюбив, Прокша хотел самолично видеть и слышать богослуженье возле кремля. Он пробился к самому клиросу, застыл в ожиданье: от берега шли к Пречистинской башне воеводы охочей рати, биричи, изветники, стар-

шие насад. Шли они в дощатых бронях, в тяжелых колчугах, шли, победно сверкая очами. Воевода Тимофей Юрьевич, надменный, грузный, как старый бугай, выступал всех поперед. За ним поспешал, спотыкаясь, Юрий Дмитриевич, как всегда, смиренный и постный обличем. Рядом следовал сторожевой голова Синец. Остальные начальники войска подымались к башне гуртом.

А у самой реки из насад ватажники выносили хворых собратьев. Выводили они на берег и закованных в узы двинских полонян. Печальные, с побледневшими лицами, с почерневшими телесами стояли пленники невеликой толпой. Устюжские жонки, словно инокини, закутались в черные покрывала. Отроковицы меж ними застыли в горячих слезах.

Помрачнел Иоанн, владыка и пастырь лихих новгородцев. Препростое обличье его стало скорбно, а желтые глазки — угрюмы и злы.

Как ни дивно было народу, самим воеводам, глазевавшему с умилением на чин торжественной встречи Прокше, однако владыка нелюбезно благословил охочую рать. Суровый обличем, прошел он мимо начальников рати на берег и там с любовью и тщаньем осенил крестом устюжан.

— Где сойма злохулителя Ляпуна? — внезапно изрек, обратясь к воеводам, архиепископ.

Посадник Тимофей Юрьевич в рассуждение ума был мало доволен, иначе сказать, недогадлив. Он смотрел на друзей своих, смятенный умом. Те молчали в ответ.

Тут-то выскочил Прокша, кинулся в ноги к святителю Иоанну, доложил все, что ведал, чему он послухом был.

Прокша бежал, запыхавшись, дощатым настилом.

За ним поспешали владычные воины и доброхоты из уличан. Добежал до конца, спрыгнул в сойму, раскидал убогую ветошь и, ликуя, злосердствуя втайне, обнажил драгоценный оклад Параскевы. Рты раскрыли ратники, уличане, жители Славни при виде иконы, сверкнувшей чудным убранством.

Потом на руках, держа обапол, с двух сторон, понесли икону к собору святой Софии. И великое ликование было в народе, и перезвон колокольный, и пение певчих. Водолей, вздымая тяжелый оклад, мнил — он подымается по ступеням заветных желаний; слаще помыслов не было у водолея, как стать изветником архиепископа Иоанна.

А во владычных покоях, призвав воевод и посадских, отец Иоанн, убоившись, я думаю, встречи с самим Киприаном, кидал и кидал худые слова:

— Почто навели вы праведный гнев и отмщенье на весь Новеград, на себя и на нас? Почто Параскеву связали холстиной? Устюжан, изморенных голодом и стужей, в насадах сюда привезли? О, безумия и скверного дерзновения вашего край!

Зашелся во гневе почтенный, из хутынских игуменов старец. И видя такое, Юрий Дмитриевич, хитрый как лис, перед синклитом отвечивал речь, не споткнувшись на слове ни разу:

— Согрешили, владыко, согрешили мы. Истинно это! Да по неведенью, по слепоумию нашему грех. Ныне смиренно припадаем к стопам твоим, отче, молим оставить нам согрешения наши, позволить вину искупить.

Отец Иоанн сразу сник, умиленный в душе покаянную речью преславного воеводы. Да повелел он, однако же, назад устюжанам вернуть Параскеву. И всем крест целовать, и дать обет нерушимый: но-

вый, еще лучший Успенский собор поставить во Устюгеграде.

Порешили бояре: «Быть по сему!» — и были отпущены с миром.

Только Юрий Дмитриевич как бы подзадержался в покоях. Помятуя о некоем наказе, что дал он летом Ивашке, посадский обеспокоен был гневом владыки.

— Сей Ивашка Ляпун, — задыхаясь, шептал посадский, — злохулитель — да что там! — потай. Он не тверд в единственной вере. Он вопил, обеспамятовав, нечто такое, что и вымолвить страшно: мол, права и вольности ваши, дома и хоромы — все на крови!..

А наутрие в старом кружале, что приткнулось к церкви Федора Стратилата, гудели назойливо мухи. Было душно и пахло недобре. Там, в кружале, на малой вечерне, ох, и лихо благовестили ватажники вместе с Ивашкой в малые чары, в полведришка пиваишка звонили, пропивали под гусли заволоцкий полон.

Спал Ивашка на лавке, под хмельную, кудлатую голову сунув армяк. Голова к голове спал на той же лавке Репёха, верный его побрательник. Он похрапывал, улыбался во сне, бормотал.

С треском вышибив дверь, вломилась в корчму владычная стража: был для этих ловцов в той заводи тихой презнатный улов. Стол со снедью, с братинами, с глиняными горшками отлетел в дальний угол — по коморе рассыпались черепки.

Навалились владычники на Ляпуна, подхватили под белые руки — тот с похмелья очнуться не мог, а очнувшись, рванулся, раскидал поначалу челядь, да челядь сильнее: рубаха Ивашки в цветном узорочье с плеч сползла, окрасилась кровью. Сам Ивашка, слов-

но блаженный, мотал головою, глухо мычал. Из корчмы потащили его на волю. Там держа обапол, с двух сторон, разгоняя народ непотребною бранью, повели Ляпунова к великому мосту. Завивалась за стражей толпа, как за быстрой лодьею вода. Да в густой толчее, в брожении зевак по торговым рядам отстал, потерялся Репёха.

Возле храма святой Параскевы ватажник люто рванулся — он увидел бояр, золотых поясов, стоявших кружком в отдаленье: Тимофей Юрьевич, среди прочих высокий, грузный, телом обильный, рядом с ним низкорослый и обличем постный Юрий Дмитриевич да Василий Синец, сторожевой голова.

Воеводы охочей рати мельком глянули на Ляпуна, отвернулись: занимала их больше беседа о пользе душевной, о спасенье души, о тщетности славы земной.

А изветники и владычные вои заломили до хруста руки смутьяну, связали все тем же холщовым убрсом и, голову долу клоня, поволокли к великому мосту. Позади ключом кипела толпа.

Волхов, высветленный, словно топор-чекан, сиял за колоколом-вечевиком. Крестьянские дроги тарахтели по мосту навстречу иоанновой страже. Сзади, как прежде, теснили ратных людей уличане.

— Псы! Отриньте! — хрипел, выпрямляясь, Ляпун. Он рвался, тянулся всем туловом и, глядя поверх железных шеломов, глядя туда, в многолюдье сограждан, кричал:

— Люди! Слушайте, люди! Неправду чинят!..

Но владычные вои осадили смутьяна, волоком потащили мимо крестьянских коней. Жилы, как веревье, проступили на шее Ивашки, губы, разбитые в кровь, запеклись.

В той круговерти людской чьи-то жадные пальцы схватились за цепку, рванули серебряный оберег — Ляпунов задохнулся, обмяк. А когда пришел в себя от удушья, оберег деда Кулотки был сорван. Саднила кожа на вые, липкая кровь текла по плечу.

Затуманенными болью и гневом очами смотрел Ивашка на Волхов: вдали мелькали вольные паруса, да были те паруса прямо солнца черны. Ляпун глубоко вдохнул ильменский ветер-свежак, и прознобила его предсмертная нелюдская тоска. А соймы скользили по светлой-пресветлой воде, оставляя искрившийся, долго не таявший след. Завлекал этот след в блаженные страны. Там живут человеки в миру, в согласьи, поклоняясь полям и чащобам лесным.

Там не слышно меж ними кровавых раздоров и войн...

Вдоль настила, у самого среза, лежали тяжелые плахи — плотники перебирали настил да уши, не окончив работы. Загустела, как туча, толпа на великом мосту, и сосновая плаха сорвалась, полетела в мутные воды. Люди ахнули: не ватажника ль сбросила стража? И тогда-то охочий копейщик, прорвавшийся к воям, подхватил тяжелую доску и наотмашь ударил Ивашку по седатым кудрям. Повалился Ивашка вслед за плахой и, как олово, канул в стремнинах речных. Уличане смотрели в тревожные бездны: в том месте, куда без всплеска упало тело Ивашки, плясали отблески солнца, иначе сказать, блистаницы.

Они как будто вязались в замысловатые огненные письма.



И СНОВА ДАЛЬ

...Как бы ни сроднился человек с отчим краем, как бы он ни привык к нему, переход от топкого, душно звящего комарьем чернолесья к вольному простору, к распахнутому ветру, к чистой воде всегда неожиданен и нов. Ты продираешься в ельнике почти на ощупь, выставив вперед руки как слепец, ты проваливаешься в ржавую, пузырчатую жижу, ты изнемогаешь от духоты, от усталости, от мысли, что потерялся в лесной чащобе, и вдруг — всегда внезапно — перед тобой начинает светиться вода. Ты вырываешься из душного лесного плена и вступаешь на берег: по синему простору ходят «беляки», дует в лицо свежий ветер, с пронзительным криком вьются чайки. И столь же внезапно охватывает тебя сладкое чувство свободы, внутреннего раскрепощения от темных сил и тревожных предчувствий — ими щедро одарила тебя лесная топь, они ожили в тебе вновь, ожили, вопреки твоей воле и твоему сознанию. Но ты вышел к устью безымянной реки, которая долго петляла по этим глухим суземам и все-таки пробилась к большой воде, как говорят на Севере о полноводных реках и озерах. И вот здесь-то, на берегу, ты начинаешь понимать далекого предка, чья капля крови течет в твоих жилах: он так же шел наугад, шел через эти древние топи, выходил к устьям рек, и его бородастое усталое лицо овеивал низовой ветер, звала за собой речная волна, манила вольным простором. В тебе, измученном глухим чернолесьем, отзвуками жила его

жажда простора и воли, жила его страсть к новым землям и еще бóльшей воде, чем та, что открывалась твоему взору.

Но все-таки, выйдя к этой воде, отдышавшись, примечаешь, как бывшее неприметно стало отступать перед новью, даль — перед близью, крупное — перед сиюминутными заботами и трудами. Ты постепенно становился таким, каков ты есть, ты начинал думать о переправе, о ночлеге, о том, что, видно, нелегкая попутала тебя и ты пустился через чернолесье зря, что лучше было бы поступить как все люди — ехать автобусом... А вот теперь сиди, жди, когда за речным поворотом запоет лодочный мотор и когда местный житель перевезет тебя на другой берег.

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой,
Перевези меня на ту сторону,
Сторону — домой...

Позволь, позволь... Откуда пришли к тебе слова этой старой песни? Ведь ты никогда не слышал ее в здешних краях? По простоте душевной ты думал, что их, этих старых песен, вообще нет в нашем сегодняшнем обиходе, в нашей жизни, ибо ничего, кроме частушек, тебе давным-давно не приходилось слышать. Откуда?.. Да из книги Александра Твардовского! Оказывается, эта песня жила в тебе, но жила неосознанно до того срока, до того мгновения, когда поэт разыскал тебя, а разыскав, открыл красоту «той далекой-предалекой деревенской старины» и тебя истинного, а не отчужденного от могучей песенной стихии, что в нем, в поэте, всегда была явья, а если по-северному, то «явом» — реальным мироощущением, противоположным наваждению, выдумке, сну.

Перевозчик-водогребщик,
Парень молодой...

Песня, ставшая стихотворением, словно речная даль, позвала тебя за собою: ведь ее истоком была судьба одной крестьянской семьи, а устьем — необозримые просторы России, на которых жили и живут людские множества множеств.

...Трясогузка, попискивая, покачивая хвостом, подбежала к твоим ногам — она не боялась человека, редкого в здешних местах. Подскочила, попрыгала по камышинке и исчезла так же внезапно, как и появилась. За лесным поворотом, на который ты все еще смотрел упорно и пристально, возник долгожданный звон лодочного мотора — моторка шла к тебе, распустив пенные усы.

«Эге-ге-гей!..» — закричал ты, вскочив с бревна и нелепо замахав руками. Лодочник сбавил скорость, через несколько мгновений лодка, шурша днищем по гравию, взбежала на приплеск. Молодой парень в замаслянной спецовке, в кепке, повернутой козырьком назад, встал с заднего сиденья.

«Перевезти?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, стал заводить «Ветерок». Ты приподнял нос моторки, столкнул ее с берега и перевалился через борт — глухое чернолесье отдалялось, таяло прямо на глазах. Подпрыгивая на гребнях волн, моторка летела к другому берегу...

СОДЕРЖАНИЕ

Ярый север

От устья к устью	9
Магнитка Северной Руси	65

Берег Олешки

Память сердца	87
Чудесный город	100
Ланчик	105
Полет в грозу	109
Крека	112
Берег Олешки	125
Берегиня	130
Кудесный старичок	156
Сестра моя Карелия	167

Отчизны сладкий дым

В родовом Даниловском	183
Питомец муз	208

Ватажник Ляпун

На раскопе	243
Пятница из Бросачихи	260
Един Ляпун	291
Перунов оберег. <i>Сказание о походе новгородцев в Заволоцкую землю в 1398 году</i>	298
И снова даль	349

Валерий Васильевич Дементьев

ВЕЛИКОЕ УСТЬЕ

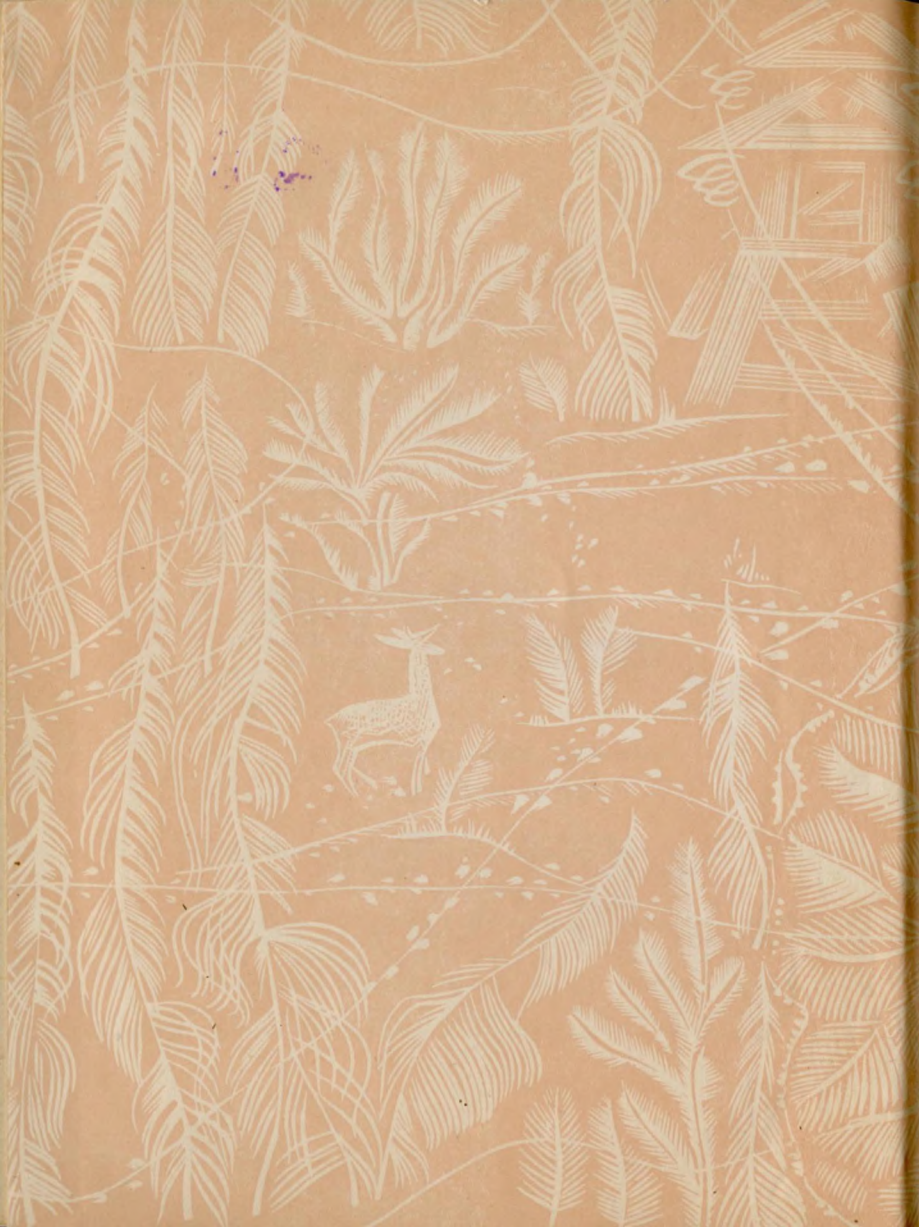
14602

Редактор И. Фомина
Художественный редактор Э. Розен
Технический редактор Л. Самсонова
Корректор В. Данилова

Сдано в набор 21/VII-71 г. Подп. к печ. 31/III-72 г. Формат бум. 70×108¹/₃₂. Физ. п. л. 11,0. Уч.-изд. л. 13,37. Усл. п. л. 15,40. Изд. инд. ХД-200. А03060. Тираж 30 000 экз. Цена 51 коп. в переплете. Бум. № 2.

Издательство «Советская Россия». Москва, пр. Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглавополиграфпрома Комитета по печати при Совете Министров РСФСР, г. Электросталь Московской области, Школьная, 25. Заказ 2542.



21

BX
262/24



51 коп.

Советская Россия